ВЛАДИМИР
БЕЛЯЕВ

Ариэль

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ

Дело Сакко и Ванцетти

Документальные очерки и повести

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЬВОВ — 1960

ОТ АВТОРА

В основу произведений, вошедших в этот сборник, легли документальные факты.

Автор еще с осени 1944 года стал собирать документы того периода Великой Отечественной войны, когда израненная, но не покоренная украинская земля стонала от страшного гнета временной фашистской оккупации.

Весь этот фактический материал, воплощенный в повестях и очерках, вероятно, будет интересен для читателя, особенно молодого, который не знает, что происходило на западе Украины, в частности во Львове, в то время, когда сюда вторглись гитлеровцы.

ЭТО БЫЛО ВО ЛЬВОВЕ

Дурные сны абверпрофессора

Плохо, очень плохо спится последние годы бонн-скому министру Теодору Оберлендеру! Дер-нула же нелегкая его ближайшего коллегу по бундестагу, старого разведчика Пауля Леверкюна сболтнуть в своей книге, что Оберлендер в годы вто-рой мировой войны был политическим руководителем батальона «Нахтигаль». Ну, а вслед за этим многие дотошные журналисты в разных странах стали про-являть болезненное любопытство к биографии мини-стра. Они извлекли на свет божий факты, которые Оберлендеру очень хотелось бы навсегда предать заб-вению.

Не будь такого шумного «паблисити», возможно, Теодор Оберлендер спокойно и с заслуженной помпой отметил бы в мае 1959 года пятидесятилетие, получил бы пенсию и, обрубая незаметно для мирового обще-ственного мнения кровавый шлейф злодеяний, напол-нявших его жизнь, отправился бы на покой. А так... кто знает, не будут ли и на покое тормошить господина Оберлендера не в меру любознательные представители прессы и юриспруденции?

Ошибку допускает тот, кто представляет Теодора Оберлендера исключительно продуктом гитлеровской эпохи. Эта мина замедленного действия, припасенная ее хозяевами на случай новой войны и новых завоева-ний, имеет богатую родословную. У Оберлендера были предтечи вроде «специалиста» по делам Востока про-

фессора Пауля Рорбаха, а за плечами у многих таких «научных» деятелей, еще со времен «железного канцлера» Отто Бисмарка замышлявших расчленение Украины и России, можно всегда обнаружить и хозяев калибром побольше с их старой захватнической идеей «Дранг нах Остен».

Бисмарки, Гинденбурги, Гитлеры уходили, а идея эта, и ныне распаляющая германских реваншистов, оставалась, вызывая к жизни «труды» подобных Оберлендеру разведчиков с научными званиями.

Один из американских историков, Даллин, в своей книге о гитлеровском вторжении в СССР очень точно назвал боннского министра абверпрофессором, то есть профессором по делам разведки. В этом метком определении нет ни грана преувеличения. Какой бы из этапов «научной» деятельности Оберлендера мы ни рассмотрели, в нем удивительно гармонично совпадают цели немецкой военной разведки—абвера—с научной деятельностью, направленной главным образом на изучение тех территорий на Востоке, которые по планам «Оберкоммандо дер Вермахт» должны были быть захвачены гитлеровской Германией.

Людям, подобным Оберлендеру, германские реваншисты поручали и поручают поныне добиваться полного синтеза науки, политики и разведки. Вполне возможно, есть еще в мире наивные идеалисты, не знающие тайн разведывательной службы и свято верящие сказочкам о так называемой «чистой науке» в империалистических государствах. Если бы им представилась возможность изучить подробно всю многообразную деятельность боннского министра, они бы немедленно освободились от таких розовых иллюзий. Конечно, Оберлендер не просто рядовой убийца с большой дороги или вожак банды убийц, любящий потом на глазах у всех принимать участие в дележе кровавой добычи. Это — облеченная большими полномочиями зловещая личность, всегда стоящая поодаль, которую поляки называют «шарой эминенцией» (серым преосвященством), то есть фигурой, скрытой в тени.

Еще в 1928—1930-е годы юный Оберлендер, проходя обучение в Берлине и Кенигсберге, входит в контакт с немецкой военной разведкой и, законтрактовавшись в крупповской фирме «Друсаг», выезжает

как разведчик в СССР, на Кубань. Пройдет время, и в 1942 году он появится в близких к Кубани местах как командир диверсионного полка «Бергманн» и один из жестоких гитлеровских палачей.

Но пока это произойдет, ему долго придется вести трудную двойную жизнь. Для одних он только профессор и автор компилятивных, весьма сомнительных научных работ на аграрные темы, для шефов же абвера — подающий надежды разведчик. Используя удобное амплуа любознательного агронома, он четырежды посещает СССР на протяжении тридцатых-сороковых годов. Известно уже, что незадолго до гитлеровского нападения на Польшу, а затем и СССР многие научные центры—в Кенигсберге, в тогдашнем Бреслау, Берлине, Данциге — были всего лишь замаскированными филиалами гитлеровской военной разведки, нацеленными на славянский Восток. Для того, чтобы «координация» научных целей этих псевдоинститутов, вроде «Институт фюр остевропеише Вирт-шафт», и абвера совпадала как можно лучше, доктор Оберлендер с середины 1937 года до марта 1938 года проходит военную переподготовку в Берлине, в самом центре абвера, именуемом «ОКВ-Амт Ауслянд Абвер». Потом его перебрасывают в «Абверштелле Бреслау», а оттуда, после гитлеровского нападения на Польшу, в захваченный немецкими войсками Краков.

Теодор Оберлендер не только отвечает в «Абверштелле Кракау» за украинские дела, но, являясь заместителем начальника разведывательного центра «Аст-Кракау», смотрит гораздо дальше, за пределы вверенной ему территории.

С каждым днем приближается час нападения гитлеровской армии на Советский Союз. Используются решительно все возможности для того, чтобы как можно лучше изучить те советские территории, откуда после вторжения начнется стремительное наступление на Москву и Урал. Глаза и уши немецкого вермахта должны действовать в эту горячую пору безотказно. А кроме того, надо привести в порядок тылы вторжения. 18 октября 1939 года, после совещания у Гитлера, начальник германского генерального штаба генерал-полковник Гальдер записывает в своем дневнике: «Мы не хотим оздоровления Польши... Нельзя допустить,

чтобы польская интеллигенция превратилась в новый руководящий слой. Низкий жизненный уровень должен быть сохранен. Дешевые рабы...» Такое будущее уготовили польскому народу завоеватели!

И вот как раз в то самое время, когда господин Оберлендер в роли одного из шефов «Абверштелле Кракау» находится в Кракове, карательные органы гитлеровской Германии начинают операцию «обезвреживания» польской интеллигенции. Обманным способом большая группа профессуры древнего Кракова была приглашена на доклад в старинный Ягеллонский университет, чтобы услышать из уст оберштурмбаннфюрера СС Мюллера циничное заявление: «В концентрационном лагере у краковских профессоров будет вполне достаточно времени, чтобы обдумать свои грехи, содеянные против германского государства и немецкого народа».

После такого сообщения было арестовано свыше 180 профессоров, доцентов, ассистентов, научных сотрудников и шесть профессоров Горной академии. Уже после трехмесячного пребывания в тюрьмах и лагере Заксенгаузен тринадцать профессоров умерли от пыток. Среди погибших оказались профессор истории права доктор Станислав Эстрейхер, профессор общей географии Ежи Смоленский, профессор философии Тадеуш Горбовский, профессор зоологии доктор «гонорис кауза» Страсбургского университета Михаль Седлецкий, почетный профессор анатомии доктор Телесфор Костанецкий, профессор философии Феликс Рогозинский, профессор агрономии Адам Рожанский, почетный доктор философии и профессор польской литературы двух университетов — Кракова и Познани — Игнаци Хшановский, профессор классической филологии Леон Стенбах, профессор и адъюнкт астрономической обсерватории Краковского университета доктор Антони Вильк (открывший в 1924—1937 годах четыре кометы) и многие другие. В Кракове был загублен цвет польской науки. Те, кого гитлеровцам не удалось уничтожить непосредственно в лагере, погибли уже после возвращения домой от перенесенных мучений.

Все это происходило на глазах и при содействии абверпрофессора Теодора Оберлендера и являлось одним из звеньев той самой цепи злодеяний, которые

совершались против представителей польской интеллигенции на протяжении всего периода гитлеровской оккупации.

Но происшедшее поздней осенью 1939 года в Кракове было лишь прелюдией к тому, что вскоре совершилось во Львове — городе, намеченном ко включению в «генеральное губернаторство» после занятия его гитлеровскими войсками.

Визит во Львов

Чтобы осмотреть будущие территории, где ему придется хозяйничать, Теодор Оберлендер едет вместе с будущим губернатором Львова штандартенфюрером СС Отто Вехтером, Гансом Кохом и Альфредом Бизанцом в советский Львов. Официальным поводом для поездки служит желание познакомиться с деятельностью комиссии по переселению немецких колонистов с земель Западной Украины (комиссия работала в вилле по улице 29-го Листопада, ныне улица Энгельса). Об этой комиссии есть примечательная запись в дневниках генерала Гальдера, датированная 26 октября 1939 года:

«Гиммлер сообщил по телефону из Варшавы. Переговоры в Москве об обмене немцев с Волыни (галичийцы) на украинцев и евреев. 400 немецких представителей (уполномоченных) должны направиться в Россию...»

Одним из этих четырехсот был и Теодор Оберлендер. Он приехал в штатском костюме, обозрел город, установил контакт с предателем М. Панчишиным — будущим агентом СД и кандидатом в министры здравоохранения бандеровского правительства «самостийной Украины», разогнанного впоследствии оккупантами, и с епископом Чарнецким. Изучая глазами бывалого разведчика бурную жизнь освобожденного Львова, Теодор Оберлендер с неудовольствием отметил, что в то время, как вся основная профессура Кракова давно уже «изучает свои грехи перед рейхом» за колючей проволокой Саксенгаузена, здесь, во Львове, широко открыты двери всех учебных заведений. Советская власть предоставила право всем ученым, без различия

их старых политических взглядов и национальности, передавать свои знания молодежи. Бывший премьер кабинета министров довоенной Польши профессор Казимир Бартель и тот преподает начертательную геометрию во Львовском политехническом институте и даже ездил в Москву договариваться с издательством о выпуске его учебника геометрии на русском языке для всех вузов СССР.

Разве могут такие «еретические», с точки зрения расовой теории фашизма, факты утешить абверпрофессора Оберлендера? Ведь это все та же линия коммунистов на укрепление дружеских связей между народами, которая нашла свое яркое отражение в Антифашистском конгрессе защитников культуры во Львове весной 1936 года. На конгрессе, очень тщательно изучавшемся издалека абвером и СД, польский революционный поэт Владислав Броневский пожимал руку украинскому писателю Степану Тудору, а испытавший на себе режим тюрем буржуазной Польши украинский писатель Ярослав Галан нашел общий язык с польским писателем Леоном Кручковским. На этом конгрессе, где передовые люди разных национальностей произносили гневные слова против гитлеровского гонения на культуру и против фашистского мракобесия, писательница Ванда Василевская с уверенностью заявила: «Следующая наша встреча будет в красном Львове».

Слова эти сбылись.

Некоторые продажные писаки, уже приготовившиеся служить Гитлеру, сообщали, что когда на собрании Львовского союза писателей принимали в члены союза бежавшего сюда из Кракова профессора и академика Тадеуша Бой-Желенского, украинский писатель, недавний узник лагеря Береза Картузская, Александр Гаврилюк сказал с почтением седому польскому ученому: «Сидите, профессор! Это мы должны встать при вашем появлении!»

Разве входило в расчеты гитлеровцев, занявших Польшу, торжественное празднование летом 1940 года годовщины гения польской литературы Адама Мицкевича, которое провели советские люди в театре оперы и балета Львова? Агентура доносила, что на том тор-

жественном заседании выступал приехавший из Москвы вместе с поэтом Павлом Антокольским русский писатель Лев Никулин. Заканчивая свою речь, он воскликнул: «В бессмертии Мицкевича — бессмертие польского народа!» — и слова его потонули в бурных, долго не смолкаемых аплодисментах.

«Это не просто литературная годовщина,— доносила агентура,— а политическая демонстрация, вызов самому фюреру и вооруженным силам вермахта, которые вместе с ним заявляют, что поляки — это нация рабов, что не может быть никакого разговора о развитии польской культуры, и тем более — дружбы славянских народов, столь невыгодной планам «Ост» и «Дранг нах Остен»...

Черные списки ОУН

Теодор Оберлендер возвращается в Краков, полный решимости еще активнее, самоотверженнее служить тем идеям, которые изложены в книге его фюрера «Майн кампф». Он дает директиву своей агентуре из организации украинских националистов подготовить как можно скорее «черные списки ОУН» на выдающихся представителей польской интеллигенции и украинского народа, которые попробовали бы «вести свою собственную политику», отличную от политики гитлеровских захватчиков. Изменники украинского народа, готовые с холопьей угодливостью служить каждому, кто больше заплатит, рады стараться и на этот раз. Ведь еще до нападения Гитлера на Польшу во главе разведки ОУН был поставлен полковник австрийской службы Роман Сушко. Его люди охотно составляли «черные списки» для абвера, занося в них по памяти всякого неугодного гитлеровцам интеллигента. В особых инструкциях, кого именно вписывать, на кого указывать пальцем, они не нуждались.

Аресты польской интеллигенции в Кракове, происходившие на глазах у всех, отлично дали понять ОУНовцам, кого не любят и считают для себя опасными гитлеровцы. Списки составлялись по памяти, ибо уточнить их на месте, тайно посетив Львов, ОУНовцам было страшновато. Советские пограничники стреляют метко.

да и там, во Львове, можно провалиться. Вот почему в эти загодя составленные «черные списки» попадали фамилии не только живых, но и умерших естественной смертью профессоров.

Кроме Андрея Мельника, Романа Сушко, Степана Бандеры и других украинских националистов, у Теодора Оберлендера было немало других наемников. Он не случайно был откомандирован при содействии абвера 1 апреля 1934 года в тогдашний Данциг, в «Технише гофшулле» руководителем «Институт фюрагрополитик». Как раз в то самое время на территории Данцига, так называемого «свободного города», группа украинских студентов — членов ОУН — проходила военно-диверсионную подготовку под руководством офицеров абвера. Многие из этих террористов, освобожденные вермахтом из польских тюрем, охотно выполняли любое задание абвера. И когда у шефа абвера адмирала Вильгельма Канариса возникает мысль образовать из болтающихся по Кракову и Кринице украинских националистов специальное военное соединение для нужд вермахта, абверпрофессор Теодор Оберлендер получает еще и дополнительное задание: быть политическим руководителем этого соединения, названного впоследствии батальоном «Нахтигаль» («Соловей»).

У «Нахтигаля» был свой предтеча. В годы первой мировой войны в составе войск центральных держав также действовал легион «украинских сичовых стрельцов», набранный из отпетых украинских националистов, мечтавших посадить на престол Украины одного из Габсбургов, некоего Вильгельма, прозванного в Галиции «Вышываным» за свою «страсть» к вышитым украинским сорочкам. Он и возглавлял тогда легион УСС, мечтал о гетманском престоле и даже стихи на украинском языке сочинял на досуге.

Мы не очень осведомлены о поэтических способностях последователя Вильгельма Габсбурга — Теодора Оберлендера, который в годы второй мировой войны был одним из кураторов сборища украинских националистов. Одно известно точно: еще до того, как подчиненные ему «соловьи» были погружены в вагоны походного эшелона, Теодор Оберлендер принимает самое деятельное участие в использовании ОУН для

подготовки этой террористической организации к замышляемому нападению на Советский Союз.

Зимой 1940—1941 года вместе со своими старыми друзьями—коллегами по «научной» работе в Кенигсберге и Бреслау, опытными разведчиками абвера Гансом Кохом, Георгом Герулисом, Теодор Оберлендер прибывает в Прагу. До этого Оберлендер уже установил в Кракове самый тесный контакт с бандеровской группой ОУН и непосредственно с ее вожаками — Степаном Бандерой, Ярославом Стецько и Романом Шухевичем.

В Праге, столице поверженной Чехословакии, где находилась главная штаб-квартира ОУН, представителей абвера встречал старый немецкий шпик в ОУН — полковник Рико Яры. Он с удовольствием выслушивает сообщение о том, что гитлеровцы создают регулярный полк (позже — дивизия) «Бранденбург». При этой диверсионной части абвера намечено создать два украинских националистических батальона — «Нахтигаль» и «Ролланд». Рико Яры обещает набрать в эти батальоны «самых отчаянных хлопцев», ненавидящих Советскую власть и русских.

Соглашение было достигнуто, и вскоре, 8 мая 1941 года, в селении Нейхаммер, возле нынешнего польского города Лигнице, в мундире обер-лейтенанта немецкой военной разведки появляется профессор Теодор Оберлендер. Он — политический руководитель батальона «Нахтигаль».

Днями и ночами он советует командиру батальона, также «специалисту» по делам диверсий, Альбрехту Херцнеру и его украинскому помощнику Роману Шухевичу, как лучше подготовить личный состав к быстрым и решительным действиям на советской земле,

«Соловьи» летят за Сан

Политический руководитель «Нахтигаля» Оберлендер еще больше разжигает ненависть к «москалям» и «жидам» у своих подопечных, учит их фашистской морали, изложенной на страницах книги Гитлера «Майн кампф». И когда в селение Панталовице близ Жешува, куда был заблаговременно переброшен

«Нахтигаль», приходит приказ о вторжении, эта шайка распаленных жаждой власти и убийств националистических молодчиков численностью около тысячи совершает свой первый марш к Сану. Теодор Оберлендер с удовольствием отмечает, что ему удалось за сравнительно короткий срок напоить до предела фашистским ядом этих изменников, собранных с бору да с сосенки.

Правда, первые же бои батальона приносят разочарование. Повсюду «соловьи» наталкиваются на ожесточенное сопротивление советских пограничников и регулярных войск Советской Армии. Уже тем обстоятельством, что весь путь от берегов Сана до окраин Львова, который обычно можно совершить на легковой машине за пару часов, гитлеровцам приходилось преодолевать свыше недели, развенчивалась теория блицкрига на первых рубежах войны. В то время как четыре роты «Нахтигаля» «летели» на Восток, во Львове уже действовала заброшенная туда абвером «пятая колонна» из отпетых оуновцев.

Заместитель командира механизированного корпуса Советской Армии генерал-лейтенант Н Попель рассказывает в своих мемуарах «В тяжкую пору» об этих днях:

«По мере того как машины втягивались в город, выстрелы звучали все чаще. Мотоциклетному полку пришлось выполнять не свойственную ему задачу — вести бои на чердаках. Именно там были оборудованы наблюдательные и командные пункты вражеских диверсионных групп, их огневые точки и склады боеприпасов... Схватки носили ожесточенный характер и протекали часто в самых необычных условиях. Вот несколько человек, перестреливаясь, выскочили на крышу пятиэтажного дома. Понять, где наши, где враги, никак нельзя — форма на всех одинаковая, красноармейская. Здание стояло особняком, побежденным отступать некуда. Раненый покатился по наклонной кровле, попытался зацепиться за водосточный желоб, не смог и с диким криком полетел вниз. Мы подбежали... Кто-то расстегнул гимнастерку. На груди синел вытатуированный трезубец — эмблема бандеровцев...»

Многих вот таких своих воспитанников и едино-

мышленников не досчитались в живых господин Оберлендер и его подчиненные из ОУН после занятия города гитлеровскими войсками. Заброшенная разными путями в преддверии войны в советский Львов, фашистская «пятая колонна» приняла переброску нашего механизированного корпуса в район города Броды за повальное отступление Советской Армии еще 24 июня 1941 года, несвоевременно обнаружила себя и почти поголовно была уничтожена советскими воинами и патриотами из гражданского населения. И когда в ночь с 29 по 30 июня 1941 года первые разведчики «Нахтигаля» стали стягиваться во Львов через Яновскую рогатку, уже тогда они получили первое грозное предупреждение: их встречали не живые лазутчики, заброшенные еще раньше в советский тыл, а постные, унылые лица всяких скрытых двурушников, сообщавших, как и при каких обстоятельствах была уничтожена «пятая колонна», которой так и не удалось поднять восстание против Советской власти...

Вместе с батальоном «Нахтигаль» в город врывается в полувоенной форме на машинах абвера группа вожаков ОУН, в том числе Ярослав Стецько, Ярослав Старух, Лев Ребет, Иван Равлик, Дмитро Яцив, Степан Ленкавский и Мыкола Лебидь — один из самых жестоких бандеровских палачей. Многих из них уже нет в живых, могилы их заросли чертополохом, но в то первое утро вторжения во Львов они чувствовали себя националистическими наполеонами. Сам же Степан Бандера предпочел на всякий случай «задержаться в тылу», ибо на него произвело удручающее впечатление сообщение о разгроме «пятой колонны» во Львове. Он только передал Ярославу Стецько ленту с магнитофонной записью своего выступления. Как только оуновцы заняли радиостанцию, они немедленно пустили в эфир это сообщение своего вожака, которое начиналось словами диктора: «Говорит радиостанция имени Евгена Коновальца. Сейчас выступит фюрер украинских националистов Степан Бандера...»

Однако и это подхалимство перед Адольфом Гитлером и немецким фашизмом не очень помогло Бандере и другим подобным ему недоучившимся поповичам. Гитлеровцы разгоняют провозглашенное бандеровцами 30 июня 1941 года правительство «самостийной Укра-

ины», а доктора Теодора Оберлендера, который недосмотрел такие сепаратные действия, немедленно вызвали на один день самолетом в Берлин к шефу абвера Вильгельму Канарису.

Теодор Оберлендер возвращается во Львов в минорном настроении и начинает делать соответствующие внушения украинским националистам, состоящим у него на индексе. Смысл этих внушений короток: никакой речи о собственной государственности и разных там «правительствах», фюрер этого очень не любит. Украинские националисты должны довольствоваться исключительно ролью подчиненной, помогающей гитлеровцам силы. Они могут позволить себе «мокрую работу», грабить всех, кто сотрудничал с Советской властью, но никаких «правительств»!

Следует точно помнить, что вся власть до 1 августа 1941 года — до дня включения Львова и Восточной Галиции в генеральное губернаторство — находилась в руках вермахта и его «абвера II», то есть той самой единицы абвера, которую во Львове представляли два полновластных и доверенных разведчика Канариса: профессор Кенигсбергского университета гауптман Ганс Кох и профессор обер-лейтенант Теодор Оберлендер. При их «абверштелле II» во Львове, кроме «Нахтигаля», действовала также приданная группа фельдгестапо, или немецкой тайной полевой полиции, набранной преимущественно из кадровых полицейских Германии накануне войны с СССР. Каждый из фельдгестаповцев был подчинен Гансу Коху и Теодору Оберлендеру. Действовавшая в городе так называемая украинская полиция во главе с украинским фашистом Евгеном Врецьоной находилась в прямом подчинении у офицеров СС.

«Абверштелле II», которой командовали Ганс Кох и Теодор Оберлендер, поддерживала контакт с приданной первой дивизии горных стрелков вермахта «эйнзатцкоммандо», которую возглавляли бригаденфюрер СС Эбергахард Шенгард и его заместитель штандартенфюрер СС Гейнц Гейм.

Штаб батальона «Нахтигаль» расположился в «Доме студента» на Кадетской горе, как раз напротив бурсы Абрагамовичей, куда гитлеровские каратели и стали свозить в ночь с 3 на 4 июля 1941 года выдаю-

щихся ученых Львова, обозначенных в «черном списке ОУН». И в том, что для своего застенка подчиненные Оберлендеру «соловьи» выбрали бурсу Абрагамовичей, был свой коварный смысл.

Расположенная в отдалении, на Вулецких взгорьях, она соседствовала с пустырями, пересеченными овражками и лощинами. В удобных звуконепроницаемых подвалах бурсы Абрагамовичей было удобно вершить «суд скорый и тайный». Соседние пустыри можно было использовать как места для экзекуций. Теодор Оберлендер согласился с доводами своих воспитанников — «соловьев» и их вожака Романа Шухевича, чтобы акцию против интеллигенции Львова провести именно на Вулецких холмах. И она началась...

Залпы на рассвете

Инженер Тадеуш Гумовский, сотрудник Львовского политехнического института, проживал по улице Набеляка № 53. Из окон его квартиры, обращенных на Вулецкие взгорья, можно было различить овраги и тропинки, сбегающие от бурсы Абрагамовичей на Вулецкую улицу.

Вот подлинный рассказ Тадеуша Гумовского, во многом дополняющий то, что уже писалось о трагедии ученых Львова, уничтоженных по указке доктора Оберлендера его «соловьями» и подчиненными ему фельдгестаповцами.

«В ночь с 3 на 4 июля 1941 года нас разбудили неожиданные удары в ворота. Я отворил калитку. В прихожую ввалилось пять человек, среди них три гитлеровца в военной форме и два штатских. К дому они подъехали на машинах.

Потребовали домовую книгу. Штатские разговаривали с нами по-украински, а с гитлеровцами — по-немецки... Домовую книгу читали штатские, которые, очевидно, были проводниками обмундированных. Остановили внимание на фамилии Родзевич. Тогда у сестры квартировал актер и режиссер Родзевич, проживающий сейчас в Польше. Но легко было догадаться, что это не тот Родзевич, который им нужен. После вопроса, не живет ли у нас кто-либо непрописанным,

вышли. Дом был, по-видимому, окружен, потому что из открытых дверей я увидел солдата.

Под впечатлением неожиданного визита мы уже не ложились. Спустя некоторое время увидели, что в соседней вилле, где жил профессор Политехнического института Роман Виткевич, зажглись огни, а минутой позже раздались два выстрела. Обыск там продолжался минут пятнадцать. Когда все успокоилось, я подошел к забору, разделявшему наши два участка, и узнал, что профессор арестован вместе со сторожем, который жил у них. Выстрелами была ранена собака.

Когда начало светать, я увидел, что на Вулецких взгорьях солдаты копают яму. Это меня очень обеспокоило. Рассказал об этом своим близким, и мы уже не отходили от окон.

Яма была вырыта в течение получаса. Обреченных приводили со стороны бурсы Абрагамовичей и ставили на краю ямы лицами к нам. Военные, проводившие экзекуцию, стояли по другую сторону ямы. После залпа почти все убитые сразу падали в могилу. Профессор Виткевич перекрестился и в тот же момент упал.

Обреченных делили на четверки. Насколько припоминаю, четверок было около пяти. Все происходило быстро, потому что другие партии уже ждали своей очереди наверху.

После расстрела солдаты быстро зарыли могилу. Всю эту кошмарную картину мы наблюдали с помощью бинокля, который передавали друг другу. Кроме меня, экзекуцию видели мой отец, жена и сестра, проживающая сейчас за границами Польши. Жены и отца в живых уже нет. Лично я, кроме профессора Виткевича, не распознал никого. Помню, что мои близкие узнали немало знакомых и среди них профессора Владимира Стожека с сыновьями, профессора хирургии Тадеуша Островского с женой, профессора права Романа Лонгшам де Берие и других. На одной женщине была голубая шаль. Женщин было, как мне припоминается, три. Ту, которая не могла идти, волокли два солдата. Было расстреляно приблизительно двадцать человек...

Одной из женщин, которых видел из окна своей квартиры инженер Тадеуш Гумовский, была, вне всякого сомнения, учительница английского языка в

семье профессора хирургии Тадеуша Островского Кэтти Демкив. «Соловьи» схватили ее на квартире хирурга Островского вместе с проживающим там ксендзом Комарницким. Ее, вслед за профессором и его хромой женой, выволокли из дома по улице Романовича и грубо втолкнули в машину защитного цвета, на бортах которой была изображена такая милая певчая птица.

Единственным, кому удалось спастись в ту ночь от расстрела, несмотря на то, что и его привезли в подвалы бурсы Абрагамовичей, был живущий и работающий теперь в Польше член-корреспондент Польской Академии наук, известный педиатр Францишек Гроэр. Гитлеровцы отпустили его во двор. Домой он мог уйти только после шести часов утра».

Ф. Гроэр свидетельствует:

«Я расхаживал по двору и курил одну папиросу за другой. Почти совсем рассветало. Из здания вывели пять-шесть женщин. Оказалось, это были служанки профессора медицины Тадеуша Островского и Яна Грека, арестованные вместе с профессорами, их женами и гостями. Их, как и меня, освободили, и они небольшой группой стояли во дворе, дожидаясь окончания «полицейского часа», то есть шести часов. Я с ними не разговаривал, но они о чем-то говорили с часовыми.

Спустя некоторое время из здания вывели группу людей... Четыре человека несли труп. Как я узнал впоследствии от служанок профессоров Островского и Грека, это был труп молодого инженера Руффа. Его убили во время допроса, когда с ним случился припадок эпилепсии. Из четырех человек, которые несли труп Руффа, я узнал троих. Вне всякого сомнения, это были: заведующий кафедрой паталогической анатомии Медицинского института профессор Витольд Новицкий, профессор Политехнического института Владимир Круковский, знаменитый специалист по нефти профессор Станислав Пилят. Мне кажется, что четвертым был профессор-математик Владимир Стожек. Эту группу провели через двор за то здание, в котором мы находились. Вывели их, как мне показалось, по направлению к Кадетской горе. Когда они исчезли из виду, я увидел, как гитлеровцы принудили жену

профессора Островского и жену доктора Станислава Руффа, мать убитого инженера, смывать кровь с лестницы, по которой проносили труп ее сына.

Через минут двадцать-тридцать оттуда, куда увели профессоров, несущих труп инженера Руффа, я услыхал винтовочные залпы.

Был уже ясный день. Из здания снова вывели группу, человек пятнадцать-двадцать, и всех поставили лицом к стене. Среди них я узнал акушера-гинеколога доцента Станислава Мончевского. Вместе с этой группой вышел и тот «начальник», который меня допрашивал — высокий, крепко сложенный, со зверским опухшим лицом, не совсем трезвый, как мне сразу показалось. Теперь, указывая на выстроенных под стенкой людей, он сказал часовым: «А эти пойдут в тюрьму!» У меня создалось такое впечатление, что эти слова были сказаны больше для моего сведения. Потом, подойдя к группе служанок профессоров, «начальник» спросил: «Все ли здесь служанки?».

Одна из женщин ответила: «Нет, я учительница!» — «Учительница? — крикнул «начальник». — Тогда марш под стенку!» — и стал расхаживать по двору, охрипшим голосом напевая немецкие песенки. Отобрав у одного из часовых винтовку, он стрелял в кружащих над нами ворон. Так как было уже около шести часов, он отпустил сначала прислугу, потом меня.

Когда я уходил, группа профессоров все еще стояла под стеной...»

С этой группой ушла на смерть подданная Соединенных Штатов Америки учительница Кэтти Демкив.

Этим расстрелом профессоров один из приближенных Теодора Оберлендера гауптштурмфюрер СС Отто Кригер начал на западных землях Украины серию карательных актов, направленных против интеллигенции. К его персоне мы вернемся позже.

Глазами семьи Кухаров

На рассвете 4 июля 1941 года, когда инженер Тадеуш Гумовский вместе с семьей наблюдал из окон своей виллы по улице Набеляка экзекуцию, происхо-

дившую на Вулецких холмах, автоматными и ружейными залпами была разбужена и другая семья — Галина и Кароль Кухары, проживавшая в одном из новых домов по улице Малаховского, который выходил окнами на те же Вулецкие холмы. Пользоваться биноклем им не пришлось, так как от их окон до места казни было всего каких-нибудь пятьдесят метров.

— Утром первого июля, — рассказывает Кароль Кухар, — мы вместе с женой спускались с улицы Малаховского через Косиньерскую на Кадетскую. Неподалеку от бурсы Абрагамовичей, вблизи «Дома студента» («Дом техника»), почти на углу улицы Абрагамовича, стояла водопроводная колонка. Около нее я увидел измазанного чем-то черным еврея, а рядом — гитлеровца в мундире. Еврей качал воду, которая лилась на землю. Эта работа, конечно, была бессмысленной.

Когда мы в полдень возвращались домой, воду качал другой еврей. Он тоже был измазан, но вдобавок гитлеровец его избивал стэком. Жителям качать воду не разрешалось. По приказу охранника, это должен был делать еврей.

В этот же день после полудня мы видели из окон своего дома, как пять-шесть гитлеровцев гнали впереди себя двух евреев по улице Абрагамовича к спускам и оврагам на Вулецкую (то есть тем же маршрутом, по которому тремя днями позже прошли ученые Львова. — *В. Б.*). Евреев били палками. По-видимому, это были те самые люди, которых мы видели около водопроводной колонки. От нашей квартиры до бурсы Абрагамовичей каких-нибудь 120 метров, и мы хорошо слышали крики несчастных...

Прерывая мужа, говорит Галина Кухар:

— Я помню, что фашисты угнали свои жертвы в овраги над Вулецкой и добили их выстрелами из пистолетов. Потом они привели туда других евреев и показали им трупы убитых. Эту группу тоже гнали бегом, подстегивая ударами палок...

Так на Кадетской горе города Львова, где расположился со штабом своего батальона «Нахтигаль» абверпрофессор Теодор Оберлендер, начинали «производственную» практику подготовленные им «соловьи».

Евреев с лицами, измазанными гуталином, видели у водопроводной колонки нынешний доцент Львовского политехнического института, тогда еще студент, Роман Курендаш и проживающий в Кракове инженер Владислав Солек. В своих статьях, опубликованных в советской и зарубежной печати и полностью совпадающих со свидетельствами Кухаров, они рассказывали об этих издевательствах.

— Все эти дни, — продолжает Галина Кухар, — мы почти не спали. Издевательства гитлеровцев над евреями у водопроводных колонок продолжались. Под вечер второго июля фашисты пропускали трех евреев сквозь шпалеры, избивая палками. Убили двух. Третий бросился бежать. Все фашисты побежали за ним и, задержавшись над краем оврага, начали обстреливать. По их дальнейшему поведению можно было понять, что бежавший убит. Третьего июля было относительно спокойно, хотя по городу пошли слухи об аресте представителей интеллигенции как заложников. Вечером мы легли спать. В моей комнате не зажигали света, окно было открыто. Около четырех утра нас разбудил винтовочный залп. Потом мы услышали вблизи пистолетные выстрелы.

— Я сразу, — рассказывает Кароль Кухар, — вбежал в комнату жены и подошел к окну. И вот что я увидел: вся территория вокруг оврагов на Вулецких холмах окружена гитлеровцами в касках. От наших окон это метрах в пятидесяти-шестидесяти. Немного поодаль, на лужайке, солдаты окружили одетых в штатское людей, построенных рядами по шесть, всего их было человек тридцать и среди них — женщина. Чуть ниже, метров на двадцать пять ближе к Вулецкой, стояла группа военных с автоматами на изготовку, а на соседнем взгорье — небольшая группа офицеров (их я определил по шапкам). Держались они свободно, разговаривали.

Один офицер внизу — низенький и толстый — взмахнул стэком, и два солдата свели крутой тропинкой вниз группу из шести человек. Их выстроили лицом к убийцам. Раздался громкий выкрик, очевидно команда. Обреченные повернулись и сняли головные уборы.

Во время экзекуции очередной шестерки один че-

ловек не снял шапку. Тогда офицер, командующий расстрелом, подошел и сбил с него головной убор стэком.

Привели на расстрел шестерку, в которой находилась женщина. Она, увидев поднятые автоматы, поцеловала в голову стоящего рядом мужчину. Несколько человек перекрестились.

Из наших окон расстреливаемые не были видны во весь рост, а только до колен, так как они стояли над могилой в углублении. После каждого залпа раздавалось шесть одиночных пистолетных выстрелов. Это офицер добивал обреченных. Затем к месту расстрела приводили новую группу, и снова слышались винтовочные залпы и одиночные револьверные выстрелы. Соседи, также наблюдавшие расстрел, видели, что двух мужчин солдаты тащили вниз под руки, так как те не могли сами идти. Эти двое были застрелены последними...

Офицеры-наблюдатели стояли на бугре до самого конца... Покончив со своими жертвами, они стягивали с них плащи и пиджаки. По-видимому, они обыскивали карманы расстрелянных. Это свое предположение мы основываем на том, что видели, как офицеры наклоняются над убитыми, а потом передают друг другу какие-то мелкие предметы.

Всех убитых стянули в заранее выкопанную могилу. Замелькали лопаты. Могилу засыпали... Почва на склонах, прилегающих к Вулецкой улице, глинистая. На свежей глине, которой засыпали могилу, долго были заметны следы крови...

Среди расстрелянных я узнал профессора Антония Ломницкого, который был моим учителем еще в гимназии. Кажется мне, что я видел также профессора Островского и доктора Руффа...

Ученые Львова были расстреляны, могилы их засыпаны сырой, холодной глиной, причины и обстоятельства этого злодеяния скрыты покровом тайны даже от родных погибших. Однако фашистам нужно было, не называя вещи своими именами, постфактум создать в городе такую политическую обстановку, в которой бы и впредь сохранялся накал национальной вражды.

Ближайший коллега Оберлендера, некий доцент

Кенигсбергского университета, а в те дни разведчик, состоящий в советниках коменданта Львова, Ганс Иоахим Байер дал в первых числах июля 1941 года корреспонденту фашистской газеты «Краківські вісті» интервью о положении во Львове, в котором было сказано: «Следует принять во внимание, что значительная часть польской интеллигенции под руководством бывшего премьер-министра Казимира Бартеля была здесь явно сочувственно настроена по отношению к Советской власти».

В этих словах — как бы оправдание уничтожения польской интеллигенции и приказ янычарам впредь действовать так же.

В самом гнезде «соловьев»...

Когда на рассвете 30 июня 1941 года батальон «Нахтигаль» ворвался во Львов и расположился в нескольких зданиях города, Яцеку Вильчуру, проживающему ныне в Варшаве, было пятнадцать лет. Мать умерла, и на плечи паренька легли заботы о семье — отце, прикованном к постели, и двух маленьких братьях. Вот тогда-то, рыская по городу, чтобы любой ценой раздобыть себе в закоулках Львова пропитание, он и услышал впервые о «соловьях», или «пташниках», как иначе называли солдат этой части львовяне.

«Название «пташники», — рассказывает Яцек Вильчур, — население применяло по отношению к изменникам, переодетым в мундиры вермахта. Я не знал тогда, почему именно так называли это соединение, догадывался лишь: вероятно потому, что на их мотоциклах и автомашинах изображались силуэты птиц. У «пташников» была немецкая униформа и немецкие звания. Говорили они по-украински, а на рукоятках их тесаков висели ленточки с узлами желто-голубого цвета... Почти в каждой облаве, в каждом погроме, экзекуции принимали участие солдаты этого батальона.

Спустя два дня после занятия Львова жители уже знали, что «пташники», украинская полиция и группы украинских фашистов арестовывают людей по за-

ранее подготовленным спискам. В первые дни арестовывали преимущественно представителей интеллигенции — профессоров, артистов, педагогов средних школ, молодых ксендзов, связанных со студенческим движением, и активных студентов. Арестованных вывозили в разные места и там расстреливали. Местами экзекуций были: село Винники под Львовом, Куртумова гора, еврейское кладбище по Яновской улице, Вулецкие холмы, коридоры тюрьмы по улице Лонцкого. Расстрелы происходили также, правда очень короткое время, в бывшей военной тюрьме по Замарстыновской улице. Ходили слухи: кто переступит порог Замарстыновской тюрьмы, уже никогда оттуда не вернется.

Днем первого июля 1941 года, когда я проходил по Стрелецкой площади* во Львове, возле меня затормозила машина. Сидевший в кузове солдат в немецком мундире обратился ко мне по-украински, спросив, не знаю ли я, где улица Чвартаков, потребовал, чтобы я показал туда дорогу... Дом, у которого остановилась машина, уже был занят военными. Перед ним стоял часовой с автоматом. Младший офицер, которому я указал дорогу, дал мне полбуханки хлеба и приказал подождать его на улице. Спустя некоторое время он вернулся с солдатами. Было также двое штатских, но из-под пиджака одного из них выглядывал ствол пистолета. Солдаты присматривались ко мне минуту, потом один поинтересовался, не имею ли я желания заработать. Я ответил утвердительно. Тогда он спросил: «Умеешь ли подметать, мыть посуду и держать язык за зубами?» Снова сказал «да». Он посоветовал мне взять в помощь еще одного «микруса» (пацана). Сказал, что нам придется еще чистить сапоги и ремни. Я сразу привел из города своего приятеля Крысько. Нам разрешили спать в подвале около котельной и дали поесть.

Третьего июля на рассвете в казармы возвратилась группа солдат, говоривших по-украински. Сапоги и мундиры у них были выпачканы глиной и грязью. На некоторых я заметил темно-ржавые пятна. Один из солдат стирал под краном платок, залитый

---

* Теперь площадь Д. Галицкого.

кровью. Все они разбрелись — кто спать, кто пить водку, а мы чистили их сапоги, одежду и пояса.

Наступила ночь с третьего на четвертое июля. Солдаты куда-то уехали. Вернувшись, привезли с собой на двух машинах штатские костюмы, очки, несколько кожаных портфелей. Эти вещи внесли в большую комнату на втором этаже и велели все почистить. Младший офицер приказал нам внимательно осмотреть все карманы, а то, что там обнаружим, сложить в чемодан.

Оказалось, что в эту ночь автомашины возвратились с Вульки, так как солдаты ругали подъезд к этой части города. Мы уже знали, что эти солдаты, говорившие по-украински, и есть те самые «пташники», о которых люди в городе говорят, что они уничтожают только интеллигентов.

В ночь с четвертого на пятое июля солдаты выезжали дважды: поздно вечером и уже перед рассветом. Возвратившись, избили меня и Крысько. В этот день мы не пошли даже за супом к повару, опасаясь новых побоев. Солдаты снова привезли много одежды. Очищая ее, мы то и дело обнаруживали пятна свежей крови.

Шестого июля солдаты выехали куда-то с наступлением темноты, а вернулись только на следующий день в семь часов утра и сразу же пошли спать. Сапоги у них были в грязи. Приказали, кроме сапог, почистить кузова машин. Чистить их нам помогал один из шоферов. Когда закончили эту работу, он пригрозил, что если мы где-либо проболтаемся о том, что происходит в доме по улице Чвартаков, нас застрелят и бросят в уборную.

После полудня в казармах отмечали какой-то праздник. Еще днем весь двор посыпали песком, здание внутри украсили еловыми ветками. Вместо одного часового у ворот уже стояли двое, один из них — младший офицер. После обеда к дому подъехала машина, из нее вынесли ящики с водкой и вином, пачки шоколада, мясо, колбасу и хлеб. Повар с двумя помощниками делали бутерброды — «канапки» и раскладывали по столам. Мы с Крысько получили немало горбушек хлеба и обрезков колбасы. Эту снедь я, как всегда, отнес домой родным, и вообще носил все,

что мог, — остатки от обедов, иногда кусочки масла в бумаге. В самом большом зале казармы, где стоял стол, висели украшенные еловыми ветками портреты Гитлера и еще кого-то из его приспешников.

Около 18 часов к дому на Чвартаков подъехали три легковые машины. Из них вылезли офицеры вермахта. Один был в мундире, но без знаков различия. Офицеры оказывали ему почести и услужливо пропускали вперед.

Весь вечер в зале пили напропалую, кричали, шумели. Во время банкета играл патефон. Часовые сменялись каждые полчаса и шли в здание пить. Один из них, которого называли Стецьком, дал мне сотню папирос и баночку шпрот. Этого Стецька я встретил еще раз в начале 1942 года. Он был тогда «банншутцем» на Львовском главном вокзале, охранял склады возле «Коммандо этаппо ди стационэ» итальянских войск.

Когда вечером гости разъезжались, я стоял у входа в здание. Гость, одетый в мундир без знаков различия, спросил украинского командира, кто такие мы с Крысько. Офицер что-то ему объяснил, и они отошли к машине. Поздно ночью часовой разбудил меня и Крысько и привел к командиру. Тот спросил, знаю ли я, что за военная часть занимает казарму. Я ответил: «Вермахт». Тогда офицер приказал мне рассказать все о своем доме и родственниках и как это произошло, что я оказался на Стрелецкой площади как раз в тот самый момент, когда там остановилась машина с его подчиненными. Выслушав объяснение, офицер сказал мне, что здесь находился отряд немецкой армии, который сражался с бандами диверсантов. А сейчас он уезжает на фронт в Россию. Офицер дал мне и Крысько по три буханки хлеба и несколько банок консервов. Кроме того, позволил нам выбрать себе на складе по паре сапог. Сказал нам, что нельзя говорить никому о том, что мы видели, в противном случае будем иметь дело с военно-полевым судом.

Когда мы с Крысько покидали здание на улице Чвартаков, я видел, как солдаты укладываются, застегивают большие полевые ранцы и чистят свои чемоданы...»

Таково свидетельство еще одного из немногих, чу-

дом уцелевших, очевидцев тайных действий батальона «Нахтигаль» во Львове.

Куда и зачем они шли, эти наемники больших убийц, янычары, спущенные с поводков абверпрофессорами, заботливо украшавшие еловыми ветвями портреты бесноватого фюрера и обагрившие львовскую землю кровью ученых? Завоевывать «самостийну Украину»? Нести в немецких походных ранцах «лучшую» долю украинскому народу?

В опубликованных недавно комментариях к плану «Ост» приведена весьма красноречивая и категорическая рекомендация одного из самых приближенных оруженосцев Гитлера и Гиммлера: «По плану главного управления имперской безопасности, на территорию Сибири должны быть переселены также западные украинцы. При этом предусматривается переселение 65 процентов населения...»

Вот на деле та «самостийна», которую завоевывали своим землякам новоявленные «тирольцы Востока», ночные птицы в зеленоватых мундирах вермахта!

Тайное стало явным

Хорошо известно, что одной из главных черт характера боннского министра Теодора Оберлендера является неслыханная самоуверенность и беспардонное нахальство. Эти свойства характера и укрепили его в мысли, что тайна кровавых акций «соловьев» во Львове похоронена навсегда и скрыта от лишних глаз так же наглухо, как и тела профессоров, что падали в глинистую яму близ Вулецкой на рассвете 4 июля 1941 года.

Чем же иным, если не уверенностью в том, что следы преступлений затерты раз и навсегда, можно было бы объяснить заявление Оберлендера, сделанное на пресс-конференции в Бонне 30 сентября 1959 года о том, что «ни батальон «Нахтигаль», ни другие войсковые части немцев во Львове не применяли насилия и не бесчинствовали». Оберлендер заявил на конференции, что он был придан батальону «Нахтигаль» верховным командованием вермахта 8 мая 1941 года сроком на десять недель и что за это время, пока он ру-

ководил батальоном, не было произведено ни одного выстрела и не было бесчинств...

Все разоблачения, касающиеся его прошлого, Оберлендер назвал «коммунистическими обвинениями» и пригрозил судом всякому, кто их будет распространять. Заявляя так и громко стуча кулаком по столу в вотчине его друга и главного заступника — канцлера Аденауэра, абверпрофессор и не подозревал, пожалуй, что одним из лиц, которое прольет свет на тайну ночи 4 июля 1941 года, окажется также и дама графского происхождения.

В годы немецкой оккупации графиня К. Лянцкоронская принимала участие в работе так называемого «Главного опекунского совета» — благотворительной организации, которая помогала заключенным в тюрьмы полякам. Когда в январе 1942 года Лянцкоронская приехала по делам опекунского совета в г. Станислав, она, судя по ее словам, застала в тамошнем комитете этой организации странное настроение. «Все там говорили тихо и смотрели на двери. Спросила: в чем дело? Сказали мне, что нельзя вести себя иначе, ибо люди Кригера повсюду. Пересказала мне более подробно всю историю исчезновения 250 интеллигентов Станислава, которых захватил Кригер, как только возглавил станиславское гестапо. Это были прежде всего учителя средних и начальных школ, люди свободных профессий; много было врачей, инженеров и адвокатов».

В мае 1942 года, после неоднократных попыток выяснить судьбу этих людей, Лянцкоронская была арестована, и на одном из допросов сам Кригер довольно ясно заявил, что жизнь ее окончится печально.

«Потом Кригер спросил, что о нем думают в Станиславе. Я ответила уклончиво. Начал снова беситься и повторил вопрос.

— Боятся вас! С вашей фамилией связывают аресты 250 человек — педагогов, инженеров, врачей.

— Попросту польской интеллигенции, — оборвал меня, смеясь и кивая головой. (Был он молодой, лет тридцати-тридцати двух, высокий, тучный, со светлыми волосами, опухшее лицо).

Я сказала, что особенный резонанс в Станиславе вызвал арест доктора Яна Кохая, который спас жизнь

четырем немецким летчикам и, несмотря на это, тоже пропал без следа. Благодарность, которая прибыла ему из министерства имперской авиации, его уже не застала.

— Благодарность Кохай получил. Она прошла через мои руки! — сказал Кригер.

— И все же такого человека не освободили? — спросила я.

— Имеет ли это отношение одно к другому? — спросил удивленно. — Ведь мы, когда вторгаемся, уже имеем готовые списки тех, кто подлежит аресту. Так бывает всегда. Вы знаете, где это уже однажды так было? — Тут он дико рассмеялся. Я была дезориентирована, не понимала, к чему он клонит, а Кригер продолжал: — Во Львове! Вы понимаете, что я имею ввиду в эту минуту. Во Львове! (Снова дикий смех). Да, да! Профессора университета! Ха-ха, это мое дело, мое! Сегодня, когда пани уже отсюда не выйдет, могу вам это сказать! Да, да, в... (тут назвал какой-то день недели, кажется, четверг) в три часа пятнадцать минут утра...

И если до этого Кригер избегал моего взгляда, то сейчас смотрел мне в глаза. Думаю, он понимал, что на этот раз ему все удалось, что попал мне в самое сердце и явно радовался этому. Мне в то время казалось, что кто-то вбивает в голову такие слова: «Так значит они не живут, а убийца — вот этот!» И быстро, как во сне, промелькнули передо мной фигуры профессоров Ренцкого, Добржанецкого, Островского и многих других. Видела угасшее лицо вдовы профессора Романа Лонгшан де Берие... Представила Вульку, как там проводили на рассвете группу обреченных, и в их числе — хромую женщину... У Ядвиги Островской была больная нога...

А Кригер тем временем говорил, глядя пристально на меня:

— Я был тогда во Львове мало, с отделом фельдгестапо, приданным вермахту, пошел сразу дальше, на Восток, позже вернулся сюда.

Разболтавшийся гауптштурмфюрер СС Отто Кригер был уверен, что К. Лянцкоронская уже никогда не вырвется из его лап, что она одной ногой на том свете, как и те львовские профессора, которых «нахтигаль-

цы» по приказу Оберлендера и Кригера проводили в глинистые овраги Вульки на расстрел. Но события обернулись иначе. Весть об аресте Лянцкоронской быстро докатилась до Италии, ее тамошние приятели обратились за содействием к членам семьи короля Виктора Эммануила, и Сабауды лично хлопотали у Гиммлера, чтобы графиня была освобождена.

После долгих проволочек и ходатайства Международного Красного Креста 5 апреля 1945 года Лянцкоронская была освобождена из Равенсбрюка. Она описала свои злоключения, и, таким образом, к великому неудовольствию господина Оберлендера, еще один луч света пролился на дело о гибели ученых Львова.

Только ли одна личная симпатия канцлера Конрада Аденауэра к абверпрофессору Теодору Оберлендеру позволяла последнему так долго занимать пост министра и не сесть на скамью подсудимых? Конечно, нет! Все дело в тех темных третьих силах, которые по-прежнему лелеют мысль о новой войне и не пренебрегают на случай новых походов на Восток такими «серыми эминенциями», «специалистами» по обращению с людьми других национальностей, как Оберлендер.

Осенью 1958 года нам довелось присутствовать на суде над бывшим гаулейтером Восточной Пруссии и рейхскомиссаром Украины Эрихом Кохом. Именно под крылышками этого матерого нациста, одного из самых приближенных лиц Гитлера, члена НСДАП с номером 90 партийного удостоверения, и начинал в Кенигсберге свою карьеру Оберлендер. Правда, потом между старым и молодым фашистскими волками были трения по тактическим вопросам, как удобнее всего завоевывать Восток и превращать нацию славян в рабов, но не это важно. Ясно, что Эрих Кох очень хорошо знал Теодора Оберлендера и все этапы его жизненной карьеры. Именно поэтому в своем последнем слове подсудимого во время суда в Варшаве Эрих Кох сказал с явной обидой:

— Оберлендер является сегодня министром по делам перемещенных немцев в Бонне, а Кох сидит на скамье подсудимых в Варшаве...

В одной из своих многочисленных аппеляций в адрес польских властей в ноябре 1959 года Эрих Кох, ожидающий исполнения приговора в тюрьме, снова

назвал фамилию Оберлендера. По словам Коха, его «отказ» занять в Немецкой Федеративной Республике такое же положение, какое занимает Теодор Оберлендер, и привело к выдаче его, Коха, в руки польского правосудия...

Земля в хрустале

Тайну убийства ученых Львова скрывали не только гитлеровцы и их кровавые пособники из батальона «Нахтигаль». Ее ревниво берегли и те украинские националисты, к которым обращались за помощью растерянные, убитые горем жены ученых.

...Поздняя весенняя ночь 1960 года. Окраинная улица польского города Гливице. Мы в гостях у вдовы стоматолога академика Антония Цешинского, убитого в памятное утро 4 июля 1941 года. Розалия Цешинская вместе со своим сыном, доктором Томашем Цешинским, восстанавливают в памяти одну за другой подробности тех страшных дней, когда во Львов ворвался батальон «Нахтигаль».

Должно быть, поняв сразу, что к исчезновению профессоров причастны украинские националисты, Розалия Цешинская обратилась с просьбой о помощи к бывшему коллеге ее исчезнувшего мужа доктору М. Панчишину. Просила. Умоляла помочь. Он бормотал что-то невнятное, отделывался общими словами.

Разве могла знать Розалия Цешинская, совершая этот бесполезный и унизительный визит, что будущий агент СД доктор М. Панчишин еще в Кракове был занесен Степаном Бандерой в списки его, бандеровского, правительства как будущий министр здравоохранения «самостийной, суверенной Украины»? Разве могла знать Розалия Цешинская, что через несколько месяцев после ее визита М. Панчишин напишет верноподданническое письмо в Берлин с просьбой открыть во Львове медицинский институт, так как для этого есть уже все возможности, ибо «нежелательные рейху элементы из научного мира уже изолированы»; когда же о существовании этого письма проведает доцент Болеслав Яловый, то будет дана команда боевикам ОУН убрать такого нежелательного свидетеля.

— ...Говорила, просила Панчишина помочь, он

блудливо отводил глаза, и я поняла, что какая-то страшная, непонятная стена выросла между нами, — с горечью говорит нам Розалия Цешинская.

Стену эту соорудил фашизм. По совету друзей Розалия Цешинская на следующий день пошла к митрополиту греко-католической церкви графу Андрею Шептицкому. Но и его эксцеленция граф Шептицкий вел себя не лучше своего придворного врача М. Панчишина, ссылался на неосведомленность в военное время, на то, что он «не вмешивается в светские дела».

Могла ли тогда знать вдова ученого, склоняясь перед дряхлым князем церкви и целуя его руку, что в это время рядом, за стеной, в капитуле на Святоюрской горе, орудует в своей походной канцелярии любезно приглашенный митрополитом абверпрофессор, гауптман Ганс Кох, старый коллега и друг Оберлендера по Кенигсбергскому университету, приехавший во Львов по заданию Канариса «наводить порядок».

После долгого молчания женщина подымается, уходит в дальний угол комнаты и приносит большую хрустальную вазу с крышкой. Ваза эта удивительно напоминает урну. Словно угадывая наши мысли, Розалия Цешинская говорит:

— Покойный муж Антоний, которому я подарила в день рождения эту вазу, всегда подтрунивал надо мной: «Она похожа на урну, в нее ты когда-нибудь положишь мои останки». Нечаянно пошутив, он оказался прав! Я собрала в эту вазу после смерти мужа землю с его могилы и пепел из «Пясковни» (оврага, где гитлеровцы сжигали трупы своих жертв). Вот здесь лежит земля Львова, залитая кровью моего мужа...

Молча, не зная, что сказать в ответ, смотрим мы на вазу, которую держит в дрожащих руках поседевшая от горя вдова ученого с мировой славой. Мы различаем желтую землю, на которую он падал, сраженный пулями немецких автоматов, и видим слезы на глазах жены и сына убитого тогда невинного человека.

Мы знаем, если эти строки дойдут до абверпрофессора Теодора Оберлендера, он сможет их назвать «коммунистическими обвинениями». Но хрустальная ваза с пеплом ученых — реальность, и пепел этот будет стучать в наши сердца до тех пор, пока на земле не исчезнет фашизм...

1959

ПО СЛЕДАМ ПРОПАВШИХ ГАРНИЗОНОВ

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

(Михаил Светлов. «Итальянец»).

Книга из Венеции

Первый пассажирский самолет, открывающий линию Москва—Львов, доставляет нас в только что освобожденный город. На ближних подходах ко Львову появляются в небе два «Мессершмидта», и нам приходится буквально «подползать» к аэродрому почти на уровне макушки Высокого Замка.

С разбитого, изуродованного аэродрома добираемся в город пешком. Улицы засыпаны битым оконным стеклом, повсюду свисают рассеченные осколками трамвайные провода, чернеют на перекрестках вплавленные в асфальт, подбитые, обгорелые танки с немецкими крестами. И необычная для довоенного Львова пустота на его улицах! А когда всходит полная луна, озаряя своим призрачным светом памятник Адаму Мицкевичу и заглядывая с любопытством в глазницы разбитых окон, в городе становится совершенно тихо. Только изредка гулко стучат по тротуарам шаги комендантских патрулей, обходящих город, из которого всего три дня назад выбиты гитлеровцы.

На следующий день иду становиться на учет в отделение Союза советских писателей. Помню, что до войны оно помещалось в бывшем особняке графа Бельского по улице Коперника. Память еще сохранила, какое оживление было тогда в этом небольшом

зданий с колоннами: украинские, польские, еврейские, русские, венгерские и чешские литераторы приобщались здесь к большому интернациональному опыту советской литературы, дискутировали, обсуждали взаимные переводы.

...В доме с колоннами удивительно тихо. Ни души. Ветер гонит по запыленным полам обрывки немецких и венгерских газет, на стенах — оспины от пуль, портрет пучеглазого Гитлера в большом зале.

На одном из подоконников лежит книжка.

Беру ее в руки.

Знакомый портрет великого писателя Италии Карло Гольдони с пышными подвитыми волосами и название книжки — «Венеция нель канто де суои поэти» вместе с выходными данными помогают при полном незнании итальянского языка сообразить, что я стал обладателем антологии поэтов Венеции, выпущенной в 1925 году в Милане издателем Фрателли Тревес.

Какой мечтатель, любитель прекрасного читал, перечитывал и даже штудировал эту книгу в залитом кровью Львове в страшное время войны? Это оставалось тайной.

Но то, что книга изучалась очень тщательно, притом знатоком итальянской поэзии, в этом не было никакого сомнения. Повсюду на полях книги были сделаны пометки и переписаны наново целые строфы. Прикосновения остро отточенного карандаша как бы корректировали и изменяли текст венецианских канцон.

Только значительно позже, с помощью уроженцев Италии, я узнал, в чем дело.

Неизвестный владелец книги переводил на досуге целые строфы и стихотворения с венецианского диалекта на общепринятый язык Италии. Но в тот день, 2 августа 1944 года, оставаясь в полном неведении относительно пометок, сделанных в тексте книги, я отнес мою находку домой и отправился разыскивать областной комитет партии. Так как нынешнее его здание на Советской улице было еще заминировано, обком помещался в небольшом домике на тупиковой Рыбацкой улице. У его подъезда стояло несколько открытых военных газиков. Когда я спросил

у часового, как попасть на прием к секретарю обкома партии, часовой сказал:

— Да вот он, секретарь!

По лестнице быстро спускался вниз худощавый смуглый человек в генеральской форме. Когда он вышел на улицу, я представился и показал свои командировочные документы.

— Литератор? Очень хорошо! — бросил почти на ходу секретарь. — Я бы поговорил с вами подробнее, но не могу. В Перемышлянах появилась банда. Еду туда. Беритесь на учет и найдите представителя Чрезвычайной следственной комиссии. Им нужен человек, который помог бы литературно оформить все акты по гитлеровским злодеяниям. Скажите, что я вас послал. А потом поговорим основательно!

С этими словами секретарь обкома вскочил в открытую машину, шофер нажал педали, и машина вырвалась на соседнюю улицу Кохановского. Вдогонку помчался второй газик с автоматчиками в запыленных гимнастерках.

Для меня эта встреча завершилась первым партийным поручением, полученным на освобожденной львовской земле.

...И блокадная зима, пережитая в осажденном Ленинграде, и жестокие бомбежки Мурманска, и поведение гитлеровцев на арктическом театре войны, где мне довелось побывать в качестве корреспондента Советского Информбюро, уже в достаточной степени помогли представить по личным, непосредственным впечатлениям, что такое фашизм в действии. Но то, что довелось увидеть в городах и селах западных областей Украины, превзошло все виденное раньше. Сотни свидетельских показаний вели к множеству безымянных могил, в которых покоились мирные люди, убитые гитлеровцами. Серебристый пепел на склонах «долины смерти» за Яновским лагерем подтверждал слышанные ранее рассказы нескольких участников «Бригады 1005», созданной СД дистрикта Галиция из последних узников львовского гетто, о том, как сжигали по приказу немцев останки расстрелянных во Львове.

И вот однажды мы услышали рассказ о том, что

среди людей, расстрелянных гитлеровцами во Львове, были и итальянцы.

Вначале рассказ показался неправдоподобным. Где Италия — и где Львов! И с какой стати надо было гитлеровцам расстреливать своих тогдашних союзников, подданных одной из стран «оси»? Но постепенно рассказ первого свидетеля обрастал новыми подробностями, и наконец нам удалось разыскать человека, который не только сообщил много нового о трагедии итальянцев во Львове, но даже назвал по фамилиям известных ему уроженцев Италии, нашедших свою смерть в глубоком песчаном овраге на окраине Львова — Лычакове.

После падения Муссолини

Молодая львовянка Нина Петрушковна в годы оккупации поступила работать в команду тыла итальянского гарнизона «Ретрово Италиано», которая дислоцировалась тогда во Львове. Львов был значительным транзитным пунктом на пути из Италии на Восточный фронт, через который перебрасывались военные соединения итальянцев с берегов Средиземного моря к Волге. Вполне понятно, почему именно в этом городе создали такую «перевалочную базу» итальянского военного командования.

Летом 1942 года на площади за Львовским оперным театром стояла лагерем моторизованная дивизия итальянской армии, задерживались здесь и другие крупные соединения итальянцев. Но стоило после высадки англо-американских войск на Сицилии маршалу Бадольо капитулировать и сделать первые попытки вывести Италию из войны, как положение итальянцев, находившихся во Львове, резко изменилось.

— После того как пал режим Муссолини, — рассказала Нина Петрушковна, — гитлеровские власти во Львове предложили итальянским солдатам и офицерам, которые пребывали во Львове, присягнуть на верность гитлеровской Германии и продолжать войну против Советского Союза. Большинство итальянцев отказалось это сделать. Они в свою очередь категорически потребовали, чтобы их немедленно отправили

на родину. Тогда всех, кто отказался от присяги, гитлеровцы забрали. Так было арестовано свыше двух тысяч итальянцев. Всех их гитлеровцы расстреляли. Среди казненных было пять генералов и сорок пять офицеров итальянской армии, которых я знала лично...

Приблизительно в те же самые осенние дни 1944 года, когда мы опрашивали многих свидетелей гитлеровских злодеяний, документировали их показания и заносили в сводный акт Чрезвычайной комиссии (куда были включены и приведенные выше, но значительно более полные показания Нины Петрушковны), в кооперативной артели ночных сторожей «Чувай» нам рассказали, что один человек знает точно место, где гитлеровцы закопали не сгоревшие в огне пуговицы от военных мундиров убитых итальянцев.

Мы начали розыски этого ценного свидетеля, но оказалось, что незадолго до вступления во Львов Советской Армии он был арестован СД и вывезен в Германию.

След его потерялся...

Сообщение Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Львовской области было опубликовано на страницах «Известий», «Правды» и многих других советских газет 23 декабря 1944 года. Оно передавалось по советскому радио на многих языках народов мира. Это сообщение послужило одним из важных материалов в обвинении советской стороной гитлеровских заправил на известном процессе в Нюрнберге.

В этом сообщении было рассказано не только о том, как коварно расправились гитлеровцы со своими итальянскими союзниками во Львове, но также были приведены многие факты уничтожения французских военнопленных во львовской цитадели, в лагере города Рава-Русская и других лагерях смерти.

Нам, причастным к делу составления этого акта, а также людям, которые старались своими статьями в печати сообщить общественности, как вели себя гитлеровцы во Львове, казалось тогда и после вполне логичным и закономерным, что правительства стран, чьи подданные уничтожены во Львове, обстоятельно изучат причины их гибели, сделают по этим, пусть част-

ным фактам вывод, что принес фашизм Италии и Франции, и расскажут своим народам об этих поучительных и печальных событиях.

Лучше замолчать...

К сожалению, этого не случилось. Больше того, особенно с тех пор, как в командовании НАТО стали занимать руководящие посты те самые генералы вермахта, которые были прямо или косвенно причастны к трагедии итальянского гарнизона во Львове и к судьбе итальянцев на реке Миус и под Сталинградом, темные силы мировой реакции и особенно противники итало-советской дружбы все чаще играют на чувствах матерей, потерявших своих детей во время войны, прибегая к заведомой лжи и дезинформации.

В одном случае, 24 ноября 1957 года, корреспондент агентства «Франс пресс» сообщил из Рима, что «охотник Паоло Ланья обнаружил письмо, привязанное к лапке водяной курочки, в котором содержалось обращение 300 пленных, находящихся все еще в СССР. Эксперты-орнитологи установили, что птица вполне могла прилететь из района Туркестана или Забайкалья».

Эту типичную охотничью «утку», на сей раз «водяную курочку», немедленно подхватило ватиканское радио. Новый мощный радиопередатчик того самого папы Римского Пия XII, который благословлял Гитлера на его кровавые дела, весьма охотно передал по эфиру мифическим 300 итальянцам, содержащимся в плену у «кровожадных большевиков»:

«Не отчаивайтесь! Бог спасет вас. Все молятся и работают во имя вашего освобождения».

Действуя в унисон этим сообщениям, представитель Италии в специальной комиссии ООН по вопросу о военнопленных Луиджи Медда не соглашался с газетой «Советская Россия» относительно гибели итальянских солдат и отрицал сообщения газеты о том, что в дни битвы у реки Дон гитлеровцы обращались с целыми подразделениями итальянского экспедиционного корпуса так же, как с советскими военнопленными.

Эту шумиху и дезинформацию относительно судьбы итальянских военнопленных разоблачил Никита Сергеевич Хрущев в своем выступлении на митинге в Тиране в мае 1958 года:

«Итальянское правительство время от времени посылает нам ноты, в которых пишет, чтобы мы дали ответ, куда девались итальянские солдаты, которые воевали против нас, вторглись в нашу страну и не вернулись в Италию. Разве не известно, что такое война? Война — это как огонь, в который прыгнуть можно, но выпрыгнуть трудно — сгоришь. Вот и сгорели в этой войне итальянские солдаты...»

Новые свидетели

И эти слова, и совместное советско-итальянское коммюнике, опубликованное 20 сентября 1959 года в печати об обмене информацией относительно итальянцев, пропавших на советской земле в дни войны, и судьбы советских людей, погибших, возможно, в Италии, снова заставили нас обратиться к тому, что узнали мы о судьбе итальянцев во Львове осенью 1944 года.

Не для того, чтобы продолжать никому не нужную полемику с господином Луиджи Медда и его колегами, принялся я с помощью своих друзей восстанавливать более полную картину гибели итальянского гарнизона во Львове. Нет, совсем не для этого! Образ многих итальянских матерей, и поныне носящих траур по своим близким, стоит у меня перед глазами. Только ради них, и поныне не знающих, как, когда и где погибли их сыновья и мужья, мы стали заниматься изучением этого вопроса.

Зная о том, что немало возможных очевидцев и свидетелей исчезновения итальянского гарнизона во Львове находится сейчас в Польше, я обратился к своим коллегам, польским журналистам и литераторам, с просьбой помочь мне разыскать этих свидетелей. И вскоре пошел поток писем от наших польских друзей, от людей различных профессий и возрастов.

Писатель Мечислав Френкель, автор вышедшей недавно в Польше книги «То ест мордерство», повеству-

ющей о судьбе мирного населения Львова в годы гитлеровской оккупации, прислал мне из города Забже письмо, в котором сказано:

«Знавал я во Львове одного итальянского солдата. Познакомились мы с ним в Стрыйском парке. С чисто итальянской грацией носил он на голове какую-то шапочку, с которой в качестве украшения свисал шнурок с кисточкой на конце. Помню иронические улыбки, вызываемые этой шапочкой у проходивших мимо нас представителей «херренфолька». Всем своим видом являл он резкий контраст по-прусски вымуштрованным «товарищам по оружию» — гитлеровцам. Ходил распоясанным, летними вечерами кутался в широкий плащ, будто вечно зябнул. Ненавидел гитлеровцев... Местом его постоя была итальянская комендатура в небольшом дворце Шептицких по Зеленой улице. Мы с ним сговаривались и несколько раз встречались неподалеку от этих казарм под итальянской трехцветкой.

Однажды летом 1943 года, выйдя из дому в условленный час навстречу итальянцу, я дошел до самого дворца и увидел: флага не было и в помине, курдонер с невыполотым палисадником напоминал дворик покинутой усадьбы, ограда лежала поваленой... «Сданы в утиль!» — шепнул мне какой-то прохожий, должно быть, из живущих по соседству, и исчез. Вот все, что я знаю о них. Мой знакомый был родом из Кремоны, страстно любил стихи Леопарди и ненавидел гитлеровцев и войну».

Инженер Владислав Солек, работающий во Вроцлаве (улица Евгения Жака, 5), написал:

«...Прекрасно помню я дом, находившийся на Зеленой, и бывший дворец графа Бельского по улице Коперника, 15, несколько отступающий вглубь от линии домов; перед фасадом его тянулась высокая каменная ограда с воротами кованого железа. Итальянцы, заключенные в этих домах, сперва еще пользовались относительной свободой. Нередко наблюдал я сценки «натурального обмена»: итальянские солдаты отдавали вещевые мешки, сумки и прочее добро за продукты питания. Но ярче всего запечатлелась в моей памяти сцена, разыгравшаяся на Жовковской улице. Точной даты не помню, помню только, что проис-

ходило это в 1943 году и что стояла прекрасная пого-
да. Шел я по Жовковской улице, мимо фабрики Бачев-
ского, направляясь в сторону города, как заметил
издали приближающуюся навстречу воинскую часть.
Решил сперва, что это немцы. Трамвайное движение
было приостановлено, надо было идти пешком. Когда я
находился подле мельницы Тома, расстояние между
мною и марширующей колонной было уже невелико,
и я разглядел, что это не немцы, а итальянские солда-
ты и офицеры. Направлялись они в сторону Жовков-
ской заставы. В первых рядах шли высшие офицеры с
золотыми знаками различия на головных уборах и на
плечах. В самом первом ряду я определенно различил
двух офицеров в мундирах адмиралов военно-морско-
го флота.

Итальянцы были очень печальны, глаза их выра-
жали страдание. Однако держались они прямо и шли
размеренным шагом, неся в руках чемоданчики или
скатки. Колонну окружали вооруженные автоматами
эсэсовцы. Тротуары по обеим сторонам улицы были
почти пусты. Но из ворот домов выбегали женщины и
мужчины, бросали итальянцам хлеб. Если итальянцу
удавалось поймать хлеб на лету, гитлеровцы не били
его. Но порою хлеб падал на мостовую, и подымать
его бросалось по нескольку человек. Тогда гитлеровцы
избивали этих несчастных и не только не позволяли
им поднять хлеб, но приказывали оставлять на месте
их собственные пожитки. Итальянцы, видимо, были
очень голодны...

Не знаю, что происходило дальше — в тех услови-
ях наблюдать было трудно. Думаю, что гитлеровцы
отвели итальянцев на железнодорожную платформу,
которая находилась у моста на Знесенье, и там погру-
зили в вагоны...»

«Долина смерти»

Рассказ инженера Солека совпадает со многими
устными свидетельствами львовян о том, что часть
итальянского гарнизона эсэсовцы провели белым днем
по тогдашней Жовковской улице (теперь улица Богда-
на Хмельницкого), в направлении к городу Рава-Рус-

ская, где находился лагерь смерти для советских и французских военнопленных и итальянских солдат. Каковы были условия жизни заключенных в этом лагере, можно прочесть в сообщении Чрезвычайной следственной комиссии. Что же касается двух итальянских адмиралов, которых, судя по его письму, видел Владислав Солек, то здесь он мог допустить ошибку и спутать пышную униформу сухопутных итальянских генералов или высших офицеров частей берсальеров с формой офицеров и адмиралов итальянского флота.

В 1943 году Сатурнину Струпчевскому, тогда проживавшему во Львове, было тринадцать лет, но он хорошо запомнил многие события времен оккупации. Сейчас Сатурнин Струпчевский проживает в Варшаве по Стрелецкой улице, 3, квартира 27, и прислал оттуда письмо, в котором сказано:

«Поблизости от костела Марии-Магдалины во Львове находился дворец графа Бельского, занятый значительной воинской частью итальянцев. Помню: как-то летом, было тогда очень жарко, гитлеровцы привезли туда большое количество итальянских солдат и офицеров, без оружия, вероятно, уже интернированных. Они расположились и перед соседней тюрьмой, что на углу улиц Коперника и Льва Сапеги. Их почти не стерегли, люди давали им воду, хлеб и еду. Итальянцы говорили, что война кончилась и они едут домой. Через несколько дней разнеслась по городу весть, что все они расстреляны в этой тюрьме.

Несколько позже я был на Яновском кладбище, расположенном на большом холме. Если входить на кладбище, то метрах в пятистах левее находился Яновский концентрационный лагерь. А между лагерем и кладбищем были огромные ямы, оставшиеся, кажется, от кирпичного завода. Туда-то гитлеровцы привели большую группу итальянцев и расстреляли их из пулемета. Я видел это с высокого обрыва. По краю этого обрыва ходили охранники лагеря в черных мундирах. Но то были не немцы, а власовцы. Затем тела в тех ямах были облиты чем-то и подожжены, должно быть бензином, так как пламя было очень высоким, а дым — черным...»

По-видимому, гибель именно этой части итальян-

цев видел одновременно с Сатурнином Струпчевским и железнодорожник В. Сперчак, проживающий сейчас в польском городе Волув, который пишет:

«Будучи осенью 1943 года во Львове, я повстречал однажды в полуденную пору против казарм на Городецкой большие группы итальянских солдат, конвоируемых гитлеровцами. В группах было по двести человек. В рядах шли не только военные: там находились и люди, принадлежавшие к духовенству, с крестами на груди. Я заинтересовался, куда ведут их, и пошел за ними. Их повели в лагерь в конце Яновской улицы, неподалеку от железнодорожной колеи, ведущей к станции Подзамче. Если смотреть туда с железнодорожных путей, то лагерь этот выглядел так: за строениями лагеря два холма рядом, между ними глубокий овраг, на дне его — пылающий огонь. Над оврагом, у подножья холмов, была проложена деревянная кладка. На кладку гнали людей, стреляли сзади им в головы, и люди падали в огонь. Я — бывший железнодорожник, начальник поезда. Мой поезд нередко останавливался перед промежуточным семафором, находящимся напротив того места, где совершались казни...»

Это свидетельство полностью совпадает со всем тем, что нам рассказывали многие очевидцы о Яновском лагере смерти после освобождения города. Когда количество жертв, уничтожаемых между двумя холмами, было слишком велико, кровь просачивалась из оврага наружу и текла ручейками к железнодорожному полотну. Чтобы это страшное зрелище не было видно пассажирам проезжающих мимо поездов, гитлеровцы соорудили особую запруду, не выпускающую кровь со дна оврага...

Обследовав территорию Яновского лагеря осенью 1944 года, мы записали в акте Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в городе Львове следующее:

«На территории Яновского лагеря и в его окрестностях комиссией обнаружены более чем в 60 местах закопанный пепел и перемолотые кости.

В одном из оврагов, названном «долина смерти», обнаружено несколько ям, из которых извлечено большое количество частей человеческих скелетов;

ребра, черепа, стопы ног и много длинных женских волос, а также предметов личного обихода — расчески, ложки, очки и другие.

Возможно, часть останков принадлежала и сыновьям солнечной Италии, уничтоженным в «долине смерти»...

Путь на «Пясковню»...

Очень интересно свидетельство бывшего преподавателя математики, а сейчас пенсионера, проживающего во Львове по Сталинградской, 75, Северьяна Ясеницкого:

«...Посещая в годы гитлеровской оккупации одного своего знакомого, проживающего в районе Лычаковской улицы (теперь улица Ленина), я довольно часто проходил по ее начальному отрезку. И там нередко мне доводилось видеть страшную картину. Проезжает немецкая машина, в ней сидят люди, повернутые спиной к направлению движения, а над ними, держа на изготовку автоматы или ружья с примкнутыми штыками, стоят гитлеровцы. Когда же по городу разнеслась весть, передаваемая от одного к другому шепотом, что Италия вышла из военного союза с Германией, сидящими в таких грузовиках оказались итальянцы. Ошибка исключается: я хорошо знал и различал немецкие и итальянские военные мундиры. Стоило подождать некоторое время на улице, и можно было увидеть эти же машины, возвращающиеся в город с наваленными в их кузовы итальянскими мундирами. И прохожие говорили: «Расстреляли да еще прусской экономии ради мундиры поснимали, а расстрелянных в могилы голыми побросали». Знакомые, которым я рассказывал о виденном, уже знали о расстрелах итальянцев и говорили мне, что на «Пясковню» итальянцев отводят целыми воинскими частями под конвоем, и только тех из них, что кажутся гитлеровцам наиболее опасными, возят на грузовиках, наставив на них дула автоматов.

Львовяне говорили, что итальянские солдаты и офицеры заявили гитлеровскому командованию: мы, мол, итальянские подданные и не можем продолжать

воевать, не имея на то приказа своего правительства. За это гитлеровцы и расстреливали их. А некоторые местные люди, работавшие в канцеляриях «ферпфлегскарте» и «кеннкарте», передавали подлинные слова их гитлеровского начальства: «Вшивые итальяшки предали нас под Сталинградом, сдались на своем участке фронта, поэтому и мы потерпели там поражение...»

Все совпадает

Никак не могу предположить, что проживающая в городе Забже, расположенном довольно далеко от Вроцлавля, польская гражданка Софья Литвинова (Садовая улица, 2, квартира 8) могла быть знакома с инженером Владиславом Солеком. Но посмотрите, как совпадают с его свидетельством ее слова:

— Я жила во Львове по улице Святой Кинги, 26, квартира 4, и мне ближе всего было ходить за покупками на площадь близ водочной фабрики Бачевского. Не помню, в каком это было месяце, в конце августа или в сентябре 1943 года, но зато запомнился мне тот ужасный день, когда гитлеровцы пригнали с Жовковской улицы через ярмарочную площадь на железнодорожные пути близ моста множество итальянских пленных. Это были не люди, а тени, едва двигающиеся под ударами плеток из колючей проволоки и пинками прусских сапог. Мы бросали им еду. Порою она падала в грязь, но, несмотря на это, они подымали съестное из-под ног и жадно подносили его ко рту. На железнодорожных путях подле моста стояли вагоны. Итальянцев загоняли туда, как скотину, предназначенную на убой. Многих из них убили на месте. Живые были вывезены за пределы Львова и там убиты. Об этом мне известно от матери моего мужа, работавшей тогда на станции Львов-Подзамче. Ее нет уже в живых, а она могла бы сообщить многое...

Кровь на камнях

Игнаций Бидзинский, наш польский друг, живущий сейчас в городе Кощецин, Любленецкого уезда, Катовицкого воеводства, написал:

«...Итальянских солдат я увидел впервые, когда их вели с железнодорожной станции по Казимировской улице (теперь Чапаева. Имеется ввиду главная железнодорожная станция Львова. — *В. Б.*), а во второй раз, когда их вели по Замарстыновской, вероятно, на предместье Голоско. Много позже, снимая показания газовых счетчиков на Лычаковской улице, я из окна третьего этажа одного из домов имел возможность видеть, как немецкие грузовые автомобили перевозили тела убитых итальянских солдат в направлении Лычаковской заставы. Стоя за занавеской, я на протяжении тридцати минут насчитал шесть автомашин с кузовами, прикрытыми брезентом. От ветра он завернулся и позволял видеть сверху тела убитых итальянцев в мундирах и ботинках. Хозяйка квартиры, в которой я был, рассказала мне, что еще с утра гитлеровцы расстреливают итальянцев в тюрьме, что на углу улиц Льва Сапеги (теперь Сталина) и Коперника, а потом вывозят тела убитых на «Пясковню» за Лычаковом. Как бы подтверждая ее рассказ, из автомашин, в которых везли тела убитых, текла кровь; на мостовой оставались небольшие пятна крови. Я хотел удостовериться сам, откуда везут тела убитых, и сел в трамвай, идущий на улицу Сапеги, где находилась тюрьма. Нервы мои, и без того натянутые, не выдержали, когда трамвай остановился на улице Словацкого и бандиты СС и СД стали проверять документы пассажиров. Я выскочил с передней площадки, показав им аусвайс Второго газового завода и картотеку клиентов, и меня пропустили. Мне сейчас стыдно, но тогда у меня не хватило смелости дойти пешком до тюрьмы... На другой день я закончил проверку счетчиков по Лычаковской улице и разговаривал о трагедии итальянцев с некоторыми жителями этой улицы. Они утверждали, что тела убитых жгут на «Пясковне»...

Пишет Анна Ковальчик, проживающая в городе Валбржих, по улице Ленина, 114, квартира 2:

«...Началось это, должно быть, с какого-то обмана, так как я видела, что итальянцы шли по улицам Львова с гитарами, улыбающиеся, напевающие. Если бы они знали, что идут на смерть, то, конечно, не веселились бы: они явно были обмануты гитлеров-

скими палачами. Это преступление гитлеровцы совершили поодаль Лычакова, в небольшом лесу. Едва фашисты завели их в Лычаковский (Лисеницкий — *В. Б.*) лес и там приказали копать рвы в балке посредине левой стороны леса, как одному из пленников удалось бежать. Я как сегодня помню, как итальянец вбежал нагим к моей тете, которая жила в том самом лесу, в домике с верандой. Был этот итальянец еще молодой, небритый. Тетя дала ему одежду и велела спрятаться на чердаке. Но гитлеровцы начали поиски, а у него не выдержали нервы, в какой-то момент он вышел из своего укрытия и бросился бежать. Тогда его убили. Тело итальянца фашисты забрали в лес. Потом они никого не пускали на территорию леса. Не подпускали и к дому моей тети (тетю из дома выгнали), потому что соорудили на кухне большой котел и что-то там в течение некоторого времени варили. Все говорили, что мыло, но наверняка утверждать нельзя. Затем они убрались оттуда, тогда мы и увидели этот котел. А на месте, где был выкопан ров, фашисты посадили деревца. Очевидно, затем, чтобы замести следы, потому что там, как поговаривали тогда, были убиты не только итальянцы, — палачи хозяйничали там более двух месяцев. Умей я чертить, я начертила бы территорию, на которой орудовали тогда фашисты...»

Томаш Яворек сейчас проживает в городе Оборники Слензские, Вроцлавского воеводства, в доме № 3 по Тжебницкой улице.

— Однажды я ехал по Яновской улице за мукой на мельницу, — рассказывает Яворек. — Когда возвращался по той же Яновской, то встретил группу пленных, которых гитлеровцы под сильной охраной вели посредине улицы. Я заинтересовался, что это за пленные, потому что они были одеты довольно разношерстно, и вдруг услышал итальянскую речь. Меня удивило: откуда во Львове пленные итальянцы?.. Шел за ними. С Яновской улицы они свернули на Браеровскую, затем прошли мимо университета к цитадели, куда и вошли. Тогда я возвратился домой. все думая, откуда у немцев пленники из Италии и как бы о них разузнать подробнее... Во время первой мировой войны я был на итальянском фронте и

там имел приятеля родом из Вены. Я был штабс-фельдбеккером, а он — фельдфебелем. И вот в эту войну пришли ко мне трое немцев. Спрашивали обо мне. Вышла моя дочка и узнала одного из них — львовского «фольксдейче» Он сказал, что привел сына моего венского приятеля. Действительно, с ним оказался сын моего старого коллеги с итальянского фронта. Он мне представился и сообщил, что отец велел ему разыскать меня. Сам он был во Львове комиссаром уголовной полиции. Он помнил меня еще с детства. Бывая у них дома, в Вене, я всегда ему что-либо приносил. Он проникся таким доверием ко мне, что верил каждому моему слову и очень помогал мне в разных делах. Вот я и поинтересовался относительно этих пленных: что делают здесь итальянцы? И попросил сына приятеля узнать, в чем здесь дело. Примерно через неделю он пришел к нам и рассказал о них. Это были итальянские солдаты, которые отказались повиноваться гитлеровцам. Какова будет их дальнейшая судьба, он обещал узнать. Я ждал. Через несколько дней он снова пришел ко мне и по секрету сообщил, что итальянцев вывезли за Львов и там расстреляли...

Выстрелами в затылок

— Когда итальянская армия не пожелала воевать на стороне Германии, — подтверждает Адольф Кунц, проживающий в Кракове, по улице Смолки, 12/С, квартира 1, — гестапо начало аресты солдат и офицеров итальянских частей. То ли комендатура, то ли штаб итальянских войск помещался во Львове на улице Коперника. Но немцы привозили итальянцев также и из других мест. Эти солдаты ехали уже как пленные, отдавая себе отчет в том, что их везут на казнь.

Место расстрела этих людей находилось метрах в 400—500 от моего дома, так что все было видно из окна. Место казни гитлеровцы устроили на окраине Львова. за Лычаковом, в Лисеницах, — там был песчаный карьер, окруженный лесом. В этом карьере уже нашло свою смерть много евреев, поляков и, наконец, итальянских подданных. За день до того, как

должна была происходить казнь, туда приезжали офицеры гестапо и указывали место, где евреи должны были копать ямы. Таких ям, размером приблизительно 20 квадратных метров, было несколько. А на следующий день рано поутру несколько больших грузовиков привозили людей на казнь. Как-то я вышел на улицу и увидел машины, набитые людьми, сидевшими в кузовах, низко опустив головы. Кузов грузовика был накрыт брезентом. Тыльная часть оставалась открытой, там находилось двое вооруженных гитлеровцев.

Летом 1943 года я увидел, как в нескольких автомашинах подвозили итальянских солдат. Они были одеты в мундиры пепельно-голубого цвета и либо лежали в машинах, либо сидели, руки их были заложены за шею. С пригорка, на котором я жил, открывался широкий вид, и я видел расстрелы людей, в том числе итальянских пленных.

Казнь происходила таким образом: десять-пятнадцать человек подходили к выкопанной яме уже без одежды, становились на колени, заложив руки за голову, и их убивали выстрелами в затылок. Когда тела сваливались в яму, подходила очередная группа обреченных. Место это было окружено эсэсовцами и полицией. Потом из моего дома стало хуже видно, потому что место казни перенесли дальше. Однажды я тайком пробрался в лес и, взобравшись на дерево, хотел сделать фотоснимок. Это мне не удалось, так как гестаповец заметил меня на дереве и стал стрелять. Я соскочил с дерева и убежал под выстрелами...

Дым за Лычаковом

Когда гитлеровцы уходили с Украины, они, стремясь замести следы и скрыть свои чудовищные преступления, заставили евреев выкапывать трупы. Укладывали большими штабелями дрова, на них клали тела убитых, поливали нефтью и поджигали. Облако густого черного дыма поднималось над домами. И днем и ночью горели зловещие костры...

Все эти письменные подтверждения того, что гитлеровцы уничтожили значительную часть итальян-

ского гарнизона на территории, расположенной слева от Лычаковской улицы, там, где находится «Пясковня» и за ней начинается Лисеницкий лес, идущий к Чертовой скале, полностью совпадают с показанием, которое дал пятнадцать лет назад Чрезвычайной комиссии во Львове Августин Климентьевич Павлик:

«Осенью 1943 года как-то вечером я проходил по Лисеницкому лесу. Неподалеку увидел большую грузовую машину и стоящего метрах в пятнадцати вооруженного гестаповца. Через две минуты из автомашины стали выходить люди, одетые в форму итальянских военнослужащих. Когда их вышло человек десять, раздался ружейный залп. Я испугался и убежал по направлению к городу. По дороге встретил одного гражданина, который сообщил мне, что в лесу гестаповцы расстреливают итальянских военнопленных и проход там категорически запрещен...»

О запахе сжигаемых в «Пясковне» трупов, который доносился до центральных кварталов Львова, мне не раз рассказывали еще задолго до получения письма Адольфа Кунца многие старожилы Львова, кому выпала тяжкая доля пережить в городе гитлеровскую оккупацию. «Технология» сжигания трупов и вся чудовищная методика заметания следов гитлеровских злодеяний достаточно подробно изложены в рассказе одного из чудом уцелевших участников так называемой «зондеркоммандо 1005» Леона Величкера. Он написал об этом книжку, которая вышла в 1946 году в Лодзи на польском языке под названием «Бригада смерти» («Команда 1005»).

Во время гитлеровской оккупации Львова Шимон Наменачек работал в военном госпитале, который помещался в духовной семинарии при архиепископском дворце, вблизи старых Губернаторских Валов. Сейчас Шимон Наменачек живет в городе Дзенгонь, Гданьского воеводства, по Вокзальной улице, 3, и оттуда прислал письмо. Он свидетельствует:

«В связи с облавами, во время которых на улицах города хватали людей для отправки в Германию, и в связи с «полицейским часом» мы, служащие военного госпиталя, получили белые нарукавные повязки с надписью «фельд-лазарет» и «печатку» с гитлеров-

ской эмблемой на пояс. Работали мы порою до поздней ночи.

Однажды прибыл транспорт раненых с Восточного фронта, и мы поздно возвращались домой. Проходя через Бернардинскую площадь, от которой начинается Лычаковская улица, я увидел, что немецкие солдаты повезли в автомашинах на Лычаковскую итальянских солдат и офицеров. В тот день мы работали до 23 часов ночи, и нам выдали в госпитале разовые пропуска на право возвращения по домам. Используя нарукавную повязку и пропуск, я решил пойти в ту сторону, куда поехали машины с пленными. Они все проследовали к «Пясковне» за Лычаковом.

Минуя костел святого Антония, я остановился и вскоре услышал со стороны песчаного карьера длинные автоматные очереди. Я спрятался за оградой костела и вскоре увидел, что оттуда машины возвращаются пустыми. Ночью итальянцы были привезены и расстреляны, а на следующий день «Пясковню» окружили гитлеровцы и там стали сжигать тела убитых.

Днем я взял мешок и отправился к карьеру, якобы нарвать травы для кроликов, но тотчас же был задержан солдатом СС, стоявшим на часах у въезда в карьер. А по полю, на некотором расстоянии от выемки карьера, были также расставлены сторожевые посты, охранявшие подходы туда. Я почувствовал запах дыма, подымавшегося снизу, и смрад сжигаемых тел и волос.

Слухи об этих делах гитлеровцев ходили по Львову, но не хотелось верить им, а теперь воочию убедился, что все это было действительностью. Могу показать место, где расстреляны итальянцы, а также то место, где гитлеровцы казнили львовских профессоров.

Скажу еще, что на Стрелецком плацу во Львове казнили заложников чуть ли не через каждые два дня.

Я в то время был кольпортером подпольной газеты, которую всегда разносил между подошвой и стелькой обуви. Сейчас я рабочий завода...»

Итальянское оружие

Людвиг Килиас, проживающий в городе Влень, по улице Баторого, 9, во Вроцлавском воеводстве, безусловно, не сговаривался с Шимоном Наменачеком, но вот что он рассказывает:

«...Я сызмала жил на Верхнем Лычакове, знаю там каждый уголок. В 1941 году гитлеровцы начали свозить автомашинами людей разных национальностей в лес возле железнодорожной станции Лисеницы и массами их расстреливать.

Что касается итальянских солдат, то это были люди довольно обходительные, они больше занимались продажей всякой всячины, не исключая оружия, которое и я покупал у них для подполья. Мы обращали это оружие, в котором так нуждались, против гитлеровцев.

В 1943 году, после переворота в Италии, итальянские солдаты исчезли с улиц Львова. До нашего слуха дошла весть об их расстреле. В те дни, — точной даты не помню, но знаю, что дело было летом, — возвращался я домой и видел, как по улицам Петра и Павла и Лычаковской проехали в направлении Малых Кривчиц (окраинное селение близ «Пясковни». — *В. Б.*) накрытые брезентом и конвоируемые гестаповцами автомашины. На каждой помещалось около 50 итальянских солдат. Время от времени на мостовую падали записки. Быть может, найдется кто-нибудь, кто подобрал тогда такую записку, хотя это было очень опасно сделать, — по всей трассе движения автомашин ходило очень много немецких патрулей.

По словам моей жены, жившей на той окраине, гитлеровцы в последнее время расстреливали свои жертвы и в окрестностях поселка Жлобы, метрах в 300 от Старой Резни. После этих казней я уже не встречал больше ни солдат, ни офицеров итальянской армии на улицах Львова...»

О поведении итальянцев во Львове также писал мне директор Еврейского исторического института в Варшаве профессор Бер Марк, автор известных монографий «Восстание в варшавском гетто» и «Восстание в белостокском гетто»:

«Об отношении итальянцев к евреям и всем советским военнопленным рассказывают много хорошего. Моя знакомая, Митка Кацизне, дочь известного прогрессивного еврейского писателя, убитого националистами, спаслась во Львове благодаря итальянским солдатам и офицерам. Они спасли во Львове целую группу евреев и евреек. Это было не только во Львове, но и в Варшаве, где они продавали и дарили оружие еврейской боевой организации...»

Находясь в постоянном общении с местным населением, итальянцы во Львове старались во всем подчеркнуть, что они не имеют отношения к гитлеровской карательной политике. Трамвайные составы во время оккупации были разделены следующим образом: на первом вагоне висела табличка — «Для немцев и союзников». Вторые вагоны были для местного населения. Однако итальянцы не пользовались привилегией для «избранных» и намеренно ездили в набитых вагонах для местного населения. Леопольд Швальбнест, проживающий в доме № 3 по Бытомской улице в городе Гливице, рассказывает, что «итальянцы во Львове всячески проклинали гитлеровцев за то, что те бросили их на русский фронт».

Сотрудник радиолаборатории Львовского политехнического института Гречка, также подтверждая, что арестованных итальянцев увозили на «Пясковню» и там расстреливали и сжигали, сообщил в беседе с нами, что во Львове находилось несколько итальянских дивизий. На расстрел их вели рядами по восемь человек, срывали с них погоны. Были среди арестованных генералы, офицеры и солдаты. Однажды Гречка ехал в трамвае и видел, как с вагоном поравнялся мотоциклист-итальянец. Кто-то из немцев, ехавших в первом вагоне для «избранных», крикнул ему презрительно: «Макарони!» Итальянец улыбнулся, поднял руку в кожаной перчатке и крикнул на всю улицу: «Сталинград!»

Бывший львовянин, а сейчас житель города Нова Гута под Краковом Владислав Вебер задержался на Академической площади Львова в тот слякотный осенний день, когда из цитадели вывозили уже последних обреченных итальянцев.

— Их вели и везли автомашинами по направлению к Лычакову, — вспоминает Владислав Вебер.— Конвоировали их эсэсовцы. Итальянцы — рядовые и офицеры — имели вид оборванцев, некоторые шли в носках, а некоторые обернули ступни чем-то наподобие онуч. Исхудалые, почерневшие, они, пожалуй, понимали, что ждет их в конце этого марша. Поговаривали, будто после расстрелов по оврагам между Лисеницкими холмами стекала кровь... В период гитлеровской оккупации итальянскую армию знал весь Львов.

Штаб итальянцев находился в небольшом дворце Шептицких на углу Зеленой и Офицерской улиц. Офицеры и солдаты итальянского гарнизона относились к местному населению очень доброжелательно, даже сердечно (насколько позволяла им обстановка, нельзя забывать, что повсюду шныряли гитлеровцы). Если участников Сопротивления преследовало гестапо, они шли к итальянцам. Преследуемому нужно было лишь проскочить в этот дворец (часовой-итальянец не препятствовал), а потом, недели через две-три, бог весть какими судьбами приходила от беглеца открытка уже из-за границы: «Жив, здоров, нахожусь в безопасном месте...» Итальянцы-военные украдкой наделяли львовских жителей продуктами питания, хотя и сами были не так уж сыты...

Надо сказать, что помощь, оказываемая итальянцами участникам Сопротивления и голодным людям, переносящим бремя оккупации, выходила далеко за пределы Львовской области. Как известно, в годы оккупации Львовщина и соседние области бывшей Восточной Галиции были названы «дистрикт Галиция» и включены в состав генерального губернаторства. Внутренних границ между дистриктами не было, и таким образом во Львове часто появлялись, спасаясь от преследования гестапо и СД, участники движения Сопротивления из Варшавы, Кельц, Кракова и других городов Польши. И в свою очередь, на улицах древнего украинского города, переименованного захватчиками в Лемберг, завывая сиренами, проносились гестаповские машины со знаками «В» из Варшавы и других польских городов. Вот тогда-то, когда иногородним антифашистам приходилось туго, они и

прибегали к услугам итальянцев, чтобы вырваться за пределы Польши и западных областей Украины.

Ликвидация итальянского гарнизона во Львове почти совпала с окончательным уничтожением многочисленных гетто, разбросанных по городам и селам Западной Украины. Уничтожением евреев, ликвидацией не желающих воевать за интересы гитлеровской Германии солдат итальянцев руководили губернатор дистрикта Галиция штандартенфюрер СС Отто Вехтер и подчиненный ему командующий СС и полицией дистрикта бригаденфюрер СС Фриц Кацман. В докладе Фрица Кацмана от 30 июня 1943 года, направленном им под грифом «Гэгайме рейхсзахе» (государственное тайное дело) высшему руководителю СС и полиции в генеральном губернаторстве Крюгеру, помимо сообщения об уничтожении еврейского населения, есть и упоминание о поведении итальянцев:

«...Во время акции мы наталкивались на огромные трудности, потому что евреи старались любыми способами избежать выселения. Пытались они убегать и скрывались в различных местах — в каналах, в дымоходах и даже в клоачных ямах. Баррикадировались в подземных коридорах, в подвалах, переоборудованных в бункера, в междуэтажных перекрытиях, в хитро замаскированных убежищах на чердаках и в сараях, в мебели и т. д. Чем меньше становилось оставшихся в живых евреев, тем увеличивалось их сопротивление. Они использовали для обороны оружие самых различных видов, но главным образом оружие итальянского происхождения. Итальянское оружие евреи покупали... у итальянских солдат, расположенных в дистрикте...»

Дом на улице Яцка

И поныне стоит на улице Ушакова (ранее Яцка) ничем не примечательный угловой дом, стены которого можно разглядеть из окон троллейбуса, часто проезжающего по улице Шота Руставели. Дом этот также имеет прямое отношение к тайне исчезнувшего итальянского гарнизона. Завесу этой тайны приот-

крыл нам случайный знакомый Чеслав Суховирский, живущий сейчас в польском городе Сосновец по Аллее Победы, 23.

В 1942 году гитлеровцы захватили Суховирского во время облавы в Бусске и отправляли на каторжные работы в Германию. Но когда поезд задержался во Львове, шестнадцатилетний мальчик бежал из эшелона. Во Львове, по улице Шота Руставели, 24, жила тетка Чеслава. Она спрятала беглеца, а вскоре на эту же квартиру приехали из Бусска его родители. Во Львове было голодно, и Чеслав, чтобы как-нибудь поддержать семью, поступил учеником на почту. Разнося письма, он знакомился с итальянцами, которые размещались во дворце митрополита Шептицкого на Зеленой и в угловом доме на улице Яцка, совсем близко от квартиры Чеслава.

Надо что-то предпринять, чтобы не умереть с голоду, и мальчик начинает торговлю с итальянцами. На немецкие марки он покупает у них папиросы и вино, а в придачу получает солдатские сухари и макароны, которые съедает на ходу по пути на площадь Пруса. Там он сбывает из-под полы вино и папиросы.

— С того и жили кое-как. День да ночь — сутки прочь. Голод был страшный, и каждый изворачивался, как мог, — печально улыбаясь, рассказывал Чеслав Суховирский. — Итальянцы с улицы Яцка не только не гнали от себя детей, но и подкармливали их чем могли и даже пускали в здание, где сами квартировали. Они были очень набожны — то и дело слышалось «Санта мадонна»... Я хорошо помню, что жили у них два русских мальчугана. Одного из них спасла позже русская женщина Росокова, жившая по улице Баторого (теперь Ватутина). И кажется мне, что однажды, зайдя к своему русскому приятелю, я увидел у него офицера Пауля Зиберта, то есть того самого легендарного Николая Кузнецова, который столько сала залил немцам за шкуру во Львове и в других местах. А вот второй русский парнишка, имя его я позабыл, был вывезен вместе с итальянцами в концлагерь... Там, на Яцка, в угловом доме на пригорке, и вспыхнул бунт итальянцев. В тот день никто чужой не заходил к ним в казарму. Один из итальян-

цев был убит тогда эсэсовцем из автомата. В холле должны остаться следы пуль на стене, если их не забелили. В то время, когда гитлеровцы вывозили итальянцев ночью с улицы Яцка, я подошел к их дому. Оттуда вышел офицер и позвал меня и еще одного парнишку в дом, чтобы помочь солдату-сапожнику перебраться на Зеленую улицу. Тогда-то мы и увидели на стене в холле на первом этаже следы пуль и кровь на паркете. Видел я там еще портреты Гитлера и Муссолини. Эти нарисованные на стене портреты были измазаны чернилами и черной краской. Мы спросили у позвавшего нас офицера, куда делись наши знакомые итальянские солдаты. Он ответил, что выехали, мол, в Италию. Но солдат-сапожник уже по дороге на Зеленую стал плакать, говоря, что все это ложь, что все они в концентрационном лагере. Он дал мне написанную по-итальянски записку. Из текста ее я мог разобрать: «Помогите, фашисты убивают!» Солдат рыдал, как ребенок, а офицер избил его потом за то, что он с нами разговаривал. Вскоре люди во Львове узнали, что действительно всех итальянцев расстреляли...

— Мартирология итальянских солдат во Львове началась еще до трагического лета 1942 года, — утверждает варшавский журналист Яцек Вильчур, в прошлом львовянин. — В ночь с 4 на 5 апреля 1942 года на Галицкую площадь, к дому 15, где помещалось управление криминальной полиции (КРИПО) и «зихергайстдинст» (СД), было привезено несколько итальянцев. Гитлеровцы заставили несчастных раздеться и затолкали их в машину. Эта жандармская машина вместе с арестованными и их палачами доехала до еврейского кладбища на Яновской улице. Там, где эта улица соединяется с Пелиховской, солдатам было велено выйти. Под конвоем их провели в долину, которая граничит с Клепаровским леском. Там обреченные выкопали себе могилу, после чего им приказали стать спиной к поднявшим автоматы эсэсовцам. Несколько залпов оборвали жизнь тогдашних «союзников» Гитлера. На следующую ночь снова приехали туда немцы, раскопали могилы с расстрелянными и увезли их тела в неизвестном направлении...

Такова еще одна подробность гибели итальянцев во Львове — прелюдия к полному уничтожению всего итальянского гарнизона в следующем году, уже после разгрома гитлеровцев под Сталинградом.

Голос Евы Марчак

Таким образом, беспощадно уничтожая уроженцев Италии на «Пясковне» за Лычаковом, в «Долине смерти» за Яновским лагерем, расстреливая их во дворе тюрьмы поблизости особняка графа Бельского, моря их голодом во львовской цитадели и в лагере города Рава-Русская, гитлеровские палачи мстили итальянским солдатам и офицерам за то, что они пытались помогать обреченным других национальностей и не хотели принимать участия в карательной политике немецкого фашизма на славянских землях.

Но только ли на львовской земле устроили гитлеровцы такую геенну своим бывшим союзникам из Италии?

Наш знакомый полковник Советской Армии после войны рассказывал, что на заключительном этапе боев их часть наткнулась на огромный лагерь итальянских военнопленных, устроенный гитлеровцами между городком Бунцлау (где, как известно, покоится сердце фельдмаршала Михаила Кутузова) и нынешним польским городом Бытомь.

А вот совсем недавно пришло письмо из Варшавы, в котором Ева Марчак, польская мать, женщина преклонного возраста, проживающая по Обозной улице, 7, квартира 71, пишет:

«Я прочла призыв советского писателя о том, чтобы сообщали сведения о казни итальянцев. Нужно писать историю, чтобы ее прочли потомки. Гитлеровское человекоубийство было целеустремленным. Гитлеровцы истребляли ненужные им народы. История сообщает нам о всяческих инквизициях, о царских погромах, о сожжении Нероном христиан, о крестоносцах. Но гитлеровские преступления превосходят все это. И вот довелось мне и другим повидать такую геенну огненную для итальянцев в 1943 году. Только не во Львове, а в Перемышле, в Пикуличах. Был там лагерь

смерти. Привезли много итальянских офицеров, согнали их на это место, обнесли его колючей проволокой и приставили стражу из бандеровцев. Когда окрестные жители узнали, что в лагере умирают от голода уроженцы Италии, они стали перебрасывать им через ограду картофель и другую еду, хотя бросавшим грозила опасность со стороны охранников. Так продолжалось свыше двух недель. Потом до нашего слуха начала доноситься частая стрельба. В воздухе долго стоял смрадный дым. Я теперь живу в Варшаве, но не забуду этого до самой смерти! Правильно, что Вы описываете то, что мы, старые, видели и пережили. И у меня гитлеровцы убили сына на улице в Перемышле... Нам необходимо быть на чеку. И нужно всех славян воспитывать в духе согласия и единения. Ведь гитлеровцы лишь притаились, они живы...»

Вы глубоко правы, дорогая Ева Марчак, как правы сотни тысяч других матерей, а в их числе и матери Италии, которые потеряли в прошлой войне самое дорогое, что у них было, их надежду и счастье,— детей и кормильцев. Убийцы миллионов не только притаились, но и расползлись по миру, и они не хотят, чтобы преступления, подобно совершенным во Львове, стали известны мировому общественному мнению.

Пишут из Станислава

Опубликованное в польской печати, а затем перепечатанное в одной из австрийских прогрессивных газет наше обращение к людям, что-либо знающим о судьбе итальянского гарнизона во Львове, постепенно собирало все больше фактов об этом чудовищном преступлении фашизма.

Польская женщина Ева Марчак была первой, кто сообщил, что гитлеровцы расправлялись с итальянцами не только во Львове, но и в селе Пикуличи вблизи Перемышля. Село это сейчас находится за пределами Советского Союза, в Польской Народной Республике, но немало его жителей украинцев сразу же после окончания войны переехало на совет-

скую территорию и живет сейчас во Львове, Станиславе, Тернополе и других городах западных областей Украины. Я попросил своего знакомого агронома-садовода Евстафия Шумелду (кстати сказать, школьного товарища известного украинского писателя Ярослава Галана) поискать жителей Пикулич в Станиславе.

Поиски увенчались успехом. В Станиславе проживает бывший перемышлянин Курчевский, жена которого работала уборщицей в лагере для военнопленных. Этот лагерь гитлеровцы первоначально основали для советских военнопленных, но потом их вывезли в «неизвестном направлении», а в освобожденный лагерь неожиданно пригнали итальянцев. Это были преимущественно офицеры, их обмундирование еще не успело истрепаться. Одеты все они были хорошо, не по-лагерному. Жителям соседних сел категорически запрещалось снабжать их продовольствием. Уже из этого приказа было ясно, что гитлеровцы, следуя своей излюбленной привычке, собираются уморить непокорных итальянцев голодом.

Однажды изможденный итальянский офицер на ломаном польском языке попросил жену Курчевского принести ему что-нибудь поесть, но сделать это тайно от охраны, состоящей из бандеровцев. Договорились, что жена Курчевского оставит передачу в уборной. Плану этому не суждено было осуществиться. Когда жена Курчевского принесла еду в лагерь, итальянцы уже были расстреляны...

В городе Станиславе живет сейчас Николай Похила, уроженец Пикулич. Его хата находилась поблизости лагеря военнопленных. Николай Похила также утверждает, что все итальянцы были зверски уничтожены за колючей проволокой лагеря.

Леопольд Циммерман, бывший узник львовского гетто, чудом оставшийся в живых и работающий сейчас в ресторане «Ратушовый» в польском городе Вроцлав, прислал письмо, в котором сообщает:

«Во Львове в конце Яновской улицы существовал так называемый «цвангарбейтслагер». За этим лагерем, в глубокой лощине, которую потом назвали «долиной смерти», фашисты регулярно уничтожали

евреев. Но после капитуляции маршала Бадольо туда же, к «долине смерти», был подвезен итальянский гарнизон — около двух тысяч человек. Итальянцам приказали составить ружья в козлы и отойти от них шагов на сто. После расстрела этого гарнизона приступила к работе «зондеркоммандо 1005», занимавшаяся уничтожением останков гитлеровских жертв. Ликвидацией трупов итальянцев руководил известный гитлеровский палач унтершарффюрер Ульман. Итальянцы умирали тихо, не проявляя признаков протеста...

В той же «долине смерти» немцы ликвидировали группу больных из госпиталей, политзаключенных, эвакуированных из Проскурова. Их кровь смешалась на дне «долины смерти» с кровью сыновей Италии...»

Мы видели воочию следы той бурой крови, пропитавшей дно «долины смерти» еще в сентябре 1944 года. Помню: мы приехали туда, за Яновский лагерь, вместе с писателем Ярославом Галаном и артистом Михаилом Гаркави в сумрачный осенний день и долго стояли молча на склоне «долины смерти». Снизу доносился трупный запах, и повсюду виднелись лужи бурой крови. Но тогда мы еще не знали, что здесь же уничтожены и представители свободолюбивого народа Италии, давшего миру великих Гарибальди и Микельанджело, Джордано Бруно и Леонардо да Винчи...

Не только во Львове

По мере того как шли поиски новых свидетелей совершенного преступления, становилось ясно, что не только в одном Львове его песчаные овраги и холмы были местом расстрела итальянцев. Из далекого Израиля научные сотрудники «Яд Вашем» (Института по увековечению памяти жертв фашизма), прочтя наш призыв в польской печати, прислали из Иерусалима засвидетельствованные документально показания Францишека (Эфроима) Влоха. Его адрес: Израиль, Ибнэ, Холот, 24, квартира 2.

Францишек Влох сообщает новые данные об исчезнувших итальянцах:

«Через Раву-Русскую, а это мне известно лично, шли эшелоны из Австрии, Венгрии, Румынии, Греции и Югославии. Неподалеку от Равы-Русской находился в те годы известный лагерь смерти Белзец. В Белзеце в начале 1944 года погибли также присоединенные к еврейскому эшелону итальянские офицеры, которые зимой 1943—1944 года были вместе с тремя полками итальянской армии интернированы немцами в вагонах на запасных путях Рава-Русского вокзала. Интернировали их в те дни, когда затрещала ось «Берлин—Рим». А через несколько месяцев, когда эта ось совсем лопнула, немцы уничтожили в Белзеце итальянцев-офицеров, а рядовых увезли в нескольких эшелонах на юг. Дальнейшая судьба этих солдат мне неизвестна.

Итальянцы были интернированы со всем их воинским имуществом. А поскольку немцы не заботились о снабжении своих бывших союзников продовольствием и те должны были сами добывать средства к существованию, много оружия просочилось от итальянцев к участникам еврейского подполья, которое начало формироваться еще на территории «уменьшенного гетто».

Мне известно также, что в Белзеце была казнена группа югославских партизан. Я сам видел этот эшелон во время следования его через Раву-Русскую и слышал, как одетые в военные мундиры смуглые мужчины выкрикивали, что они югославские партизаны. Это было в конце 1943 года...»

Значит — и в Белзеце!..

Страшное слово — Белзец...

Нам хорошо знаком этот зловещий лагерь для уничтожения людей, равный Треблинке, Освенциму, Майданеку. Осенним октябрьским днем 1944 года вместе с тогдашним областным прокурором Львовской области Иваном Корнетовым мы приехали туда, на польскую землю, минуя Раву-Русскую и желтеющие леса близ Гребенной. Белзец оказался железнодорожным перекрестком, откуда шли поезда на Люблин, Варшаву, в Раву-Русскую и в Ярослав. Новый

начальник станции Белзец, Игнаций Мазур, который в годы оккупации был дежурным службы движения, рассказал нам, что еще осенью 1941 года в Белзец прибыла команда СС с первой группой захваченных ею людей. Метрах в четырехстах от станции, там, где кончались запасные подъездные пути и начиналась гряда песчаных холмов, покрытых лесом, арестованные начали строить лагерь. Его обнесли высоким песчаным валом. Когда вал насыпали, поверх него сделали искусственный лес. Таким образом, густая стена деревьев не давала возможности постороннему глазу заглянуть внутрь лагеря. В одном только месте, где в лагерь заходили подъездные пути, вал прерывался; здесь стояли высокие ворота, тоже густо переплетенные еловыми ветвями. Когда поезд входил на территорию лагеря, ворота немедленно наглухо закрывались. Вблизи ворот были выстроены три барака. В них жили палачи-гестаповцы и охрана лагеря.

Весной 1942 года в Белзец стали приходить из разных направлений поезда. И достаточно было кому-либо из заключенных в вагонах людей увидеть сквозь решетку окна название станции «Белзец», как сразу стон и плач раздавались изо всех вагонов. Потом всем велели раздеваться и голыми загоняли в большой одноэтажный дом, напоминающий баню. Там всех несчастных уничтожали газом, и трупы закапывали в огромные песчаные ямы...

«Вечные огни Белзеца»

— Накануне зимы 1942 года, — рассказал Игнаций Мазур, — на территории лагеря вспыхнуло три огромных костра. Они не угасали всю зиму и горели до последнего лета оккупации. Их огонь был виден на расстоянии нескольких десятков километров. Мы называли их «вечными огнями Белзеца», или по-польски «зничи». Отныне к страшному смраду, который преследовал до этого жителей окрестных сел, стал примешиваться запах горелого мяса...

Игнаций Мазур утверждал, что ни один из людей, попавших в Белзец, не вышел оттуда. У всякого, при-

везенного в лагерь, была одна страшная дорога — на костер!

Но Мазур ошибся. Нам удалось разыскать в ту осень во Львове пожилого мыловара Рубина Редера, который чудом вырвался из лагеря. Он пообещал начальнику лагеря Белзец, судетскому немцу, штабен-шарффюреру Францу Ирману раздобыть во Львове у знакомых нужную для перестройки кухни дефицитную белую жесть. Ирман согласился и под сильной охраной отправил Редера на машине во Львов. Четыре офицера и один солдат были слишком сильной охраной для шестидесятилетнего Редера. Должно быть, немцы вскоре сами убедились в этом и по приезде во Львов пошли обедать, оставив Редера в машине под охраной одного гестаповца. Его, очевидно, разморило от быстрой езды, выпитого шнапса и солнца. Он стал похрапывать.

Видя, что конвоирующий его солдат заснул, Рубин Редер потихоньку открыл дверь и, выйдя на улицу, смешался с толпой прохожих. Его скрывала двадцать месяцев оккупации знакомая львовянка. Этот единственный вырвавшийся «с того света» узник Белзеца охотно рассказал нам (а потом и опубликовал свои воспоминания в Польше) многие подробности белзецкого ада.

— В общей сложности я пробыл в лагере четыре месяца, — утверждал Редер. — За это время при мне было выкопано, набито трупами и засыпано тридцать огромных и глубоких могил. Немцы уничтожили и закопали за это время много сотен тысяч человек. Со временем, когда Красная Армия перешла в наступление и стала приближаться к Белзецу, фашисты начали поспешно сжигать трупы убитых ими жертв. В Белзеце они уничтожили жителей не только Польши и Западной Украины. Сюда они привозили смертников из Бельгии, Голландии, Чехословакии, Франции. Судя по тому, что я увидел, могу допустить, что в Белзеце со дня открытия лагеря и до его ликвидации было уничтожено около пяти миллионов человек...

Знали и молчали

...Сейчас у нас есть все основания дополнить перечень стран, люди которых исчезали навсегда в

«вечных огнях» Белзеца, еще одним государством — Италией. С берегов Средиземного моря были привезены сюда сотни молодых, жизнерадостных итальянцев только для того, чтобы пули гитлеровских автоматов, газ циклон и косматые языки огня превратили их смуглые тела в пепел.

Депутат итальянского парламента и представитель Италии в ООН сеньор Луиджи Медда, отрицающий начисто все факты уничтожения итальянцев во Львове, — ревностный католик. Большинство расстрелянных гитлеровцами и задушенных немецким циклоном сородичей Луиджи Медда были тоже людьми римско-католического вероисповедания. Их уничтожали во Львове, единственном в мире городе, где Ватикан имел три митрополии: римско-католическую, армяно-католическую и греко-католическую. Епископ Базяк, оставшиеся после смерти архиепископа Теодоровича фактические руководители армяно-католической церкви прелат Дионисий Каэтанович и ксендз Ромашкан, митрополит граф Андрей Шептицкий все годы оккупации находились в самом тесном контакте с Ватиканом и лично с папой Римским Пием XII (Евгением Пачелли). Через свою разветвленную иерархию, через целую армию ксендзов, священников, деканов, прелатов, через множество существовавших тогда в Западной Украине католических монастырей и монашеских орденов видные представители Ватикана во Львове и в окрестностях были отлично информированы обо всех подробностях кровавого режима оккупации. Можно ли себе представить, что такой вопиющий факт, как исчезновение в «Пясковне» за Лычаковом, в пламени костров Белзеца, за колючей проволокой Пикулич нескольких тысяч католиков итальянского происхождения, смог бы остаться в тайне и от Ватикана и его курии на местах?

Конечно же нет!

Знали и молчали! И тогда и сегодня — ни одного протеста, ни одного молебна в память об исчезнувших по воле Гитлера своих собратьях и единоверцах, ни одного слова по поводу этой трагедии не услышали мы с вершины Латеранского Холма.

И чему же, собственно говоря, удивляться?

Палачи скрываются в костеле

Чем существенным отличаются костры средневековой инквизиции, на одном из которых сгорел мудрец тех далеких лет Джордано Бруно и тысячи других его современников, от «вечных огней Белзеца», от костров, пылавших в овраге львовской «Пясковни»? Во время скандального процесса Уго Монтана в Италии выяснилось, что римско-католический епископ Худал прятал в костеле Санта Мария дель Анита крупнейшего гестаповца и организатора дивизии СС «Италия» Эугена Дольмана. Под сводами того же самого костела, пользуясь любезностью Худала, прятался и другой бандит такого же ранга, губернатор дистрикта Галиция штандартенфюрер СС Отто Вехтер. А ведь этот белокурая бестия был губернатором Львова и окрестностей как раз в то самое время. А сейчас Отто Вехтер и его подручный Фриц Кацман переправлены Ватиканом в Аргентину.

Знали об этом прекрасно и митрополит Андрей Шептицкий, и епископ Базяк, и другие представители Ватикана во Львове. Знали и принимали у себя в капитулах причастного к этому убийству Отто Вехтера, помогали ему, как это делали Шептицкий и епископ Василь Лаба, организовывать дивизию СС «Галичина» и самолично освящали националистические знамена этой банды отступников, набранных для того, чтобы идти завоевывать для империи Адольфа Гитлера Москву.

Вот подлинная цена известной христианской заповеди «не убий»!

Тот же самый Шептицкий, который так яростно протестовал по поводу введения пионерских отрядов в школах и слал по этому поводу «меморандумы» органам Советской власти, воды в рот набрал, когда началась оккупация и гитлеровцы стали уничтожать сотни тысяч людей, в том числе католиков. Князь церкви не поднял голоса и против уничтожения христиан латинского обряда, какими были итальянцы. Не слышали люди этого голоса и со стороны римско-католического духовенства.

После смерти графа Андрея Шептицкого осенью 1944 года его место на троне князя греко-католиче-

ской церкви занял архиепископ Иосиф Слипый. Этот осанистый завсегдатай всех фашистских банкетов, которые состоялись во Львове во время гитлеровской оккупации, превосходно знал, что творилось тогда в городе. Когда акт Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний был составлен, мы посетили в числе других священнослужителей и архиепископа Иосифа Слипого в его палатах на Святоюрской горе.

Надменный, гордый, с бриллиантовой панагией на груди, он принял нас в своем кабинете и сразу же заявил, что не понимает ни одного слова по-русски. Испытанный иезуит, знаток латыни, французского, английского и других языков, уже с двадцатых годов самостоятельно изучавший советскую прессу, Иосиф Слипый и здесь хотел подчеркнуть свою «экстерриториальность».

Я взял на себя роль переводчика, и по-украински объяснил «его эксцеленции» цель визита и попросил скрепить и его подписью акт, подтверждающий фашистские зверства. В ответ мы услышали:

— А я ничего не знаю о таких зверствах!

Ожидали мы всякого, но подобного откровенного цинизма не предполагали встретить от хозяина Святоюрской горы.

— Но позвольте, владыка, — опешил я, — тысячи львовян, в том числе и верующие, рассказывают о массовых зверствах гестапо. Трупы уничтоженных сжигали на «Пясковне» за Лычаковом, и когда ветер дул оттуда, запах сжигаемого мяса слышался повсюду в городе.

— Видите ли, молодой человек, — с достоинством поглаживая окладистую бороду, сказал Слипый. — Я даже летом имею обыкновение держать окна в капитуле закрытыми...

...Так разрушались, лопались, как мыльные пузыри, разбиваясь о мрачную действительность оккупационных кровавых лет не только заповедь «не убий», но и многие другие церковные каноны — краеугольные камни христианской веры.

Не только Луиджи Медда попытался опровергнуть наше первое выступление на страницах «Литературной газеты» по этому поводу в июне 1959 года. Как

выясняется сегодня, правдивость изложенных в статье «Почему они не вернулись?» фактов решили подвергнуть сомнению и редакторы известного буржуазного журнала «Эпока». Они даже послали в Польшу своих специальных корреспондентов, которые лично стали беседовать со многими свидетелями, чьи показания легли и в основу этого репортажа, а также разыскали очень важного свидетеля, Нину Петрушковну, исчезнувшую, было, из поля нашего зрения. И вот итог: в номере газеты «Трибуна люду» (Варшава) от 18 июня 1960 года мы находим следующее сообщение об «исчезнувшем гарнизоне»:

«ПРЯМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПОДТВЕРЖДАЮТ». Рим. (Польское агентство прессы). Вполне понятное волнение итальянского общественного мнения вызвала присланная из Варшавы обширная статья двух корреспондентов самого большого итальянского еженедельника «Эпока», полностью подтверждающая, на основании показаний свидетелей, уничтожение гитлеровцами осенью 1943 года двух тысяч итальянских военнослужащих львовского гарнизона. Когда известие об этом преступлении было опубликовано на страницах московской «Литературной газеты», итальянский военный министр Андреотти в общей форме опроверг эти информации. В настоящее время корреспонденты «Эпока» нашли в Польше свидетелей злодеяния и подробно излагают их показания. Свидетели С. Струпчевский, А. Ковальчик, А. Кунц, Н. Петрушковна и инженер В. Солек описывают уничтожение эсэсовцами двух тысяч итальянцев, тела которых впоследствии были сожжены, а пепел развеян в пригородном лесу. Для того, чтобы получше затереть следы своего преступления, гитлеровцы сажали также деревья на их могилах. Уничтоженные, среди которых находилось 5 генералов и 45 офицеров, отказались присягнуть на верность гитлеровскому «союзнику» после падения Муссолини летом 1943 года».

Что же остается сейчас делать сеньорам Медда и Андреотти? Быть может, в свою очередь, опровергнуть факты уничтожения итальянцев в Пикуличах и на «вечных кострах» Белзеца?

Ведь эти факты очень и очень невыгодны нынешним единомышленникам католика Конрада Адена-

уэра в Италии, тем, кто загнал Италию в НАТО, тем, кто возрождает фашизм, тем, кто так хотел бы стереть в памяти народов все следы итальянской крови, пролитой во Львове.

Но пепел итальянцев, рассыпанный на холмах Львова, вблизи Сана и в песчаных дюнах под соснами Белзеца, продолжает стучать в наши сердца, и новые свидетели этого страшного преступления вызывают ненависть ко всем тем, кто уже вверг однажды Италию в бессмысленную войну, а сейчас пытается направить ее снова на тот же старый, кровавый путь.

Нет надобности доказывать, каково отношение к Отто Вехтеру нынешнего канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра, но мы уверены, что если бы итальянские матери подняли свой голос протеста по поводу того, что на их прекрасной, свободолюбивой земле прятался старый фашист, руки которого обагрены кровью солдат и офицеров Италии, набожный канцлер не преминул бы и Отто Вехтера причислить к рангу «миролюбцев» и «демократов».

Ведь хватило же у него отваги и цинизма, выступая 25 января 1960 года на пресс-конференции Ассоциации иностранных журналистов в Риме, заявить, что в расистских выступлениях в Западной Германии повинны... коммунисты. И тут же Аденауэр не постеснялся обелить фашистов Теодора Оберлендера и Шредера, занимавших видные посты в западногерманском правительстве, называя их «искренними борцами» за «демократию и справедливость». И это после того, как именно Теодор Оберлендер, будучи политическим руководителем батальона «Нахтигаль», ворвавшись с ним вместе поутру 30 июня 1941 года во Львов, начал целую серию кровавых карательных акций. После убийства львовской профессуры, совершенного в ночь с 3 на 4 июля 1941 года, одним из самых страшных преступлений в эпоху кровавого режима гитлеровцев на львовской земле было коварное уничтожение итальянского гарнизона. Как ни старались скрыть это свое преступление гитлеровцы, правда о нем все больше пробивается наружу, она путешествует без виз. А ведь это злодеяние — лишь одно звено в той цепи зверств, которые гитлеровцы совершили над итальянскими солдатами и офицерами

«Армира», как тогда назывались части итальянской армии на русском фронте.

Загадка «Армира» перестает быть тайной, и люди Италии узнают рано или поздно все до единого, кто именно разжег огни костров инквизиции XX века, на которых сгорели тысячи сыновей солнечной и свободолюбивой страны. Такое никогда не забывается!

Пусть же многие новые подробности содеянного гитлеровцами, приводимые здесь и сообщенные польскими друзьями, помогут нам еще раз увидеть подлинное лицо фашизма.

Пусть итальянские матери, у кого в те дни и ночи 1943 года были отняты во Львове навсегда их дети и мужья, призадумаются над тем, что представляют собою те бывшие фашистские генералы и нынешние заправилы НАТО, вроде Шпейделя, которые еще так недавно без всяких колебаний отправили на смерть свыше двух тысяч сыновей Италии. Отправили только за то, что те хотели мира, а не бессмысленной войны...

СВЕТ ВО МРАКЕ

Документальная повесть

Пожар, который не тушат

В первую ночь июня 1943 года над северной окраиной Львова вспыхнуло зарево.

Оно не угасало больше недели.

Еще до того, как несколько слабых и разрозненных очагов огня соединились и осветили небо от Высокого Замка почти до Яновской рогатки, ветер принес оттуда глухие разрывы гранат, частые очереди автоматов и полные отчаяния крики убиваемых людей.

Подобные звуки сопровождали уже не одну акцию.

Услышав их снова, горожане, живущие в самом центре Львова, подбегали к окнам. Многие из них рады были бы помочь тем несчастным, кто кричал: «Спасите!» Но тишина замерших, пустых львовских улиц снова напоминала о времени, которое переживал город. Об этом времени напоминали горожанам и стихи неизвестных поэтов, рождавшиеся в подполье. В одном из них безымянный поэт называл родной город «открытым вечности и закрытым в девять».

Зарево, осветившее Львов в первую ночь июня 1943 года, возникло уже после девяти. Город был закрыт наглухо на замок «полицейского часа». Чужая и враждебная тишина львовских кварталов лишь изредка нарушалась гулкими шагами немецких патрулей.

Той же ночью на Краковской площади, за оперным театром, вырисовывались на фоне багрового неба очертания двух виселиц. На их перекладинах ви-

сели украинцы, поляки, русские — такие же люди, как и те, которых уничтожали сейчас в северных кварталах Львова.

Еще в тюремных камерах, задолго до казни, гитлеровцы залили смертникам рты гипсом. Эту кару фашисты начали применять после того, как многие обреченные за минуту до смерти выкрикивали в лицо своим палачам тут же, на Краковской площади: «Смерть фашизму! Советы отомстят!»

...Мертвецы с гипсовыми кляпами провисят на Краковской площади долго. Днем разрешается подходить к месту казни вплотную. Гитлеровцы даже поощряют такие прогулки. Один уже вид повешенных должен, по замыслу карателей, вызывать у живых ужас и повиновение. С такой же целью устрашения ночью 1 июня 1943 года под склонами Высокого Замка, у двух каштанов на Стрелецкой площади, были оставлены расстрелянные гестаповцами взрослые партизаны и подростки. Трупы лежат под цветущими густыми каштанами, на краю той самой Стрелецкой площади, где в начале нынешнего века австрийские жандармы расстреливали демонстрацию рабочих-строителей Львова. Мертвецы понадобятся еще немцам как экспонаты для устрашения городского населения с наступлением дневного света. Первый же, кто приблизится к убитым в темноте, получит пулю.

Если одно приближение к мертвецам каралось смертью, то что же говорить о судьбе тех несчастных, кого неумолимо настигали в ту памятную первую ночь июня пули немецких автоматов и пламя бушующего пожара? В отсвете пожарища на стенах притихших домов видны багровые, как это зарево, афиши. То не объявление о новой театральной премьере и не сообщение о выдаче продуктов для горожан. Кровавые афиши подписаны начальником СС и полиции округа Галиция. Восемьдесят четыре фамилии приговоренных им к смерти галичан перечислены в этом объявлении.

Мирон Лях из Вышнего Высоцка, Николай Бун из Старого Села, Владимир Чума из Самбора, Дмитрий Дьяков из Голейзова, Федор Иванков из Орлова вместе со своими односельчанами Алексеем Рожанским, Иваном Марголец и Николаем Ластовецким, нефтяник

из Бориславa Иван Добош и много, много других будут расстреляны гестапо за «участие в запрещенных организациях», которые выступали «против рейха».

Мария Гуцуляк из Лютовиск, Степан Никипанчук из Пружинца, Василий Кавчак из села Миты, Владислав Коханчук из Болехова, Казимир Вайда из Вельдзиржа, Иван Попович из Сусановки с наступлением рассвета тоже будут повешены на Краковской площади за помощь партизанам.

Андрей Лысунов из Меденицы, Казимир Каминский из Делятина, Эдвард Бартосиль из Болехова откажались работать на гитлеровскую Германию. Как только солнце покажется над зелеными холмами Львова, им зальют рты быстро остывающим гипсом и повезут к виселицам за оперный театр.

А вот Анна Куфта, Бронислав Мига и Казимир Юзефек — жители Львова — прятали евреев. Уроженец Стрыя Казимир Ярошинский помогал евреям в своем родном городе.

Всех четверых также постигнет за это смерть.

Они еще ничего не знают об этом, поименованные в зловещем списке, лежащие на цементном полу в своих камерах на улице Лонцкого, в тюрьме на Замарстыновской улице и в других застенках гестапо. Они с тревогой лишь следят, как постепенно, чем ближе к полуночи, небо в решетчатых окошках их камер все больше окрашивается багровым цветом.

...Зарево достигает зенита. Все старинные башни Львова, и купол Доминиканского монастыря, и похожая на итальянские кампанеллы легкая колокольня Успенской церкви, и четырехгранная ратуша с фашистским флагом на штоке, и готический шпиль Кафедрального костела, и ажурный силуэт собора святого Юра — все они, образующие причудливую панораму, отчетливо вырисовываются на фоне багрового неба.

Светло так, что видны буйно распустившиеся свечи каштанов на склонах цитадели. Даже четыре ряда колючей проволоки, окружающей лагерь советских военнопленных, устроенный в крепости, хорошо просматриваются и с улицы Коперника, и с Калечей, и с Пелчинской.

* * *

Ночью серый «Мерседес» подъехал к застенку гестапо на улице Лонцкого. Комиссар по делам евреев Вурм, войдя в комнату для допросов, нажал кнопку звонка. Пока, чиркнув спичкой, Вурм зажигал сигару, в коридоре послышались шаги.

Щелкнув каблуками, в почтительном ожидании застывает на пороге «динстциммер» коренастый эсэсовец из тюремной охраны.

Вурм приказывает ему немедленно доставить сюда всех заключенных из 56-й камеры.

— Тех, что прятали евреев, — поясняет Вурм.

Арестованных приводят к Вурму в «кайданках». Избитые на предыдущих допросах, с пепельно-серыми лицами, покрытыми струпьями, пятеро узников, держа за спинами скованные руки, останавливаются перед столом Вурма.

Синеватая ссадина тянется через всю левую щеку кондуктора львовского трамвая Анны Куфты. Около нее, опустив седую голову, стоит сутулый дворник из предместья Левандовка Казимир Юзефек.

— У кого еще прячутся евреи, ну !? — кричит Вурм, вскакивая. Он выбегает из-за стола и останавливается на широко раздвинутых ногах посреди служебной комнаты.

Узники ежатся под острым взглядом гестаповца.

Понимая, что ему уже ничего не выведать от избитых, готовых ко всему, молчаливых пленников, Вурм бросается к забеленному окну. Он с остервенением рвет на себя оконную раму.

Арестованные видят сквозь решетку вздыхающее сполохами огня багровое небо.

— Ваши квартиранты горят, — кричит торжествующе Вурм. — Все сгорят. До одного. Живьем. А вы хотели перехитрить меня? Нет человека, которому удалось бы обмануть Вурма. Сознавайтесь, кто еще прячет пейсатых. Ну??

* * *

Зарево пожара наблюдает живущий по улице Зибликевича один из лучших математиков Европы Стефан Банах. Уже много лет его имя занимает почетное

место в математической науке. Банах распахнул кухонное окно, выходящее во внутренний двор, и видит озаренный огнем и поросший пихтами и буками склон Высокого Замка. Ничему уже не удивляется ясный разум Банаха — и этому пожару, что с каждой новой минутой становится все больше и охватывает целый район города. Его, ученого, обогатившего мировую науку открытиями в области теории функционального анализа, основателя «Львовской математической школы», гитлеровцы выгнали из Львовского университета.

Теперь в университетских аудиториях заседает «зондергерихт» — особый, скорый и не знающий милосердия суд фашизма.

Профессора же, превращенные в безработных, вынуждены заняться другим делом. Чтобы избежать вывоза на работу в рейх и получить хоть кусок хлеба, они кормят своей кровью вшей в противотифозных институтах Вайгля и Беринга. Из внутренностей вшей, выкормленных кровью львовской интеллигенции, в институтах Вайгля и Беринга, по заданию гитлеровского командования, готовится противотифозная вакцина для немецкой армии.

И математик Банах завтра поутру, как только окончится «полицейский час», тоже пойдет в институт Вайгля; служители прикрепят к его обнаженным ногам десятки коробочек с насекомыми, а вечером отметят в дежурной ведомости: «Кормилец вшей Банах свою норму выполнил».

Коллега Стефана Банаха — профессор права Кароль Корани лишен и этой незавидной доли.

Вот уже четырнадцатый месяц прячется он от гестаповцев в дровяном подвале одного из домов на улице Реймонта. Дворник дома да жена профессора знают о его существовании и снабжают его по ночам пищей. Для остальных окружающих он «убит эсэсовцами на перегоне Перемышль—Львов». И в эту ночь Корани тоже слышит вопли несчастных, сгорающих заживо, видит огненный небосклон сквозь маленькое подвальное окошечко и понимает, что не только римского, но и всякого другого, хорошо знакомого ему права не существует больше на земле, где с ночи рождается день, отравленный зловонными миазмами фашизма.

В тягостные минуты этой ужасной ночи, озаренной кровавым отсветом пожара, задуманная львовским композитором Станиславом Людкевичем скорбная мелодия «Меланхолического вальса» превращается в трагический, полный гневного протеста реквием.

Впервые за семьсот лет истории Львова его пожарные, несущие вахту на вышке ратуши, явственно видят пылающие дома и не дают знать о пожаре вниз.

Бесполезно даже думать об этом! Закрыты наглухо широкие двери пожарных сараев. Никто не звонит в пожарные колокола. Не скрипят тормозами на крутых поворотах оплетенные брезентовыми шлангами красные машины. Не застегивают на ходу свои жесткие куртки пожарники в блестящих касках.

Служба огня бездействует в эту ночь. Тушить пожары — нельзя.

Горят подожженные *нарочно* жилые дома, переполненные людьми. Проваливаются в огонь крыши. Раскачиваются и рушатся с глухим грохотом раскаленные стены.

И тем не менее пожарные шланги останутся сухими всю первую неделю июня. Ни одно ведро воды так и не будет выплеснуто в огонь.

В эти июньские ночи в северных кварталах Львова в огонь летят бидоны с бензином, бутылки с горючей смесью. Разбивая оконные стекла, рвутся в комнатах зажигательные гранаты.

Вспотевшие от близости огня, пахнущие «шнапсом», гитлеровцы подкатывают к стенам зданий, не тронутых еще огнем, бочки с нефтью. Пулями из автоматов они пробивают бочки, и слышно, как тонко поет пробитая сталь. Огненные фонтанчики разлетаются по сторонам. Наконец пламя с воем разрывает бочки. Нефть выплескиваетя на стены. Все выше дымные языки огня. И вдруг в бушующем пламени, опоясывающем дом, слышится сдавленный человеческий крик.

В сплошной, казалось бы, капитальной стене распахивается потайная дверца укрытия «бункера». Оттуда в огонь, держа на руках мальчика, спрыгивает один из несчастных, пытавшихся скрыться в секретном убежище.

Гогочут пьяные гитлеровцы: «Еще одного выкурили!» И, не дав смертникам выбраться из огня, добивают в лестничной клетке обгорелого отца с сыном очередями из автоматов.

...Больше восьми дней пылают так северные кварталы Львова. Зарево невиданного пожарища не угасает ни на минуту. Вагоновожатые, которым приходится водить по Замарстыновской трамваи, развивают такую скорость, что стекла иной раз вылетают на ходу. Но все равно жаркое дыхание пожара и дым от подожженных зданий проникают внутрь вагонов, мчащихся по Замарстыновской. Пассажиры хорошо слышат крики людей, добиваемых и сжигаемых совсем близко — за деревянным забором. Сквозь щели этого забора, отгородившего правую сторону тротуара Замарстыновской от территории гетто, ветер приносит запах горелого человеческого мяса.

«Король» приезжает в гетто

19 февраля 1943 года в раскрытые ворота львовского гетто на желтой бричке, запряженной парой сытых каштановых коней, въехал новый комендант лагеря — гауптштурмфюрер СС Иосиф Гжимек.

К приезду нового начальника все люди в гетто были уже заранее построены старым комендантом лагеря унтерштурмфюрером СС Гансом Силлером.

Созванные по тревоге, они стояли смирно, с непокрытыми головами, на широком плацу — последние из уцелевших евреев Львова. Многие из них уже знали, что за новым и полновластным хозяином их судеб тянется кровавый след и жестокая слава беспощадного палача многих тысяч мирных людей.

Выходец из онемеченной польской семьи, осевшей в Верхней Силезии, Иосиф Гжимек считался одним из самых опытных «специалистов» по уничтожению еврейского населения в Польше и в округе Галиция. Он начал эту карьеру еще осенью 1939 года.

Бено Паппе, Иосифа Гжимека и еще нескольких силезских немцев, переодетых в польские мундиры, сбросили на парашютах с немецкого транспортного самолета в леса близ Сохачева в середине августа

1939 года. Диверсанты успели несколько раз с польской стороны обстрелять немецкие пограничные посты и дали повод немецким газетам писать о «наглости поляков», о «пограничных инцидентах».

С первой минуты гитлеровского вторжения, снабженные пеленгаторами и радиопередатчиками, они помогали вермахту в его марше к Варшаве. Они наводили из лесов германские бомбардировщики на колонны отступающих польских солдат и толпы беженцев. Если не было времени связываться со своими из абвера по радио, Гжимек, Паппе и вся их диверсионная группа, укладывая из снопов знаки, показывала «Юнкерсам» и «Хейнкелям» расположение арьергардных батарей польских войск.

Вермахт, продвигаясь вперед, отблагодарил эту шпионскую группу. В награду за свою подрывную работу против польского народа диверсанты получили недельные отпуска. На трофейных машинах Гжимек, Паппе и другие гитлеровцы врывались в польские городки Сохачев, Лович, Петроков, грабили и убивали евреев, отправляли тюки с награбленными вещами домой и своему начальству. Их усердие так понравилось оккупационным властям, что вскоре Паппе перевели из абвера обратно в гестапо, а Иосифу Гжимеку поручили организовать гетто в Кракове. После гитлеровского нападения на СССР Гжимек, долгое время выполняя задания Ганса Франка, розъезжал по маленьким городкам Галиции.

Но познавшего силу и безграничную власть над порученными ему людьми, тщеславного и жадного к обогащению Иосифа Гжимека уже начинало угнетать долгое пребывание в грязных, маленьких городках генерального губернаторства. Разве о такой карьере мечтал он, проникая на территорию Польши вместе с другими диверсантами еще задолго до того, как немецкие орудия и танки на рассвете 1 сентября 1939 года начали вторую мировую войну?

Иосиф Гжимек ищет протекции и заступничества у старых своих коллег, занимающих высокие посты в столице дистрикта — Львове. Одним из них является всесильный и таинственный гауптштурмфюрер СС и криминалькомиссар Бено Паппе. Сам начальник

службы безопасности дистрикта бригаденфюрер СС Кацман побаивается этого молчаливого высокого гестаповца, который возглавляет одно из самых секретных отделений «4-Н» во львовском гестапо. Дело не только в том, что отделение, подчиненное Паппе, ведет всю разведку и контрразведку в Галиции. Оно, пожалуй, единственное из отделений, которое находится также, помимо Кацмана, в прямом подчинении Берлину и сидящему там ближайшему соратнику Гиммлера — групенфюреру СС Генриху Мюллеру.

Бено Паппе тоже силезец. Он родом из Оппельна и хорошо знает своего земляка Гжимека. Этот проверенный на чистом шнапсе и людской крови каратель как нельзя лучше подходит для того, чтобы раз и навсегда решить «еврейскую проблему» во Львове.

Важность этой проблемы для Бено Паппе ясна. Он был среди приглашенных на секретное совещание у генерал-губернатора Ганса Франка 16 декабря 1941 года, которое состоялось в королевском дворце на Вавеле. Бено Паппе отлично запомнил лишенные всяких колебаний и сентиментов слова речи первого юриста рейха Ганса Франка: «Должны уничтожить евреев, где только их встретим и где только это удастся, чтобы удержать и здесь структурную целостность империи... Евреи являются для нас необычайно вредными обжорами. Мы имеем в генеральном губернаторстве приблизительно около двух с половиной миллионов евреев, а если к этому добавить людей, родственно связанных с евреями, то надо увеличить эту цифру до трех с половиной миллионов. Генеральное губернаторство, как и вся наша империя, должны быть свободны от евреев!»

Именно такое задание услышали из уст Франка наиболее доверенные его лица.

...Начинался 1943 год. «Проблема» все еще не была решена. Потому-то, зная навыки и качества своего старого друга по диверсионной работе Иосифа Гжимека, Бено Паппе при очередном докладе Генриху Мюллеру и Адольфу Эйхману замолвил о нем словечко, и уже во второй половине февраля Гжимек стал полновластным хозяином львовского гетто.

* * *

...Гжимек въехал в свои владения стоя. Высокий блондин, с острыми чертами лица и выпирающим подбородком, он стоял нахмурившись в бричке, одетый в длинный серый кожаный плащ, прижимая правой рукой висящий на ремне автомат.

Когда бричка приблизилась к первой шеренге узников, Гжимек дал знак своему кучеру Израилю Кухенеку, и тот, натянув вожжи, осадил начищенных до глянца коней.

Очень тихо стало на широкой заснеженной площади, вытоптанной посредине выбежавшими на «апель» узниками. Кони волновались, дергали мордами, хлопья пены срывались с их отвислых мягких губ.

Пушистые снежинки лениво опускались на молчаливую площадь с мрачного неба, в котором носилось неугомонное воронье. Гжимек окинул пристальным взглядом шеренги бледных, измученных узников и крикнул отрывисто:

— Надеть шапки, вши померзнут!

С этой фразы в северных кварталах Львова началось правление Гжимека, который так любил говорить о себе: «Я — король гетто!».

Среди заключенных, встречавших нового коменданта гетто, в первой шеренге стоял педагог и спортсмен Игнатий Кригер. А совсем недалеко от площади, на которой происходил смотр, в большом сером блоке на Полтвяной улице, 49, находилась маленькая квартира Кригера — комната и кухня. В квартире-гарсоньерке был устроен бункер и в нем сейчас прятались дети Кригера — семилетняя дочь Тина и четырехлетний сынишка Пава. Игнатий Кригер называл их нежно «мои микрусы».

Кто знает, не будь у Кригера его «микрусов», он смог бы эвакуироваться из Львова в конце июня 1941 года. Председатель Львовского городского отдела физкультуры и спорта знал, что инструктор его отдела Кригер, хороший пловец и легкоатлет, честно и вдумчиво относится к своему делу, и предлагал ему эвакуироваться в тыл Советской страны. Но Кригер был убежден, что во Львов Красная Армия гитлеровцев не пустит, и не хотел подвергать детей тяжелым пере-

ездам. Кроме того, в апреле 1941 года он, получив премию за проведение весенних спортивных состязаний, приобрел хорошую обстановку. Спальня и столовая из настоящего кавказского ореха, все эти серванты, трельяжи, топчаны и кредансы, радующие глаз, также удержали, подобно якорю, и его жену в квартире на Пекарской улице во Львове.

В то время как Игнатий Кригер встречал Гжимека, жена Кригера, Пепа, работала в первой смене на фабрике Шварца.

Эта швейная фабрика после оккупации Львова была превращена гитлеровцами в филиал известной берлинской фирмы «Шварц». Ее обслуживали женщины, загнанные в гетто. Занимались они тем, что в пяти фабричных корпусах по улице святого Мартина перешивали и латали одежду, отобранную эсэсовцами у смертников перед расстрелом.

Ляйтеры фабрики Глик, Браун и судетский немец фон Клопотек одежду убитых людей после починки отправляли эшелонами в Германию. Там ее распределяли среди тылового населения как «винтерхильфе» (фонд зимней помощи).

Работниц, занятых на фабрике, приводили из гетто и уводили домой обратно в строю, под конвоем. И всякий раз оркестр, сведенный из заключенных, у ворот играл им «Марш фабрики Шварца». То была несколько видоизмененная фривольная немецкая песенка «Розамунде».

Игнатий Кригер, а с ним заодно и некоторые другие обитатели гетто с большой тревогой встретили появление нового начальника.

...Накануне вторжения гитлеровцев во Львове, помимо множества неучтенных беженцев из Польши, было свыше 100 тысяч евреев — коренных жителей города.

Уже 1 июля 1941 года, через день после окончательного захвата города, гитлеровцы устроили первый еврейский погром. Наводчиками и палачами, которые помогали гитлеровцам во время погрома, были местные жители из числа людей, давно потерявших всякий моральный облик. Они, эти подлые предатели украинского народа, поступив на службу к немецким фашистам еще задолго до прихода Гитлера

к власти, теперь старались во всю, чтобы оправдать доверие своих господ.

Потерявшие всякий стыд и человеческое достоинство, националистические гиены, давние враги советского строя, были глазами и ушами нахлынувших во Львов гитлеровцев. Без них, хорошо знающих местные условия и людей города, гитлеровцам приходилось бы трудно. Ведь гестаповцев, которые бы, подобно Вурму, знали Львов еще с австрийских времен, было мало.

Продолжая негласно австрийскую традицию «освоения» Галиции, гитлеровцы назначали в местную администрацию районов Западной Украины, вошедших по их приказу в генеральное губернаторство, главным образом южных немцев из Вюртенберга, Бадена, Баварии и австрийских фашистов — преимущественно «винерманов» — уроженцев Вены. И когда проворовался первый губернатор дистрикта Галиция бригаденфюрер СС Карл Ляш, его немедленно заменил австрийский фашист «доктор» Отто Вехтер, тот самый, что заодно с Кальтенбруннером готовил «аншлюсс» и убил на улице Вены австрийского премьера Дольфуса.

Но и «винерманы», нахлынувшие во Львов, тоже вначале слабо разбирались во внутреннем положении города и вынуждены были прежде всего опираться на местную агентуру, помогавшую вторжению изнутри. Этой агентурой были прежде всего украинские буржуазные националисты, ранее служившие верой и правдой Габсбургам, а в последнее десятилетие выполнявшие секретные поручения своих «проводников» из Берлина — штатных агентов гестапо Евгена Коновальца, Андрея Мельника и Степана Бандеры.

С первого же дня вступления немцев во Львов им начала помогать в уничтожении евреев созданная еще в подполье так называемая «Организация украинских националистов» (ОУН) — украинская полиция. В ее отряды «проводники» по всей Западной Украине завербовали для службы немцам до 6 тысяч предателей, не знающих ни морали, ни милосердия. Краевым комендантом украинской полиции был немец, штурмбанфюрер СС Вальтер. В адъютантах при нем состоял лейтенант полиции, воспитанник фашиста Андрея Мельника Богдан Зенко. Он-то постоянно и передавал

приказы своего шефа Вальтера коменданту полиции Львова майору Владимиру Питолаю. В свою очередь Питолай советовался со своим подручным — комиссаром Ярославом Левицким, а потом доводил распоряжения начальства до комиссариатов.

Их было шесть, и они охватывали главные районы города. Один из комиссариатов — сверхштатный — расположился в том же доме на Полтвяной, 49, где жил со своими «микрусами» и женой спортсмен и педагог Игнатий Кригер. Кроме того, по Чистой улице, в доме № 5, была организована особая школа для украинских полицаев. Ею командовал сослуживец начальника разведки Украинской галицкой армии, бывший сотник «доктор» Иван Козак. Желая подчеркнуть, что украинские полицаи в Галиции являются как бы продолжателями традиций контрреволюционной «Украинской Галицкой Армии», профессор полицейского дела Козак вместе с Владимиром Питолаем, Евгением Врецьоной и другими зачинателями «института украинской полиции» добились того, что форма полицаев стала очень похожей на форму украинских сичовых стрельцов времен первой мировой войны.

И как только поутру 1 июля 1941 года предатели Евгений Врецьона и Владимир Питолай узнали, что гитлеровцы не только не будут препятствовать погрому, но и сами будут рады пограбить евреев, всем шести комиссариатам украинской полиции был дан сигнал: «Начинайте!»

По этому сигналу гауптман Емельян Ортвинский, полицейлейтенант Филипп Вавринюк, вахмейстер Игорь Микитюк, сам Богдан Зенко, «магистр» Ярослав Левицкий и другие молодчики с офицерскими нашивками вывели на улицы различных районов Львова своих подчиненных и предоставили им полную свободу действий.

До поздней ночи первого июля полицаи с желто-голубыми перевязями и трезубами на своих рогатых шапках-мазепинках бродили по городу, выпачканные в крови убитых, и отовсюду тащили к себе домой их ценные вещи. Богдан Зенко грабил семью адвоката Амтура — беженца из Варшавы, жившую по Ягеллонской улице, во дворе бывшего Польского театра. Четырехлетний мальчик Дориан, видя, что Зенко толк-

нул его мать, бросился с криком к обидчику. Тогда Зенко схватил малыша за ноги и выбросил его через окно с четвертого этажа. Тот разбился на камнях двора у ног выходившего из театра артиста Тадеуша Суровы.

Попутно с украинской полицией гитлеровцы организовали во Львове и в других занятых ими городах польскую криминальную полицию, набранную из отпетых предателей польского народа. И эти полицианты в синей форме служили оккупантам не менее ревностно, чем их украинские коллеги.

Знаменательно и то, что, кроме отдельных эсэсовцев, немецкие солдаты и офицеры и особенно гражданские немцы участия в погроме 1 июля 1941 года почти не принимали. Они хотели, чтобы вошли во вкус, замазались в крови и навсегда связали себя с разбойничьим оккупационным режимом их новые помощники — незаменимые «наводчики», которым отныне суждено было стать глазами и ушами гитлеровской администрации в дистрикте Галиция.

Жизнь, разделенная на акции

Это была, пожалуй, единственная самостоятельность, которую получили в награду за долгую и ревностную службу Германии украинские националисты: возможность грабить и убивать мирное население в тяжелую годину народного горя.

Но даже и этой самостоятельности вскоре был положен предел. В приказе № 2 по украинской полиции гитлеровцы уже требовали, чтобы каждый из полицаев стрелял метко и обязательно после окончания акции отчитывался о количестве израсходованных им патронов.

Четвертого июля вспыхнул второй еврейский погром. Гитлеровцы запаслись большим количеством жестяных «звезд Давида» и гвоздями. Несколько кустарных мастерских выполняли этот срочный заказ комендантов полиции Евгения Врецьоны и Владимира Питолая. Город был разделен на квадраты. В каждый из квадратов еще с утра, чуть солнце поднялось над Княжьей горой, полицаи ушли на вахту и принялись ловить евреев.

Тут же, на мостовых и тротуарах, они приколачивали молотками к живому телу людей жестяные шестиугольные звезды и вели заклейменных пленников в тюрьму на улицу Лонцкого, в Бригидки, во двор бывшей милиции на Курковой, в застенок на улице Яхновича. Беременным женщинам, если те отказывались идти, вспарывали животы.

На сборных пунктах евреев избивали до полусмерти плетками, автоматами, резиновыми дубинками. Кто выдерживал побои и в состоянии был передвигаться, тех, избитых и окровавленных, отпускали по домам, строго-настрого запрещая отдирать приколоченные звезды. От потери крови многие люди умирали на мостовых, по пути домой. «Скорой помощи» запретили спасать несчастных. По всем главным улицам и глухим переулкам в северной части города тянулись кровавые ниточки — следы скорбного возвращения тех «счастливцев», кому удалось добраться до покинутых семей До поздней ночи дворники стирали и засыпали песком кровавые следы на плитах тротуаров.

21 июля 1941 года украинские фашисты объявили «днем мести за Симона Петлюру». И хотя большинству галичан было отлично известно, что не кто иной, как слуга Антанты Симон Петлюра продал на долгие двадцать лет в кабалу пилсудчикам Западную Украину, теперь на их глазах воспитанники ОУН призывали кровью евреев расплачиваться за его смерть.

Дом за домом обходили в этот день полицаи, делали обыски и забирали с собой евреев интеллигентов: педагогов, адвокатов, инженеров, аптекарей. Задержанных отвезли за Городецкую рогатку, в Белогорский лес, и там их расстреляли. Сперва этому никто не хотел верить, так же как и слуху об убийстве 36 львовских профессоров и доцентов близ Вулецкой улицы в ночь с 3 на 4 июля 1941 года. Думали: просто взяли на всякий случай заложников и со временем освободят. Ведь среди арестованных евреев были уважаемые врачи города, спасавшие жизнь и здоровье многим тысячам больных различных национальностей, полицейские захватили много адвокатов, защищавших бедный люд в судах буржуазной Польши, архитекторов, строивших новые дома на Кадетской, в профессорской

колонии, в Новом Львове за Персенковкой. Кому надобна была их смерть?

Но железнодорожники, ставшие случайно свидетелями расстрела в Белогорском лесу, нашли родных этих арестованных, и вскоре невероятный слух подтвердился.

За трагедией Белогорского леса последовали новые акции. Были подожжены и взорваны все синагоги города и среди них окруженная легендами старинная синагога «Золотая Роза». Это чудо архитектурного искусства эпохи Ренессанса создали в 1582 году прибывшие во Львов зодчие Паоло Счастливый и Петр Прихильный.

Изображенная и описанная во многих архитектурных сборниках мира синагога «Золотая Роза» запылала в начале августа 1941 года. Дым от пожара долго окутывал всю Бляхарскую улицу. В огне погибли старинейшие манускрипты, пергаменты XIV века, ценные исторические документы.

Приблизительно в это же самое время на одном из званых приемов у генерал-губернатора Карла фон Ляша его обступила группа видных чинов карательных органов дистрикта. Были в этой группе комиссары по делам евреев — круглолицый блондин из Вены гауптштурмфюрер СС Эрих Энгель, гестаповец Ленард, начальник самого таинственного отделения «4-Н» гестапо Бено Паппе, тогдашний шеф гестаповского суда оберштурмбанфюрер фон Курт Ставиский, гауптштурмфюреры Михаэлес Кольф и Кайзер да и сам бригаденфюрер Кацман—толстенький рыжеватый фашист с быстрыми рысьими глазками и красной физиономией. Все они уже успели перезнакомиться и, пользуясь тем, что Карл фон Ляш был «на взводе», довольно непринужденно и единодушно принялись выкладывать ему свои обиды. Они не говорили прямо, что приехали в Галицию обогащаться. Боже избавь! Прежде всего, высказывая свое мнение, они заботились об «интересах рейха». Им было обидно, что в тот момент, когда они охраняют безопасность немецких интересов в генерал-губернаторстве, расширяют агентуру, заводят картотеки на неблагонадежный элемент и ночами не покидают служебных комнат, какие-то «унтерменши» богатеют на глазах у всего города, пре-

вращают свои жилища в мебельные и мануфактурные склады и вообще ведут себя вызывающе. «Мы, конечно, понимаем, что местная полиция вносит свою лепту в наше общее дело, — распинался Курт Стависский,— но нельзя отпускать поводья, надо дать им почувствовать, что полицаи только наши слуги, не больше!»

— Ничего, господа, я наведу порядок, не беспокойтесь! — сказал Карл фон Ляш многозначительно.

Через несколько дней по указанию Карла Ляша была создана во Львове еврейская община. Ее возглавил юденрат — орган, сыгравший предательскую роль по отношению к трудовому еврейскому населению. Членами его были: заместитель председателя союза адвокатов Польши Генрих Ляндесберг, доктор Юзеф Парнас, Адольф Ратфельд, адвокат Айнойглер и другие зажиточные евреи.

Раввины Львова истолковали создание юденрата как «милость божию». Они говорили, что гитлеровцы образумились, если предоставляют евреям автономию и самоуправление. Раввины утверждали, что первые репрессии и погромы были вызваны военными обстоятельствами, а сейчас все будет лучше, ибо бог милосерден и услышал страдальческие вопли евреев.

Внезапно губернатор дистрикта Галиция Карл Ляш вызвал к себе членов юденрата и приказал им собрать с еврейского населения контрибуцию — пять миллионов злотых. С этого приказа начался организованный по всем правилам немецкого педантизма грабеж евреев, отлично уживающийся со стихийным грабежом и погромами, которые то и дело возникали по инициативе отдельных гитлеровцев.

В день, когда стало известно о наложенной на евреев контрибуции, на квартире у Игнатия Кригера собрались его друзья. Вся мебель была уже отобрана полицаями. Оставалось одно пианино. Мастер по фехтованию Кантор, чемпион Польши по легкой атлетике Казимир Кухарский и семья Кригеров беседовали, сидя на полу. Внезапно открылась дверь, и в комнату вошел унтерштурмфюрер СС Вилли Вепке. Это было его первое знакомство с Кригером. Не глядя на сидящих, он подошел к пианино, ударил по клавишам и сказал:

— Тон хороший!

И только тут он заметил хозяев инструмента.

— Снесите вниз и погрузите в машину! — распорядился он. — Но осторожно, глядите мне!

Контрибуция, наложенная Ляшем на евреев, была собрана в течение пяти суток под страхом смерти. Четыре миллиона злотых в деньгах и драгоценностях распределили между собой сам Карл фон Ляш, военный комендант города генерал-майор граф Роткирх, штадтгауптман, или бургомистр, «доктор» Куят и его заместитель от украинских националистов, так называемый «посадник» и нынешний агент американской разведки в Мюнхене Юрий Полянский.

Сбору контрибуции сопутствовала оживленная антисемитская пропаганда в фашистской печати. Собутыльник «посадника» Юрия Полянского некий «доктор» Иван Гладилович опубликовал в националистической газете «Українські щоденні вісті» передовую, в которой открыто призывал уничтожать евреев. Они, дескать, ответственны за провозглашение Советской власти на Западной Украине. Во Львове и в провинции в газетных киосках покупателям насильно всучивали завозимую из Германии газету «Штюрмер» с лозунгом: «Юден зинд шульт» («Виноваты евреи»). Статьи из этого органа антисемитов в спешном порядке переводили на украинский язык и печатали для населения Галиции: во «Львівських вістях» редактор Осип Бондарович и в польской «Газете львовской» — продавшийся фашистам «литератор» Станислав Василевский.

На витринах магазинов были расклеены плакаты: евреи, мол, распространяют сыпной тиф.

«Санитарные побуждения»

В сентябре 1941 года бригаденфюрер СС Карл фон Ляш приказал всем евреям в течение недели переселиться в северную часть Львова, за линию железной дороги Подзамче—Главный вокзал. Средоточие евреев в одном районе города фашисты сперва объясняли, главным образом, «санитарными побуждениями». В своей прессе они писали, что якобы «евреи не любят

мыться», что их жилища «являются очагами инфекционных заболеваний» и т. д. И первое время кое-кто мог даже подумать, что организация гетто является чуть ли не благодеянием для евреев. Однако вскоре эти заблуждения рассеялись.

Два квадратных метра на работающего еврея — такова была жилищная норма, установленная Карлом Ляшем для евреев, поселяющихся в гетто «из гуманитарных и санитарных побуждений». И тут же было объявлено, что жители гетто будут получать 700 граммов хлеба в неделю, выпекаемого из особой фасолевой муки — «юденмейль».

Со всех районов города по приказу Ляша потянулись в гетто евреи. Не успевал глава переселяемой семьи подвезти к дому, в котором он раньше жил, ручную тележку для перевозки вещей, как уже в его квартиру забегали осатанелые, пьяные гитлеровцы. «Этого нельзя брать!», «Это должно остаться здесь!», «Бери вот этот тюк, а больше ни к чему не прикасайся!» — раздавались короткие приказы в квартирах переселяемых. Жены гестаповцев и полицаев, не стесняясь тем, что хозяева квартиры еще не уехали, открывали шкафы-гардеробы и примеряли платья, пальто, ночные халаты тех самых отверженных, которые, по утверждению фашистской пропаганды, были «главными распространителями сыпного тифа и других инфекционных заболеваний».

Но не прощание с уютом обжитых жилищ было самым тягостным для переселяемых. Они ехали и шли пешком с узлами навстречу неизвестности, во мрак ночей львовского гетто.

Отныне слово «акция» стало обозначать для всякого переселенного в гетто границу между жизнью и смертью.

Одна акция сменяла другую.

В дождливый ноябрьский день 1941 года гитлеровские «шупо» и местные полицейские окружили гетто. Возле выходов стояли подводы, на железнодорожных путях — открытые платформы и товарные вагоны. Под видом «борьбы за чистоту» фашисты начали «освобождать» северные кварталы от «санитарно нежелательных элементов». Они ловили стариков и старух, калек, инвалидов, больных и загоняли

их в большие здания на Миссионерской улице. Оттуда партиями под охраной полицаев вели к железнодорожному мосту и около него погружали на все виды транспорта. Большую часть задержанных погрузили на открытые платформы — «леры» и увезли за Высокий Замок, в карьер «Пясковню» близ Кривчицкого леса и дрожжевого завода. С того дня песчаные каньоны, расположенные поблизости проезжего тракта Львов—Тернополь, превратились в место гибели сотен тысяч мирных жителей города.

После окончания «санитарной акции» на фабрику Шварца прибыла одежда увезенных. Никто из работниц сперва не знал, откуда она, но в одном из пиджаков была обнаружена нацарапанная кое-как записка:

«Мы слышим вопли и выстрелы в карьере возле дрожжевого завода, куда повели первую группу раздетых догола стариков и инвалидов, переписанных в доме по Миссионерской. Их убивают. Одежда увезенных уже погружена на машины. Сейчас наш черед. Живые, кому попадет эта записка, — берегитесь...»

Вечером, не успела еще умолкнуть игривая мелодия песенки «Розамунде», которой были встречены портнихи, идущие в гетто из фабрики Шварца, из уст в уста распространилось содержание предсмертной записки одной из жертв «санитарной акции».

Кое-кто из молодежи, загнанной в гетто, правильно воспринял предупреждение. Рождались мысли о сопротивлении. Поговаривали о том, что следовало бы припасти оружие. Но странное дело — раввины и хасиды-ортодоксы, загнанные в гетто вместе со всеми, принялись не медля тушить в самом зародыше эти, как им казалось, «опасные» помыслы о вооруженном сопротивлении оккупантам. «Надо повиноваться эсэсовцам и ни в коем случае не давать спровоцировать себя на противодействие их приказам, — говорили эти проповедники божьих заповедей. — А вдруг записку нарочно подсунули гитлеровцы? Вы, молодые и горячие, возьметесь за оружие и из-за вас погибнут тысячи. Лучше сидите тихо и полагайтесь на волю провидения!»

На львовскую землю упал первый снег, германская армия была задержана на подступах к Москве. В эти

дни началась «меховая акция». Фашисты обходили квартиру за квартирой, забирали полушубки, валенки, меховые шубы, шерстяные свитера, обшитые кожей фетровые «закопяки», лыжные ботинки, а заодно с вещами и не понравившихся им людей. Раздетых людей загоняли на открытые платформы. Люди сидели на корточках полуголые, посиневшие от холода и ждали своей участи. Из кварталов гетто доносилось залихватское пение. Это звуками «Хорста Весселя» гестаповцы заглушали крики и плач новых задержанных.

За погрузкой и сбором вещей наблюдали прибывшие в гетто руководители Яновского лагеря оберштурмфюрер Густав Вильгауз — высокий длинноносый фашист в длинном сером кожаном плаще, его заместитель — гауптштурмфюрер СС Фриц Гебауэр, прозванный всеми заключенными в гетто душителем.

И хотя комендант лагеря Вильгауз был ниже по званию своего подчиненного, он был одним из немногих во Львове членов секретного союза гитлеровцев «Блют орден» — «Союза крови». Поговаривали, что участники «Союза крови» состоят на особом учете у Гитлера и имеют право свободного доступа к нему.

Душитель из Голливуда

Фриц Гебауэр, приехавший проводить «меховую акцию», своей внешностью резко отличался от своего начальника. Уроженец Берлина (адрес: Принцлаураллей, 25), высокий, удивительно опрятный, в ослепительно белых перчатках, он часто прогуливался по Академической улице Львова, и все, кто видел его, шептали: «Наверное, бывший артист».

Догадка не была лишена оснований. До прихода к власти Гитлера Фриц Гебауэр служил статистом в Берлинской кинофирме «Уфа-фильм». Ему удалось даже сняться в эпизодической роли в картине «Бель Ами». Потом больше года он проработал в Америке, в Голливуде. Ходил вместе со своими коллегами на матчи бокса, зверел, когда более удачливые боксеры нокаутировали слабейших, орал «добей его», увлекался гангстерами и Аль-капоне, требовал бойкота Чарли

Чаплина и Пауля Муни и потом, после поджога Рейхстага, был внезапно отозван в Германию. Киноактеры Берлина были озадачены, увидев на этом бесталанном статисте нарядный мундир офицера государственной тайной полиции и мертвую голову на его форменной фуражке с высокой тульей.

Гебауэр прибыл во Львов в первых числах июля 1941 года и довольно быстро стал организатором Яновского лагеря смерти. Поступающих в лагерь новичков он часто допрашивал в присутствии всех узников. Допросы, как правило, оканчивались побоями. Гебауэр, кивая в сторону новичка, кричал охранникам: «Снять штаны!» — и бегал вокруг своей жертвы, размахивая хлыстом с оловянным наконечником. Следом за хозяином, громко лая, бегала и его любимица — овчарка Булли. Глаза Гебауэра расширялись.

Новичок послушно выполнял приказ и раздевался, не дожидаясь, пока охранники сорвут с него штаны. Гебауэр в таких случаях ограничивался 25 «легкими» ударами, причем от первого же удара трескалась кожа. Более страшными были воскресные развлечения душителя. Обычно уже с утра он разгуливал по лагерю, отыскивая жертвы среди тех, кто был занят тяжелой работой. Найти «провинившегося» было не мудрено. Одного заставал, когда тот, опершись на лопату, выпрямлял усталые плечи. Другого узника ловил на «симуляции»: он не мог поднять десять кирпичей сразу.

Часто Гебауэру с балкона своей виллы помогала находить проштрафившихся Отилия Вильгауз — маленькая, худенькая блондинка с пышными волосами— жена шефа лагеря Она показывала стэком на какую-нибудь жертву, и Гебауэр, галантно откозыряв надушенной фрау, тихонько крался между бараками в указанном направлении. С триумфом вел он пойманного на месте «преступления» в механический цех лагерной фабрики «Дейтшеаусринстунгверке». Почти в каждом из концентрационных лагерей была такая фабрика, принадлежавшая лично Гиммлеру.

Обычно местом наказания служил самый большой строгальный станок в механическом цехе. Охранники лагеря принуждали «виновного» раздеться и лечь голым на гладкую и скользкую от эмульсии поверх-

ность станка. Сперва они сами били несчастного, а потом к станку с плетью в руке подскакивал их шеф. Гебауэр быстро зверел. Широкие ноздри его острого и тонкого носа раздувались. Он дышал все тяжелее и с каждым новым ударом сатанел все больше. Элегантный с виду офицер упивался самим видом окровавленного, вздрагивающего тела. По его лакированным сапогам и по нарядным брюкам стекала кровь, но он не прекращал избиения, пока не утомлялся совсем. Потный, красный, Гебауэр шел во двор, постепенно «приходил в форму», переодевался в своей вилле во все чистое и, взяв на поводок Булли, ехал в город — то ли в ресторан «Люкс», то ли в казино гестапо на Майской улице, играть в бридж вместе с Бено Паппе, Вурмом и другими эсэсовцами.

Те, кто увидел Гебауэра и Вильгауза за оградой в гетто в часы проведения «меховой акции», думали, что они будут расправляться с задержанными тут же, на плацу. Предположения не оправдались. Желая усыпить бдительность евреев, оставшихся ждать своей участи в северных кварталах Львова, оба ляйтера Яновского лагеря были на этот раз лишь наблюдателями. Правда, когда первый эшелон ушел по направлению к Лычакову, Гебауэр заволновался и вскоре, не выдержав, уехал за ним вдогонку на своей малолитражке.

Возвратился он в Яновский лагерь к вечеру, после окончания акции. На его одежде не было сухого места: брюки, мундир, погоны и даже фуражка с высокой тульей — все стало бурого цвета, а белые перчатки побагровели так, будто Гебауэр выгружал в них железную руду.

* * *

Март 1942 года ознаменовался акцией на безработных.

Глубокой ночью, когда, измученные за день непосильной работой, все обитатели гетто спали, гестаповцы нагрянули в северные кварталы города. Оцепляя дом за домом, они забирали из квартир тех, у кого не было удостоверения из отдела труда — «арбайтсамта». Возглавлял арбайтсамт Вебер, его заместителем

был фон Барвински. Оба чиновника, выдавая «аусвайсы» (удостоверения), за крупные взятки сколотили себе огромные состояния в деньгах и драгоценностях. Кто не мог купить аусвайс заблаговременно, в мартовскую акцию на безработных обрекался на смерть.

Акция поразила в первую очередь бедноту. Тех, у кого не было аусвайса, забирали по ночам, зачастую тихо и бесшумно. С вечера соседи видели, как человек заходил в свое жилище, а утром они заставали там ободранные обои на стенах, рухлядь в углах.

После уничтожения безработных население северных кварталов уменьшилось до 84 тысяч человек. Оставленные в живых получили нарукавные повязки — «опаски» с буквой «А» и свой порядковый номер. Было роздано свыше пятидесяти тысяч номеров работающим. Кроме того, каждый еврей имел возможность получить удостоверение — «хаусхальт» на одного иждивенца.

Игнатий Кригер получил хаусхальт на свою жену, а детей он прятал. Казалось, все было устроено, а затишье, наступившее после акции на безработных, понемногу успокаивало даже самых отъявленных пессимистов.

Приближается буря

В первых числах мая на улицах львовского гетто появился беглец из Кракова Израиль Хутфер. Он выдавал себя за доктора, быстро перезнакомился со многими семьями, ссужал деньгами кое-кого из неимущих и ни у кого из обреченных не вызывал подозрений. Его семитская внешность и хорошие европейские манеры, а главное — множество новостей, которые он привез из Кракова вместе с номерами выходившей в Кракове «Газеты жидовской», открывали перед ним не только сердца единоплеменников, но и многие их потайные бункеры.

Как-никак краковское гетто существовало дольше львовского. У евреев Кракова был больший опыт в сооружении бункеров — тайных убежищ для детей и женщин на случай акций. Израиль Хутфер охотно делился этим опытом, советовал строить бункеры в дымоходах, на чердаках, в капитальных стенах.

Львовские евреи открыто распахивали перед ним потайные дверцы секретных убежищ, показывали ему норы, вырытые в подвалах. Он либо браковал их, либо советовал переделать. И никто не знал, что, уединяясь в уборных после посещения той или другой квартиры, Хутфер торопливо записывал в блокнот все увиденное и замеченное им. И еще советовал он ни в коем случае не приобретать оружие, не сопротивляться гитлеровцам. Чем больше евреи будут покорны гитлеровскому режиму, тем гораздо скорее, по словам Хутфера, окончатся массовые репрессии, и фашисты дадут возможность спокойно существовать еврейскому населению в пределах особых районов либо переселят их на остров Мадагаскар.

Зашел однажды Хутфер и в квартиру Кригера. Пепа была на работе. Чуя недоброе, прежде чем открыть дверь, Кригер затолкал своих детей в бункер и велел им сидеть тихо.

Хутфер осведомился у Кригера, не родственник ли он его друга — врача Менделя Кригера из Кракова. Кригер ответил, что нет, но повод для продолжения разговора был найден. По словам Хутфера выходило, что он бежал во Львов, надеясь найти в его окрестностях советских партизан, которые смогли бы переправить его дальше, в Москву. Нужных людей, которые могли бы связать его с партизанами, он во Львове не нашел и, задержанный полицейскими, за большую взятку был выпущен под одним условием: ему разрешили пристроиться к колонне евреев-штукатуров, которые возвращались в гетто.

Кригер выслушал эту версию, не возражая пришельцу, но почувствовал в ней что-то неискреннее, лживое, что заставило хозяина квартиры внутренне насторожиться против непрошенного визитера. Хутфер полюбопытствовал — приготовил ли Кригер себе на всякий случай бункер. «А зачем он мне? — прикинулся дурачком Кригер. — Я верю в милосердие гитлеровцев, думаю, что рано или поздно они образумятся и полезных для них работников оставят в покое».

После этого Хутфер засуетился, собрался уходить, а на прощание спросил, верно ли, что по соседству с Кригером живет доктор Флек, изобретатель прививки

против сыпного тифа. Игнатий Кригер ответил на вопрос гостя утвердительно. Да, доктор Флек славился своими смелыми опытами, направленными к тому, чтобы найти прививку от сыпного тифа. И если львовские врачи Беринг, Вайгль и другие, мобилизованные немцами для изготовления прививки из желудочков вшей, зараженных сыпным тифом, подходили к решению задачи слишком сложными, дорогостоящими методами, то доктор Флек как будто бы изобрел куда более легкий способ предохранять людей от заражения страшной болезнью.

Израиль Хутфер живо заинтересовался тем, что рассказал ему Кригер относительно «коллеги Флека» и ушел.

Больше никто в гетто «краковского доктора» не видел. Прошел слух, что во время одной из ночных облав гестапо «накрыло» его без аусвайса, вывезло на Пески и расстреляло. Проверить, насколько соответствует правде этот слух, ни у кого не было возможности, так как выход за пределы гетто отдельным лицам без служебной надобности был запрещен.

Вот почему никто из отверженных не мог столкнуться после того с Хутфером лицом к лицу на усаженной тополями Академической аллее и на других центральных улицах города. К тому же, выходя на очередную «охоту» вместе с Вурмом, наемник гестапо Хутфер искусно гримировался. Хорошо подстриженная бородка «лопаточкой», соломенное канотье и голубоватый пиджак из английской шерсти ручной вязки делали его совершенно не похожим на «доктора из Кракова», который обучал своих новых знакомцев сооружению бункеров.

Совместная «охота» Хутфера и Вурма на замаскированных евреев проходила так: Хутфер с видом, скучающего фланера часами прогуливался по так называемому «корсо»—от ресторана «Люкс» до памятника Фредро в конце Академической. Если он опознавал среди встречных прохожих человека, который мог принадлежать к еврейской нации, бамбуковая трость Хутфера делала незаметное движение, понятное Вурму и его спутникам в штатском из отделения «4-Н» львовского гестапо.

Конец трости указывал, кого надо задержать, от-

править на проверку, помытарить, прежде чем будет точно установлено, что задержанный, хотя и носит фамилию Шебальский, но отнюдь не является римокатоликом, а просто живет по чужому документу.

Спустя несколько дней после исчезновения Хутфера из северных кварталов гетто глубокой ночью унтерштурмфюрер СС Ленарт посетил жилище бактериолога Флека. Он не спрашивал, захочет ли Флек работать на гитлеровцев, сможет ли он продолжать свои опыты по изобретению прививки от сыпного тифа, столь угрожающего немецкой армии. Ленарт только распорядился, чтобы Флек по его желанию подобрал себе несколько лаборантов из еврейского госпиталя по улице Кушевича и взял вещи. С той ночи никто ничего больше не слышал о судьбе талантливого бактериолога.

20 мая 1942 года в гетто нагрянула «ролленде комиссия» («летная комиссия»). Такие «летные комиссии», подчинявшиеся непосредственно Берлину, часто, подобно черной молнии, появлялись во Львове.

Улицы сразу опустели. Ждали большой акции. Гестаповцы шли по следам Хутфера. Его заметки в блокноте указывали им «цели». Бункеры были разрушены, а те, кто прятался в них, увезены в машинах «ролленде комиссии» на расстрел.

Между тем гитлеровцы окружили Львов периферийными лагерями для евреев. Основали лагеря в Сокольниках, под Золочевом, в Куровичах, в Винниках, в Раве-Русской и большой лагерь в лесу поблизости селения Зимняя Вода, по дороге из Львова на Городок. Июнь—июль 1942 года проходят в тревожном предчувствии неотвратимого несчастья.

Все ремесленники львовского гетто, преимущественно портные и сапожники, не закрепленные за учреждениями через «арбайтсамт», неожиданно были сведены в одну бригаду из 4200 человек. Через юденрат они получили приказ свезти свой инструмент и станки в школу на улице Рея, находящуюся за пределами гетто.

Хотя Игнатий Кригер был педагогом по образованию, в гетто он выполнял обязанности инженера-конструктора, не гнушался различной слесарной работы и зачастую исправлял водопровод. Вместе со всеми ре-

месленниками пошел он под конвоем в школу на улице Рея и, как было приказано, сдал свой аусвайс для перерегистрации.

Председатель юденрата Генрих Ландесберг покорно сложил аусвайсы в чемоданчик и понес их в управление дистрикта Галиция к адъютанту начальника полиции Кацмана унтерштурмфюреру СС Ленарту. Адъютант всесильного Кацмана начал было штемпелевать аусвайсы, но потом отложил их на стол и пошел с докладом к начальнику. Ландесберг прождал его свыше часа в приемной комнаты 56 в здании бывшего Львовского воеводства. Сколько раз проклинал он себя за то, что согласился быть посредником между немецкой администрацией и десятками тысяч страдальцев, загнанных в гетто. Впрочем, выбор у него ограничен, Ляш так и заявил: «Либо ты возглавишь юденрат, либо получишь пулю». А теперь люди гетто надеялись, что он защитит их, спасет им жизнь. Им казалось, что фашисты прислушаются к голосу известнейшего адвоката Польши, имя которого годами не сходило со страниц различных газет и во время шумных процессов проникало и в немецкую прессу, как было во время скандального дела Горгоновой. Вот и сейчас, сидя в приемной Ленарта, Ландесберг понимал, что люди, ждущие его в школе по улице Рея, верили, что он способен уговорить фашистов продлить их существование. Но что он, потерявший всякое достоинство, мог сделать, когда фашисты третировали и его. Он ловил на себе презрительно-гадливые взгляды то входящих, то выходящих гитлеровцев и всякий раз вскакивал, как школьник при появлении учителя в классе, почтительно кланялся любому из них и мял в руках ворсистую велюровую шляпу, не имея права надеть ее в присутствии «людей высшей расы».

Ленарт вышел от Кацмана размеренными шагами, высоко подняв голову и приветствуя зашедшего к нему Энгеля выкриком «Хайль Гитлер!» С ним он отошел к окну, из которого открывался прекрасный вид на старинный Львов, окутанный голубоватым весенним туманом.

Энгель, беседуя с Ленартом, оглянулся на застывшего в углу в почтительном ожидании председателя юденрата, проверяя, не подслушивает ли он их дру-

жескую беседу. Ленарт перехватил этот осторожный взгляд гестаповца и крикнул адвокату:

— Можешь убираться. Аусвайсы я пришлю в гетто!

Документы отобраны

Ремесленники возвращались к своим жилищам с поникшими головами. Мало того, что почти каждый из них оставил за пределами гетто свой инструмент: швейные машины, деревянные колодки разных фасонов, запасы деревянных гвоздей, клещи, рашпили, удобные молотки, острые ножи с рукоятками, обтянутыми изоляционными лентами. У них были отняты драгоценные аусвайсы, дающие пусть зыбкое, но какое-то право на жизнь. Право еще хоть немного видеть солнце, радоваться зеленой листве буйно распустившихся каштанов, завистливо следить за быстрым полетом стрижей, беззаботно пересекающих в синем небе границы гетто.

Утерявшие надежду на счастливый исход, приближались они к туннелю под мостом, и от обостренных взглядов многих из ремесленников не ускользнули одинокие патрули полицейских, лениво бродивших по железнодорожной насыпи. Гетто окружалось полицейскими еще с вечера. Это был недобрый знак!

До поздней ночи в субботу ждали посланца от Ленарта с аусвайсами. Но ни посланца, ни удостоверений не было. На рассвете в воскресенье усиленные наряды полицаев охраняли все выходы из гетто. Одни из них, вооруженные автоматами, разгуливали по тротуару, около проезда под железнодорожным мостом, по которому изредка, грохоча и вздымая пыль, проносились поезда. Другие полицаи валялись на зеленой мураве под насыпью, пили водку и охрипшими голосами тянули песни, следя за тем, как бы кто из жителей гетто не осмелился перебежать через насыпь в город.

Утром в понедельник 10 августа 1942 года небольшая группа ремесленников и с ними Игнатий Кригер упросили евреев-полицейских отвести их на работу в школу, где они оставили в субботу свои инструменты.

Полицейский заслон у туннеля возле перекрестка Татарской и Замарстыновской отогнал их прочь, не разрешая выходить за пределы гетто. Теперь окончательно стало ясно: готовится акция.

Ближе к полудню в гетто приехал Ленарт и передал юденрату для раздачи ремесленникам 600 аусвайсов с новым штампом. Более четырех тысяч людей выстроились около здания юденрата по улице Локетка и, дрожа от волнения, слушали, как вышедший на балкон адвокат Ландесберг выкликает одну за другой фамилии счастливцев.

Среди них оказался и Кригер. Так вошел он в августовскую акцию, имея временное охранное свидетельство, жену с двумя детьми, надеясь сохранить их всех под сенью своего аусвайса.

Улицы гетто замерли.

Лишь на перекрестках возле автомашин, окруженные полицейскими, стояли, ожидая своей очереди на погрузку, плачущие женщины, дети и те из мужчин, которые не получили обратно свой аусвайс.

Все подвалы, чердаки, потаенные бункера заполнили люди, не желающие умирать, вздрагивающие от каждого стука в дверь, от скрипа сапог на лестнице, от дальних и близких одиночных выстрелов, от обрывающегося перед домом гудения машины.

14 августа на пороге жилища Кригера появился полицейский. Это был черномазый, с волосами цвета вороньего крыла парень, видно, только начинающий свою служебную карьеру.

Кригер молча протянул ему свой аусвайс.

Полицай долго разглядывал каждую печать, попытался ногтем отодрать фотокарточку, — не с чужого ли она документа, посмотрел документ на свет, а потом, лениво возвращая аусвайс Кригеру, спросил:

— Чисто что-то... Кто живет тут? Инженер? Доктор?

— Спортовец, — сказал Кригер.

— Спортовец? — оживился полицай — А я до войны запасным в футбольной команде «Погонь» играл.

Но, по-видимому, боясь, как бы кто не заподозрил его в беседе с «жидом», он, круто меняя тон, вспомнив, кому служит, крикнул:

— А их удостоверения? Дети откуда тут? Детей не вольно вам иметь в гетто.

— Это моя жена. Пепа, покажи аусвайс, — заторопился Кригер.

— Такой ничего не стоит, — сказал, ухмыляясь, полицай и возвратил жене ее хаусхальт, — тут нет последней печатки Ленарта. А у кого нет печатки, того велено забирать. А ну, за мной!

— Хлопче, что ты делаешь, побойся бога! — закричал Кригер, чувствуя, как силы покидают его. — Хлопче, оставь их.

Плач детей, залезающих под кровать, наполнил комнату новыми звуками.

— Бог тут ни при чем, — сказал полицай. — Сегодня мы вас, а завтра они нас. Что я могу поделать. А ну, вылезайте! — крикнул он детям, отодвигая кровать.

...Жена и дети спускались по лестнице первыми. Кригер шел позади полицая и, едва не касаясь губами его красного уха с черной родинкой, шептал:

— Оставь их, хлопче, ну, молю тебя ради всего святого. Ведь у тебя будут дети. Ну, прошу тебя. Мы же спортсмены...

Полицейский ничего не отвечал, а лишь сопел прерывисто, держа наперевес автомат.

Все громче, надрываясь, шумели машины перед самым домом. С неотвратимой быстротой приближался истерический плач матерей там, на дворе. Последние пятнадцать ступенек оставалось им пройти, и тогда бы уже все было поздно.

— Слушай, хлопче, — хватая полицая за руку и удерживая его на площадке, стал умолять Кригер. — Вот деньги. Возьми. Но не выводи их туда.

— Сколько? — обычным голосом спросил полицай, утирая потный лоб.

— Тысяча. Все, что у меня есть. Тысяча злотых!

— Такая мелочь? — сказал полицай, порываясь идти. — Стану я за тысячу рисковать. Давай больше.

— Нет больше. Честное слово. Я же не фабрикант. Откуда у меня деньги?

— Ладно уж, давай. Так и быть, — вдруг размяк полицейский.

— Беги, Пепа, домой, — шепнул Кригер, а сам

положил в потную ладонь полицейского смятые бумажки.

Пока тот пересчитывал их, жена Кригера и дети были уже наверху.

— Маловато, — снова протянул полицай, беря автомат на плечо.

— Нема больше, — пробормотал Кригер. — Спасибо тебе. Бувай здоров. Спасибо за доброе сердце. — И он хотел было пожать руку полицая, но тот, предупреждая его движение, быстро шагнул вниз.

* * *

Полицейский мог передумать. Что ему стоило вернуться снова в жилище Кригера, забрать его близких или, в лучшем случае, прислать за ними своих знакомых людоловов — коллег по грязному и кровавому ремеслу?

Долго не думая, Кригер прячет детей в бункер, велит им сидеть тихо, а жене, чтобы дети не знали, где она, знаками предлагает спрятаться в топчане. Он прикрыл ее сеткой и подушками, закрыл квартиру на ключ и поспешно вышел на двор. Акция была в разгаре. То там, то здесь раздаются одинокие выстрелы, и одна за другой переполненные людьми грузовые машины, оставляя позади себя клубы синеватого перегара, мчатся к выездам из гетто.

Кригер, полусогнувшись, идет наискосок через заросшую бурьяном площадь, к дому на Кресовой улице. Там живут его сестры и старушка мать. Он озирается по сторонам, и тут нога его наталкивается на что-то мягкое. Труп человека. Как бежал он, загребая руками воздух, силясь скрыться от преследующих его гестаповцев, так и рухнул лицом в густой бурьян, простреленный навылет в спину.

Кригер приподнимает голову мертвого и узнает знакомого. Это стекольщик Кива Баренбойм, веселый, разбитной малый, который до войны жил на Солнечной и стеклил водный бассейн в спорткомбинате, поблизости улицы Яблоновских. Но ведь он тоже получил сегодня удостоверение со штампом Ленарта, он был одним из тех счастливцев, кого выкликал с балкона

Ландесберг! Вот и его аусвайс торчит из нагрудного кармана спецовки. Кригер берет этот аусвайс и глядит в знакомое и уже навсегда потерянное для этого мира простое лицо мастерового, который убит фашистами. Зачем понадобилось им убивать его?

Ясность появляется, когда Кригер доходит до серого углового дома на Кресовой. Крайнее окно партерной квартиры Баренбойма разбито. Там уже никого нет. Два вафельных следа на улице, поросшей подорожником, подсказывают: «Здесь погружали на грузовик его жену и годовалого ребенка. Он увидел и побежал за ними. Кто-то из полицаев послал ему пулю вдогонку».

Кригер проходит еще несколько шагов, и сердце его замирает. Комната, в которой ютилась его мать с двумя сестрами, тоже пуста. Окна выбиты. Их забирали силой, потому что на гвозде, вбитом в наружную дверь, Кригер заметил голубую гарусную нитку от свитра матери.

Из дома № 16 на Кресовой вышел крадучись поэт и магистр философии Эммануил Шлехтер — низенький смуглый человек в проволочных очках. Он подтвердил Кригеру, что его близкие увезены на Пески.

Вечером, немного успокоившись после страшной вести, Кригер осторожно отделил вторую половину аусвайса убитого стекольщика с печатью Ленарта «W» (это означало: работает для армии) и соединил ее с первой половиной удостоверения своей жены. Людей, имеющих на документах печать «W», не истребляли.

Эта уловка помогла жене Кригера уберечься от смерти в августовскую акцию 1942 года. Она продолжалась около двух недель. Из северных кварталов за это время было увезено на Пески и на фабрику смерти Белзец свыше 35 тысяч евреев.

На всех улицах, прилегающих к гетто, были расклеены приказы бригаденфюрера СС Фрица Кацмана о том, что район гетто закрыт для жителей нееврейской национальности. За самовольный вход в северные кварталы всем, не живущим там, кроме чинов полиции, угрожал расстрел. Вдобавок к приказам на всех воротах, ведущих в гетто, появилась эмблема смерти: череп и две перекрещенные кости.

Спустя четыре дня несколько эсэсовцев заметили на Жовтневой (Сикстусской) бегущего опрометью истощенного, оборванного еврейского паренька лет восемнадцати. Неизвестно, вырвался ли он в «арийскую дельницу» из района гетто, или просто все это время прятался в каком-то из подвалов.

Измученный голодом, он забежал среди белого дня в магазин со зловещей надписью: «Нур фюр дейтше» — «Только для немцев» и схватил на прилавке булку.

Сжимая под мышкой свежий, хорошо пахнущий, еще теплый хлеб, юноша думал скрыться. За ним, разгоняя прохожих выстрелами, грохоча коваными сапогами, бросились эсэсовцы. Они настигли «злоумышленника» около гостиницы «Народной», повалили его на камни и принялись топтать ногами.

И тут свершилось невероятное. Окровавленный, синий от голода юноша вскочил. В грязной, высохшей его руке блеснуло лезвие ножа; он из последних сил вогнал этот нож по костяную рукоятку прямо под сердце высокому, дородному шарффюреру СС.

...Солнце еще не спустилось за Куртумову гору, как в тот же вечер у квартиры председателя еврейской общины Генриха Ландесберга остановились три закрытые машины со стрелками «СС» на дверцах. Из них вышли спокойно, как ни в чем не бывало, начальник гестапо уголовный советник и оберштурмбанфюрер СС Курт Стависский, унтерштурмфюрер СС Альфред Отт, начальник отделения «1» гестапо гауптштурмфюрер СС Эрих Энгель, Отто Вурм и адъютант Кацмана Ленарт.

Никто в гетто не знал еще о случае на улице Костюшко под гостиницей «Народной». Голодный юноша, оборвавший существование шарффюрера СС, давно уже был зверски убит. Казалось, на этом инцидент должен был окончиться. Но гестапо придерживалось иного мнения.

Ленарт вывел Генриха Ландесберга на улицу и приказал ему созвать всех евреев по тревоге к помещению юденрата, где обычно выдавались удостовере-

ния. Еврейская милиция разбежалась по кварталам выполнять приказ. Простоволосые, напуганные предчувствием недоброго, а вместе с тем все еще живущие надеждой на смягчение террора, жители гетто выстроились перед домом по улице Локетка.

Ленарт сказал:

— Сегодня от руки подлого жида погиб младший офицер отборных войск фюрера. Такое преступление не может остаться безнаказанным. В дальнейшем мы будем поступать с еще большей строгостью.

После короткой речи Ленарта на глазах у всей застывшей в оцепенении толпы гестаповцы повесили под балконами юденрата десять еврейских милиционеров из «орднунгмилиц».

Одиннадцатым был казнен тут же, под балконом юденрата, его председатель—адвокат Генрих Ландесберг. Петлю ему на шею набросил Отто Вурм. Тянуть веревку кверху гестаповцы силою оружия заставили двух человек: сына адвоката и его родного брата. Затем был повешен и сын Ландесберга.

Двенадцать трупов провисели под балконами домов на улице Локетка несколько дней. Своим видом они, по замыслу фашистов, должны были внушать страх оставшимся в живых и уничтожать в их сознании всякую мысль о возможном неповиновении расе господ.

Гетто обнесено высоким деревянным забором. Люди, работающие на сооружении забора под железнодорожной насыпью, видят, как там, наверху, по рельсам то и дело громыхают эшелоны, набитые людьми. Из окошечек товарных вагонов, закрытых висячими замками, доносятся истерические крики женщин и детей: «Воды! Воды!»

Это постепенно «очищаются» от евреев маленькие города и села Галиции. Пойманных во время акций евреев направляют в закрытых наглухо вагонах в Освенцим, в Тремблинку и в самый ближний лагерь смерти, расположенный в нескольких километрах за Равой-Русской, на станции Белзец. Много невероятных рассказов ходит об этом таинственном лагере и «вечных огнях Белзеца», незатухающих кострах, на которых жгут трупы убитых. Но сколько правды в этих рассказах и сколько вымысла — трудно сказать: из

Белзеца еще никто не возвращался. Туда был отвезен и сожжен львовский писатель Остап Ортвин (Кацеленбоген).

На рассвете 22 августа эсэсовцы и полиция окружили все госпитали в гетто и самый главный из них, помещавшийся в кирпичном доме по улице Кушевича. На открытые машины погружали голых стариков, беременных женщин, грудных младенцев, больных сыпным тифом и эпилептиков.

В это утро принял яд в палате госпиталя на улице Кушевича известнейший физиолог Львова профессор Адольф Бек. Цианистый калий передал ему сын — главный врач этого же госпиталя. Гестаповцы, пришедшие забирать старика, нашли его уже мертвым и выбросили труп ученого через окно в подъехавшую машину. Туда же сверху они сбрасывали всех оставшихся грудных младенцев из родильного отделения. Сын физиолога ненамного пережил своего отца. После того, как госпиталь очистили от больных, гестаповцы увезли на машинах к дрожжевому заводу и весь врачебный персонал — от главного врача до санитарок.

* * *

Большинство евреев, поселенных в доме № 49 по Полтвяной улице, были заняты обслуживанием частей СС. Дом этот так и назвали: «блок СС». Одних из его жителей водили строем в противоположный конец города, на улицу Чвартаков, где жили эсэсовцы. Люди из гетто рубили для них дрова, натирали полы в квартирах, подметали дворы. Другие евреи ходили по квартирам сотрудников гестапо по улице Мальчевского, на Кадетскую, Майову и выполняли там любую работу. Это были дешевые рабы. От своих собратьев, обслуживающих части СС и отдельных офицеров, осуществлявших карательную политику гитлеровцев в провинции Галиция, люди из гетто узнавали подробности личной жизни палачей с изображением мертвой головы на форменных фуражках. Довольно быстро стало известно, кого из них можно подкупить взятками и этим самым оттянуть выезд на Пески.

Однако, надо полагать, не один Израиль Хутфер

обслуживал Отто Вурма и Бено Паппе, предавая своих ближних и этой ценой надеясь заслужить у гитлеровцев право на жизнь. Подобными делами занимался также и доктор философии Голигер. До войны он имел мельницу и жил на Казимировской улице. Очутившись в гетто, Голигер сообщал гестапо о всех подробностях жизни обитателей гетто.

От предателей вроде Хутфера и Голигера отделение «4-Н» львовского гестапо скоро узнало, кто именно распространяет слухи о тайнах СС, и в частности о деградации и расстреле смененного Отто Вехтером первого губернатора дистрикта Галиция, проворовавшегося Карла фон Ляша. Гестапо решило уничтожить узнавших слишком много жителей дома 49 по Полтвяной.

Акция была проведена молниеносно. Ночью 16 ноября во двор «блока СС» заехали автомашины, и выпрыгнувшие из них гитлеровцы оцепили дом. Из 48 квартир блока были очищены от населения и мебели 47.

Отныне Игнатий Кригер остался жить со своей семьей в пустом блоке. Хорошо это или плохо — он еще не знал.

Между тем население гетто было оповещено, что судьбой всех евреев будет отныне заниматься «унтеркунцфервальтунг» — новая власть в северных кварталах Львова. Представители этой новой власти — унтерштурмфюреры СС Силлер и Мансфельд решают, что в гетто могут жить лишь те, у кого в аусвайсах стоят буквы «W» и «R» (последняя означала «Ристунг» — ее ставили в аусвайсах портных). Остальные же должны пройти «переквалификацию».

Весть из Сталинграда

Отбором лиц, подлежащих «переквалификации», занимался сам комендант Силлер. Еще до рассвета выходил он к воротам гетто под железнодорожным мостом, перекрывающим Замарстыновскую, и проверял документы каждого идущего под конвоем на работу в город. Отзывал он в сторону не только тех, у кого не было в аусвайсах магических букв «W» и

«R», но и любого из евреев, чье лицо ему не нравилось.

Силлер искал всяческих поводов, чтобы уменьшить население гетто. В нескольких шагах от контрольных ворот в дождливые утра поблескивала в свете фонарей огромная лужа. Конвоиры обходили ее сторонкой, по тротуарам, но каково было узникам, спешившим предстать пред зеленоватые, пронизывающие очи Силлера и получить от него либо разрешение на жизнь, либо направление на «переквалификацию»?

И, подгоняемые конвоирами, марширующие под звуки оркестра, провожающего их в город, люди из гетто в первые дни без раздумья шагали по грязи. Они думали угодить Силлеру этим маленьким бесстрашием, но достигали, как вскоре выяснилось, обратного. Силлер приказывал выйти из рядов тем, у кого на обуви была грязь, и передавал задержанных в руки дежурного патруля.

Гестаповцы велели всем с грязной обувью залезать в машину.

Чтобы не дать Силлеру возможности использовать против них эту придирку, люди из гетто начали поступать так: за несколько шагов до лужи они ухитрялись на ходу стянуть начищенные до глянца ботинки и проходили лужу в носках или босиком. Пока Силлер проверял документы первой шеренги, ждущие своей очереди незаметно от его ищущего взгляда надевали чистую обувь. Конечно, подобные уловки могли привести любого к воспалению легких, но все же эта опасность была пустяковой по сравнению с прямым маршрутом на смерть.

Тем временем в гетто вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Исчезновение врачебного персонала, недостаток медикаментов, скученность и антисанитария помогали болезни распространяться. К декабрю 1942 года ежедневно от сыпного тифа умирало по 80—100 человек.

В один из хмурых зимних дней 1942 года, вскоре после того, как железное кольцо советских войск сомкнулось у далекой Волги, небольшая партия узников гетто, возвращаясь с работы из города, принесла радостную весть: фашисты в трауре. Гитлеровские флаги, обвитые черным крепом, приспущены над

гостиницей «Жорж» и другими зданиями. В Сталинграде победили советские войска, и гитлеровцы ходят повсюду с опущенными носами.

Слово «Сталинград» передавалось шепотом из уст в уста. Его шептали больные, прикованные надолго к постели тифозной горячкой. Повторяли матери, залезающие в дымоходные трубы при каждом подозрительном стуке на лестнице.

Никто еще не знал всех подробностей Сталинградского разгрома Шестой армии фельдмаршала Паулюса, но даже из скупых сообщений гитлеровского информационного бюро следовало, что фашистам нанесен удар колоссальной силы. Не будь этого сокрушительного удара, разве стали бы болтаться в продолжение трех дней траурные флаги рейха; ведь не зря пустил себе пулю в лоб в ресторане «Люкс» какой-то немецкий оберст, едущий на фронт. Вместе с деньгами для официанта он оставил после предсмертного ужина выразительную записку: «Никакой траур не в состоянии отсрочить окончательную гибель Третьей Империи, начатую у Волги. А я не хочу быть свидетелем этой гибели».

В холодных, нетопленых коморках северных кварталов Львова люди, обреченные на смерть, повторяли святое слово «Сталинград». В напряженной тишине бессонных тифозных ночей им казалось, что они уже слышат сами отдаленную канонаду советских орудий. Никогда и никем во Львове Волга не ощущалась так близко...

Звуки победного рога отзывались в сердце каждого из загнанных в северные кварталы так, будто бы они слышались на Высоком Замке — Княжьей горе, на холмах древнего города Червоной Руси, где некогда возвышались сторожевые башни-будильницы. Взошедшая над миром звезда Сталинграда сулила многое пленникам фашизма. С невероятной быстротой по гетто распространился слух, что если до конца декабря 1942 года не будет акций, то люди переживут все время войны спокойно.

И в новогоднюю ночь наступающего 1943 года во многих бункерах, в комнатках с занавешенными окнами, в сырых подвалах, где прятались лишенные

удостоверений о работе, люди, поздравляя шепотом один другого с Новым годом, повторяли: «Пусть живет наша спасительница — Красная Армия! За жизнь!»

* * *

Между тем, в первый день нового 1943 года бригаденфюрер СС Кацман переименовал «еврейский район» в «юденарбайтслаг». Стало известно, что в северных кварталах смогут теперь проживать лишь обладатели аусвайсов со штампами «W» и «R». Что же, спрашивается, должны были делать их семьи? Все, кто читал новогодний приказ Кацмана, мог подразумевать их дальнейшую судьбу: их обрекли на смерть.

Ночью, в полной тишине, мужчины, имевшие жен и детей, выходили крадучись из своих каморок и при свете электрических фонариков строили дополнительные бункеры. Появлялись фальшивые стенки в подвалах, на чердаках. Изобретательность обреченных доходила до того, что они устраивали бункеры под уборными, воздвигали на крышах дополнительные трубы, думая запрятать в них своих близких на случай акции.

И без того ужасные гигиенические условия стали невыносимыми, отчаянными — по 15—20 человек ютилось в одной комнате без света и воды. Теперь же многим предстояло сутками стоять на ногах в какой-нибудь дыре. Стоять, чувствовать, как пухнут и отекают ноги, и не иметь возможности вздохнуть поглубже, так как малейший шорох мог быть услышан снаружи.

Дети, бегавшие ранее по улицам то там, то здесь, в первые дни января 1943 года исчезли вовсе. Лишь изредка в тишине безмолвной улицы, по которой, опустив голову, с лицом, давно забывшим, что такое улыбка, шел человек с нарукавной «опаской», навстречу ему из какой-нибудь подворотни выглядывала детская взлохмаченная головка и шептала:

— Макагиги! Цианка! Макагиги! Цианка!

Весь «товар» у маленького продавца, добывающего для своих родителей пару злотых на «черну годину», помещался на замусоленной кепке. Лежали там

на подстеленных бумажках серенькие маковники — макагиги и рядом с ними мирно соседствовали ампулки с цианистым калием — очень популярное средство для замены мучительного уничтожения смертью более легкой, быстрой и простой.

«Цианкой» торговали, как семечками. Поговаривали, что сами фашисты сплавляют большими партиями в гетто, через еврейских милиционеров, этот ходкий, ускоряющий выполнение их замысла, страшный товар.

Не только от Израиля Хутфера, но и от ему подобных изменников гестапо узнавало и догадывалось, что сооружение потайных убежищ — в полном разгаре. И, чтобы не дать несчастным опомниться, чтобы сделать ненужными их усилия, обрушивается на гетто январская акция на «нелегальных».

Длится она всего два дня: 5 и 6 января 1943 года, но методы ее проведения превосходят по своей жестокости и масштабам все известные доселе. Раньше узников гетто уничтожали за пределами лагеря — на Песках, в конце Лычаковской улицы; многих отвозили в таинственный Белзец. Тяжесть смягчалась последней искоркой надежды: а вдруг их отрядили на работы? Может быть, они еще живы и строят укрепления под Москвой? Или уехали в Чили в обмен на немецких военнопленных, возвращенных рейху Англией и Америкой?

Акция на «нелегальных»

Во время акции на «нелегальных» истребление тех, у кого не было спасительного документа, происходило на глазах.

Акцию проводил оберштурмфюрер СС Вилли Вепке, заменявший временно Эриха Энгеля, отбывшего в отпуск. Гестаповцы, сопровождающие Вепке, стреляли в квартиры, поджигали целые дома, находили несчастных в дымоходах, в подвалах, в простенках.

Из своего окна Игнатий Кригер видит, как гестаповец, взобравшись на крышу дома 55 по Джерельной, громыхая по кровельному железу коваными сапогами, догоняет нескольких малышей. Те пытаются спастись от преследователя на самом краю крыши, у

водосточных труб. Гестаповец подползает к ним, изогнутой палкой хватает их за ноги. Дети плачут, кричат, уже над самой пропастью, цепляясь за изогнутый бортик рынвы. «Дядя, не бей! Дядя, я же тебе ничего не сделал! Прости меня!» — кричит истошным голосом самый маленький из «нелегальных», уцепившись высохшими ручками за ржавую жесть. Но гестаповец, распластавшись на крыше, бьет малыша палкой по рукам. Раз! Другой! Третий! Наотмашь бьет по синим детским пальцам, закусывая губы от напряжения. И так до тех пор, пока дети, один за другим, не летят со страшным криком вниз, на холодную и жесткую мостовую.

Казалось бы, «задание» выполнено. Но для «очистки совести» гестаповец, покидая чердак, швыряет в самый дальний его угол бутылку с зажигательной смесью. Пока он спускается вниз, пламя охватывает стропила и выгоняет на крышу еще одного «нелегального». Это мальчик лет девяти в цветастой рубахе, видимо, сшитой ему матерью из нижней наволочки.

Но и здесь, под открытым небом, для него нет спасения. Огонь лижет кровельное железо изнутри. Багровые языки пламени вырываются из слуховых окон. Мальчик взбирается на брандмауэр. Совсем низко над ним, в молочном январском небе, проплывают черные галки. Они испуганно каркают: сколько лет они вьют гнезда в этих трубах, никогда еще не видели птицы такого зрелища. Мальчик стоит там в одной рубашке, босой, боясь глядеть вниз. Он ласкает глазами проплывающих ворон и галок — ему кажется по их сочувственному карканью, что они одни остались его друзьями в этом ужасном мире. Сколько бы он дал, чтобы, как в детской сказке, подхватили они его и унесли с собой, хоть в снежные, безлюдные поля, хоть в пустыню, но туда, где нет законов гетто.

Мальчика хорошо видят снизу те гестаповцы, что подожгли дом, и среди них самый главный поджигатель — рыжий, дородный детина в очках, брезгливо вытирающий горстью снега изогнутую рукоять своей палки, которой он сбивал «нелегальных». Гестаповцы и стоящие на почтительном отдалении полицаи хохочут внизу, поодаль пожарища.

Свиваясь, летят вниз малиновые листы кровельного железа. Пламя накаляет и брандмауэр. Мальчику уже невмоготу стоять наверху. Он пляшет от боли на раскаленных камнях, обжигающих его подошвы, он кричит от невыносимого страдания. И вот, наконец, внизу щелкает спасительный выстрел. Гестаповцы похлопывают по плечу меткого стрелка. Подстреленный мальчик летит спиною в огонь.

Страшное имя — Гжимек

С этого дня уже не было в гетто ни одной минуты покоя. Особенно после того, как в акцию на «нелегальных» пулей неизвестного мстителя был убит заместитель Силлера унтерштурмфюрер Мансфельд. Стреляли в него из дома, объятого огнем.

Горящий дом был немедленно оцеплен. К месту убийства приехал Бено Паппе с Отто Вурмом. Они пошептались друг с другом, допрашивали Вепке, но тот недоуменно пожимал плечами и не мог им ответить ничего определенного. По-видимому, человек, стрелявший в Мансфельда, погиб в огне.

В отместку за этот выстрел гестапо немедленно ликвидировало заключенных тюрем северного района по улице Вербицкого, 41, и по улице Вайсенгофа.

И вот, наконец, наступило 19 февраля 1943 года.

* * *

Что же сулит приезд Гжимека? Слава о нем уже давно разносится по многим лагерям дистрикта Галиция. Кригер знает, что Гжимек был последним комендантом Ляцкого лагеря поблизости Золочева. Сам рейхсфюрер Гиммлер посетил накануне «ликвидации» лагерь в Ляцке и распорядился: «Оставить здесь пустое место!» Иосиф Гжимек выполнил приказ высокого начальства. Он уехал из Ляцка со своей любовницей Валли Эльгенбрехт, с кучером и помощниками. Позади остались дымящиеся развалины бараков, кровь, горы трупов в песчаных карьерах и ни одного живого заключенного.

Подобным же образом Гжимек «ликвидировал» им

же самим созданное «образцово-показательное» гетто в Раве-Русской.

Гжимеку отвели было квартиру в особом привилегированном квартале СС по улице Болеслава Храброго, но комендант гетто пожелал поселиться ближе к своим узникам. Мигом для него освободили выстроенную незадолго перед войной трехэтажную виллу по Замарстыновской. Более ста узников гетто — лучших ремесленников города — три дня и три ночи готовили особняк для «короля». Одни цикловали полы, другие красили сверху донизу масляными красками стены, третьи вставляли новые оконные рамы со стеклами, полировали перила на лестницах. Все делалось наново — даже жирандоли и те купили на средства, отобранные еврейской милицией у обреченных.

Один прожектор с балкона виллы Гжимека был направлен на Высокий Замок и на те улицы, где жили «арийцы». Два прожектора из спальни «короля» смотрели внутрь гетто. Днем и ночью из своих окон Гжимек и его любовница Валли Эльбенбрехт — приземистая блондинка с пистолетом на поясе — могли наблюдать, что творится в их владениях.

Стоило Гжимеку заметить какой-нибудь непорядок в гетто — он, не выходя из виллы, стрелял из окна в «нарушителей» из автомата.

Оставшихся в живых врачей, медицинских сестер и ремесленников он с первого же дня своего приезда послал подметать улицы. 20 февраля Гжимек пошел на площадь проводить перекличку и заметил на своем пути кучку мусора — ее не успел убрать один из дворников. Гжимек тут же перед всеми расстрелял дворника. После этого случая люди заметали улицы, дворы, лестницы шапками, руками, метелочками из гусиных перьев. Малейшая бумажка, окурок, найденные Гжимеком, влекли прежде всего наказание дворника. Он, если и оставался в живых, должен был вешать себе на грудь доску с надписью: «Бай мир ист шмутциг» — «У меня грязно». Заметит Гжимек у кого-либо грязное, непротертое окно — швырнет туда камнем. А если уже такое грязное окно обнаружено в партере или на первом этаже — снимет автомат и ударит по стеклу прикладом. «Орднунг мус зайн!» — «Дол-

жен быть порядок!» — повторяет он каждый раз на поверках одну и ту же фразу.

Однажды, собрав по тревоге последние 16 тысяч узников гетто на площадь, Гжимек сказал: «Я здесь король и должен иметь своего генерала!» Он осматривает своих приближенных, и взгляд его падает на коменданта еврейской милиции Руперта. Еврей из Судетов, неизвестно какими путями попавший во Львов, Руперт к этому времени уже зарекомендовал себя как верный «поставщик двора его императорского величества». Ежедневно он обирал жителей гетто и на их последние гроши таскал в виллу Гжимека водку, шоколад, сардинки.

— Вот, Руперт, ты будешь моим генералом! — заявил Гжимек. И, готовый служить своему хозяину до последнего, Руперт поспешно снял свою форменную фуражку с малиновыми кантами. Отныне, когда Гжимек отсутствовал в гетто, он сам, его «генерал», наказывал виновных в нарушении порядка.

«Орднунг мус зайн!» На всех перекрестках ведется показная, придуманная исключительно для усыпления бдительности борьба за чистоту и порядок. Она внушает кое-кому из евреев мысль, авось и в самом деле Гжимек и компания хотят искоренить сыпной тиф, сделать образцовыми северные кварталы города и сохранить жизнь последним евреям Львова, наиболее «порядочным», наиболее трудолюбивым и, как им кажется, полезным для рейха...

14 марта 1943 года способный инженер-конструктор еврей Конторский, которого гитлеровцы принудили работать шофером в особом лагере СС возле улиц Чвартаков и Болеслава Храброго, не выдержав всех издевательств, убивает из револьвера унтерштурмфюрера СС Кайля. Конторский не только карает палача. Он благополучно прорывается на машине «Оппель-адмирал» в леса Перемышлянщины, к партизанам.

15 марта Гжимек отбирает из команды «генерала» Руперта десять еврейских милиционеров и вешает их на балконах все той же улицы Локетка, которая отныне становится магистралью смерти и расправ.

16 марта на рассвете Гжимек появляется у выходных ворот гетто. Колонны узников под звуки оркестра

проходят перед своим «королем» на работу. Гжимек отбирает из них полторы тысячи евреев и в тот же день сам руководит их расстрелом на Песках.

Так была оценена голова унтерштурмфюрера Кайля.

Куда девать семью?

После появления в гетто Гжимека Игнатий Кригер старался не попадаться ему на глаза и в то же самое время усиленно придумывал, как бы вывести за пределы гетто жену и детей. Но куда их устроить? Все его друзья по довоенному времени либо эвакуировались с Красной Армией, либо уже были уничтожены гитлеровцами. Будь у Кригера много денег, драгоценностей, тогда бы еще был смысл попытаться установить связь с волей, найти приют у какой-нибудь одинокой старушки в «арийских» районах города. Но Кригер всю жизнь свою трудился, не делая сбережений, и теперь мог надеяться только на свои собственные руки.

Сон покинул его. Двух-трех часов короткого, беспокойного сна хватало с лихвой Кригеру для отдыха. Все остальное время он лихорадочно пытался найти выход из этого заколдованного круга. И в таком-то состоянии душевного оцепенения на следующий день после ответной акции, вызванной выстрелом Конторского, Игнатий Кригер столкнулся лицом к лицу с «королем» гетто.

Кригер услышал его гулкие шаги по деревянной галерейке, опоясывающей блок изнутри, и подумал, что это дворник Ридлер вышел на прогулку. Кригер запрятал детей в бункер и сам вышел на балкон. В двух шагах от него, заглядывая в окно пустующей квартиры, в сером кожаном плаще стоял Гжимек.

— Отчего нет визитных карточек? — закричал Гжимек. — Даю полчаса сроку. Все квартиры пронумеровать! — И ушел.

Кригер знал, что с Гжимеком спорить опасно. Он раздобыл бланки визитных карточек. На первоклассном бристольском картоне з золочеными ободками Кригер вывел не только номера 48 квартир, но и фа-

милии живших тут раньше людей, убитых во время недавней акции.

Гжимек появился ровно через полчаса. Он вызвал Кригера и одну за другой обошел все 48 квартир.

На вопросы Гжимека, куда девались обитатели квартир, Кригер отвечал односложно: «Увезены из гетто». Вид его при этой фразе не выражал ничего. Гжимек обошел галерейку и постучал полусогнутым пальцем сперва по лбу Кригера, а потом в дверь необитаемой квартиры, давая этим понять, что считает исполнительного подчиненного сумасшедшим.

Слава эта упрочилась за Кригером еще больше в день похорон Кайля. Ему принесли почистить стальной шлем Гжимека. Кригер, думая о другом, машинально облил шлем соляной кислотой. Сталь задымилась, соляная кислота в нескольких местах выела краску и уничтожила начисто две стрелки «СС» на боку шлема.

Руперт пришел сам за шлемом, чтобы нести его Гжимеку, и ужаснулся.

— Чем ты чистил шлем? — заорал «генерал» на Кригера.

— Соляной кислотой! А что? — наивно спросил Кригер.

— Болван! — заорал «генерал», уже знавший об истории с визитными карточками. — Ты и в самом деле — мишигене!

Сверх всякого ожидания, провинность Кригера прошла безнаказанной. Руперт отобрал у кого-то из вахмистров совершенно новый шлем, и пока возился с ним, выяснилось, что «король» уехал на похороны в парадной фуражке.

* * *

23 марта, еще затемно, первая смена работниц ушла из северных кварталов на фабрику Шварца. Те, что вернулись домой, под звуки «Розамунде», утомленные ночной работой, попробовали уснуть.

Тут-то, в предрассветном сумраке, вспыхнула новая, так называемая «шварцевская» акция.

Гестаповцы окружили плотным кольцом дома, в которых жили портнихи, занятые на фабрике Шварца. Они стягивали с постелей одиноких сонных

детей и тех работниц, которые вернулись недавно, вместе с детьми. Более восьмисот женщин с детьми, а также ребят тех матерей, которые ушли на фабрику, гестаповцы загоняют во внутренний двор блока 49 по Полтвяной. Грудных детей ссыпали посреди двора на одну кучу. Дети плачут, зовут матерей. Женщины принуждены сидеть на корточках. Встать не разрешается. То и дело гестаповцы для устрашения своих пленников стреляют из автоматов над их головами.

Одной из задержанных удается вырваться со двора дома на Полтвяную. Прижав к груди своего младенца, простоволосая, с остекленевшими от ужаса глазами, она мчится к забору, ограждающему гетто. Пули гестаповцев настигают ее. Женщина валится вперед, прижимая своим телом грудного ребенка. Тот выползает из под тела матери, по раскисшей весенней земле тянется ручонками к ее обнаженной груди.

Подбежавший гестаповец хватает ребенка за ноги и разбивает его голову о фонарный столб.

* * *

Когда женщин и детей, загнанных во двор блока, начали грузить на машины, выяснилось, что озябшие, плачущие дети, задержанные без матерей, не могут сами залезть в кузова. Гестаповцы приказали работницам грузить не только своих, но и чужих детей.

В три часа дня акция закончилась. Машины уехали на «Пясковню». По опустевшему двору воровато бродил уничтоженный впоследствии дворник Ридлер. Он собирал в грязи порванные злотые, доллары с изображением Вашингтона и другие деньги, чтобы потом у себя в коморке подклеить их и отложить на «черный день».

На автомашинах, которые в это время мчались улицами Львова, гестаповцы увезли на смерть и восемь близких родственников Игнатия Кригера.

* * *

В восемь часов вечера легкий сумрак опускается на узкие улицы Львова. К решетчатым воротам в шеренгах по трое подходят работницы фабрики Шварца.

Как обычно, музыка играет им встречный марш — фривольную песенку «Розамунде»: «Розамунде, ты моя любовь, мое счастье, мое наслаждение»...

Звуки музыки слышит вышедший на балкон вместе с Валли Эльбенгрехт «король» гетто—Гжимек. Его любовница в таком же кожаном плаще, как и он. В ее светлые, с золотистым отливом волосы вплетена голубая лента, на поясе — неизменный пистолет.

— Дамен дес геттос! Дамен дес геттос! — хохочет Валли, показывая рукою на проходящих внизу усталых, изможденных женщин.

Они маршируют внизу, съеживаясь в ожидании удара, им чудится, что вот-вот «королева» начнет стрелять. Но Валли сегодня в миролюбивом настроении. Гжимек по случаю дня рождения подарил ей фольварок в селе Войцеховицы, близ Перемышлян. До прихода гитлеровцев в этом фольварке помещался совхоз. Отныне им будет владеть Валли Эльбенгрехт. Как здесь не веселиться?

Гжимек и Валли приняли вечерний парад и возвратились в свои хоромы, все еще пахнущие свежей масляной краской. Спустя несколько минут отчаянный крик пронесся по северным кварталам. Матери застали разбитые двери, ограбленные квартиры, не находили детей. Все ясно: была акция. Две работницы, живущие в бункерах дома № 49 по Полтвяной, бросились в отчаянии с третьего этажа на камни того самого двора, где еще несколько часов назад кричали сваленные в кучу их малыши. Третья осиротевшая мать кончила жизнь самоубийством, прыгнув с чердачной площадки в лестничный пролет. Она умирала в нескольких шагах от подвала, где на время «шварцевской» акции были спрятаны жена Кригера и его дети.

Полтва шумит...

Педагог и спортсмен Кригер, живя за оградой гетто, обучился слесарному ремеслу. Он был штукатуром, столяром, выглаживал металлическими стружками паркет во «дворце» Гжимека, работал монтером и прорабом, ему доводилось выполнять обязанности инженера-строителя. Собственными руками он построил не

один десяток бункеров для того, чтобы было где прятаться во время акций его знакомым и родным — старикам, женщинам и детям.

Но всякая новая акция и особенно последнее назначение Гжимека комендантом лагеря подсказывали Кригеру близость конца. Еще в юности он перестал верить раввинам и надеяться на бога и теперь не обольщал себя призрачными надеждами, авось пронесет... Чем меньше оставалось мирного населения в северных кварталах Львова, тем все неотвратимее приближался день, когда уже никакой бункер и самый надежный аусвайс не спасет. И вместе с тем Кригер верил, что наступит снова жизнь без гетто, без акций, без издевательств и преследований, подобная той короткой, но озаренной свободой и национальным равноправием жизни советского Львова, что длилась всего 22 месяца, и была внезапно оборвана фашистским вторжением.

Ради одного возвращения этой жизни стоило жить и переносить стиснув зубы неслыханные унижения. То, что случилось в Сталинграде, заря победы, взошедшая над далекой Волгой, помогали Кригеру в самые тяжелые минуты отчаяния и отгоняли мысли о смерти.

Он вышел сегодня осторожно из квартиры на улицу, предварительно запрятав в «бункере» жену и детей, и был очень удивлен, обнаружив на лужайке перед своим блоком трех незнакомцев. Все они были в серых комбинезонах, похожие на мастеровых, — рядом в чемоданчике находился инструмент. Они лежали на мураве и покуривали. Кригер так отвык от вида отдыхающих людей, не боящихся гестапо, что растерялся. Он снял кепку и сказал:

— Добрый день!

Все трое ответили кивками головы, а один из них, курчавый, с озорным вздернутым носом, повернул к Кригеру свое смешливое, веснущатое лицо и, щелкнув крышкой табакерки, сказал просто:

— Закуривай!

Кригер осторожно присел на корточки около лежащих и, оглядываясь, взял натруженными пальцами щепотку табаку. Кивнув благодарственно, он свернул цыгарку и, чтобы завязать разговор, спросил:

— Как же вас пустили сюда? Гетто закрыто для арийцев!

Небольшого роста крепыш в кепке, лежащий напротив курчавого, засмеялся и сказал:

— Каналовый щур* всюду пролезет. Ты его не пустишь в ворота, так он под землей проскользнет.

— Значит, вы из городской канализации! — догадался Кригер. И тут же вспомнил, что вчера Руперт докладывал Гжимеку о забитых мусором трубах канализации. Прочистить их сами живущие в гетто не могли. Гжимек распорядился вызвать специалистов из города. И единственным из жителей Львова — нееврев — «король» гетто выдал этим троим пропуска в свои владения.

Вскоре, разговорившись с гостями из города, Кригер узнал, что они предполагают поработать в гетто долго. Канализацию здесь не осматривали и не исправляли с того дня, как северные кварталы были обнесены деревянным забором.

Кудрявого веселого человека, который дал Кригеру закурить, звали Леопольдом Буженяком. Крепыш в клетчатой кепке носил фамилию Колендра, но охотнее всего откликался на свое имя — Антек. А бригадиром над этой троицей был самый спокойный и замкнутый, украинец Ярослав Коваль.

Его-то и повел Кригер в блок дома 49 по Полтвяной показывать, где перекрывается вода. Пока они проходили по балконам, Коваль обнаружил, что в одной из пустых квартир хлещет вода. Он прикрыл кран. Потом, пройдя по забрызганному полу в спальню, посмотрел на разорение и покачал головой.

— Давно увезли? — спросил он Кригера.

— В последнюю акцию.

— А ты чего ждешь? — спросил Коваль, глядя Кригеру прямо в глаза. — Или откупиться думаешь?

— Чем откупишься? — сказал Кригер грустно. — Вот весь мой капитал. — И он показал Ковалю свои ладони в шершавых мозолях.

— Тогда — вырывай, — сказал Коваль, оглядываясь. — Да я бы на твоем месте... Леса вокруг большие...

---

*Крыса.

Нотка сочувствия в голосе этого пожилого человека, первые сердечные слова, услышанные здесь за два года, расположили Кригера к пришельцу. И он просто открыл ему свою тайну:

— Жена и дети у меня спрятаны. С ними не так-то просто бежать.

— Да, — согласился Коваль, — это багаж.

И замолчал.

Вдвоем они отыскали и перекрыли ржавую баранку водопроводного крана и вышли на улицу. И тут Кригер упросил канализаторов принять его в их бригаду.

— Пока вы здесь, я буду помогать вам. Мне денег за это не надо. Я даром. Важно, чтобы вы Гжимеку сказали про меня. Тогда меня в город усылать не будут. Все ближе к детям и жене. В случае акции — помогу им! — умоляющим голосом просил Кригер.

К Гжимеку ходить не пришлось. Все было устроено через Руперта, и с этого полдня Кригер на правах специалиста и хорошего знатока канализации начал работать в бригаде Ярослава Коваля.

Они вытаскивали тряпки и прочий мусор из канализационных люков, закрывали воду в покинутых домах и в течение одного дня спустили большое озеро грязной воды, заливавшее уже край площади, так называемой «плацмузик», на которой Иосиф Гжимек иногда, чтобы разнообразить управление своим обреченным «королевством», вызывал сводный оркестр и дирижировал им, неизменно придерживая правой рукой автомат.

* * *

Никогда до этого раньше Игнатий Кригер и не представлял себе, каков круг обязанностей рабочих, называемых «каналяжами». Больше того, беженец из Лодзи в советский Львов, Игнатий Кригер, прожил в этом городе до немецкого вторжения 22 месяца и не знал, что под городом протекает самая настоящая подземная река — приток Западного Буга, воды которой впадают в Балтийское море. Если бы ему сказали об этом раньше — он рассмеялся бы. Занятый организацией спортивных состязаний, оборудованием стадионов,

теннисных кортов, рингов для встреч по боксу, он видел над собою то ясное, то туманное львовское небо и мало задумывался о том, что происходит у него под ногами, на глубине каких-нибудь четырех-пяти метров под каменным покровом мостовых. Только новые его знакомые — Коваль, Буженяк и Календра — открыли ему тайну существования во Львове подземной реки Полтвы, давшей название и его улице.

Еще в восемнадцатом веке, когда вокруг предместья средневекового Львова сохранялся пояс оборонных укреплений с каменными стенами, земляными валами и арсеналами, река Полтва протекала по городу открыто и являлась одним из естественных препятствий на пути у врагов, то и дело осаждавших город. Со временем, в связи с ростом города, ее постепенно замуровали.

В настоящее время эта маленькая речушка, начинаясь поблизости лесопарка Погулянки, протекает лишь несколько сот метров открыто, а дальше продолжает свое течение через весь город в железобетонном туннеле на север, до предместья Клепаров, вбирая в себя все сточные воды городской канализации.

Театр оперы и балета, замыкающий собою главную улицу города, некогда называвшуюся «Гетманскими валами», стоит как раз над туннелем Полтвы.

Но самое удивительное, что услышал Кригер от канализаторов, была весть о том, что туннелем Полтвы можно пройти свободно под всем городом, даже не нагибая головы — надо только иметь фонарик и хорошо ориентироваться в ее русле.

— А где кончается туннель? — осторожно спросил Кригер у Буженяка.

— Да вон за этим забором, — кивнул Буженяк в сторону северной окраины гетто. — Там стоит домик огородника, а за ним, шагах в тридцати, — выход из туннеля, и дальше через Замарстынов и Знесенье Полтва плывет открыто.

— За забором... — протянул Кригер. — Тут-то и загвоздка... Вот не будь забора...

— Для смелого человека никакой забор не страшен! — сказал Леопольд Буженяк и хитро подмигнул Кригеру зеленоватыми глазами.

Канализаторы ушли из гетто еще засветло, оставив

на квартире Кригера свой инструмент — тяжелые разводные ключи, зубила и молотки. Они ушли, а он, бедняга, растревоженный их простым рассказом о подземной реке, никак не мог уснуть. Хорошо им было бросаться словами: «Для смелого человека никакой забор не страшен!» Забор-то можно сломать — это верно, но ведь все знали, что с наступлением сумерек за этим плотным дощатым забором с двумя рядами колючей проволоки, натянутой поверху, дежурят либо патрули полиции, либо «аскеры» — навербованные из предателей родины власовцы, националисты калмыки, бандиты из бывших шаек Булак-Булаховича. На поводках у них собаки. Вот и сейчас, выйдя осторожно из квартиры на улицу, Кригер слышит тревожный лай овчарок, бегающих за деревянной стеной. Такая овчарка быстро учует беглеца, даже если хозяин ее заснет на траве, нахлеставшись самогона-бимбера, и, неровен час, на этот лай примчится с балкона виллы Гжимека острый синеватый лучик прожектора.

Кригер прислушивается к визгливому лаю овчарок, и в то же самое время слух его постепенно приковывается к другому. Под ногами у него явственно шумит Полтва. Она течет в каких-нибудь метрах трех-четырех от фасада дома, закованная в бетон, и Кригер жадно прислушивается к ее свободному журчанию.

Ведь это — журчание свободы!

Стоит попасть в ее канал—и человек спасен. Кригер уже знает, что от главного туннеля во все стороны города расходятся ответвления, или коллекторы. Протяженность одних бетонных каналов, сказал ему Буженяк, составляет свыше 14 километров. А кроме них есть каменные и кирпичные каналы то овальной, то круглой, то яйцевидной формы. Есть каналы 80 на 140 сантиметров, 150 на 230 сантиметров, а некоторые — и 305 на 225 сантиметров — куда просторнее тех бункеров, которые устраивал Кригер для своих знакомых.

Но как попасть туда, в этот подземный рай, где кончается царство Гжимека, Силлера и Вилльгауза?

Одержимый навязчивой мыслью о спасении, усиленной тревожным предчувствием гибели, Кригер, взглянув на звездное небо, лезет в подвал. Там, под

грудой прогнивших колес, им уже раньше был вырыт небольшой бункер для жены и детей.

Кригер достает лопатку и при тусклом свете восковой свечи роет убежище вглубь, держа курс на подземную реку. Приходится рыть полусогнувшись, на коленях. То и дело лопата скрежещет по кирпичу, с трудом выворачивает плотный бут, и после такого скрежета Кригер долго слушает — не идет ли кто, не обнаружили ли его кротовью работу. За углом, в этом же блоке, — «ваха» (караульное помещение полиции). Если подняться наверх, оттуда часто слышны глухие голоса полицаев. Они «режутся» от скуки в карты, пьют спирт «бонгу», делятся воспоминаниями о последней акции на «нелегальных», обогатившей не одного из них.

У Кригера болят колени, изредка похрустывает и ноет позвоночник, особенно когда он тащит на спине мешки с землей наверх и, поминутно останавливаясь, рассыпает ее в темном закоулке двора, за мусорным ящиком.

Он уходит из подвала на рассвете, чтобы поспать час-другой, и с восходом солнца возвращается снова в свою нору. Дети запрятаны в бункере под подоконником. Пепа спустилась с ним в подвал и караулит у выхода. Хорошо, что сегодня воскресенье. Гжимек, наверное, уехал с Валли Эльбенгрехт в ее имение за город, часть полицаев ушла строем молиться в собор святого Юра и слушать там проповеди униатского митрополита Шептицкого о том, что «большевики будут обязательно разгромлены», ну, а еврейские милиционеры, пользуясь отсутствием «короля» гетто, вместе со своим «генералом» Рупертом тоже, вероятно, отдыхают на траве «плацмузик».

Плохо, что землю выносить сразу нельзя. Кригер насыпает ее в бумажные и рогожные мешки, в старые юбки Пепы, сохраняет до ночи. Он роет без устали час, другой, третий, так, словно слышит позади себя дыхание гестаповцев. А вдруг еще сегодня вечером начнется очередная акция? Но жажда жизни побеждает страх, усталость, темноту.

Наконец, к вечеру лопата стукается в каменную трубу. За ней, за этой преградой, — река Полтва. Кригер слышит ее быстрый бег, кипение ее воды. Но от

течения реки его отделяют девяносто сантиметров железобетона, которого ни лопатой, ни киркой, ни ломиком так просто не пробить. Правда, он захватил с собою длинное зубило из ящичка с инструментами, что оставили ему рабочие канализации. Он высекает зубилом проворные искры, после каждого удара молотком зубило отскакивает, а в ушах раздается такой грохот, будто сотни кузнецов затеяли тут, под землей, состязание в ударах по наковальням. Бетон крошится очень плохо. Еще удар! Второй! Третий! Ноет в предплечье. Кригер полулежа ударяет по зубилу еще раз. Легкий хруст — и острый клинышек падает на сырую землю. Зубило сломано. Другого такого нет. В полном отчаянии человек с натруженными руками, пахнущий потом и влажной землей, с мозолями, натертыми до крови, выползает из глубокой норы. По выражению лица мужа Пепа сообразила: дело плохо...

Поутру, в понедельник, пришлось Кригеру оправдываться:

— Зубило ваше сломал, — сказал Кригер Буженяку, — хотел коляску сыну поправить и сломал...

— Интересно, для каких таких гуляний тебе коляска понадобилась, — отвечал Буженяк, разглядывая обломок зубила, — и, между прочим, на железе так зубило не сядет. Бункер строил? Поможет он тебе, как мертвому кадило. Вырывать отсюда надо, пока жив.

— А ты поможешь? — в упор спросил Кригер.

— За мной дело не станет, — сказал Буженяк неожиданно просто, — ты парень рабочий. А вот как другие — не знаю. Поговорим.

Луч правды

«Король» гетто просыпался очень рано. Если не выходил он к воротам провожать людей на работу, то все равно к моменту подъема на балконе его виллы вспыхивали прожектора, а дежурный вахмейстер освещал Гжимеку интересовавший его участок.

Еще раньше приходилось вставать «генералу» Руперту. Тучный рыжеватый страж порядка, в начищен-

ных до блеска сапогах-«англиках», в серой куртке, подбитой лисьим мехом, в форменной фуражке со значком «орднунгмилиц», даже в походке старался подражать своему повелителю.

В предрассветной тьме, выбрасывая вперед ноги, важный, нагловатый, уверенный в том, что гестаповцы сохранят ему жизнь, обходил Руперт улицу за улицей, освещал сильным электрическим фонариком тротуары и мостовые, давал указания дворникам, подымал музыкантов. Его скрипучий, казарменный голос задолго до поверки возвещал окончание ночи, и люди, услышав за окнами громкие шаги Руперта, поспешно одевались.

В то утро, когда Кригер с нетерпением поджидал прихода Буженяка и его товарищей, не зная, помогут ли они ему, или уклонятся от опасного, грозящего смертью дела, Руперт, проходя мимо тюрьмы по улице Вайсенгофа, обнаружил на стене углового дома, выходящего на улицу Шараневича, воззвание. Отпечатанное на стеклографе, оно было налеплено только что. Сероватый клейстер еще не успел присохнуть к штукатурке и стекал вниз вялыми струйками.

Освещая воззвание лучиком фонаря, почти вплотную прижимая к буквам рефлектор, Руперт прочел:

«К ПОСЛЕДНИМ ЕВРЕЯМ ЛЬВОВА!

В ночь с 18 на 19 апреля 1943 года евреи варшавского гетто взялись за оружие.

20 апреля все районы гетто уже были охвачены восстанием. Губернатор Фишер отложил празднование дня рождения Гитлера и объявил осадное положение.

С того знаменательного дня многие евреи Варшавы, взявшись за оружие, приобщились к великому сопротивлению народов Европы против фашизма и покрыли себя славой. И хотя многих из них уже нет в живых, знайте, каков ни будет итог восстания, лучше было поступить так, а не иначе. У евреев остался только один выход — вооруженная борьба с поработителями и истребителями нашего народа и всех подавляемых фашизмом народов мира.

Любой пошедший той дорогой, уничтожая врага даже перед лицом неминуемой смерти, должен чувствовать себя во сто крат лучше морально того, которого, как покорную, забитую скотину, ведут на расстрел.

И как ведут! Хитро разработанная система массового гипноза, устрашения и послушания приводит к тому, что зачастую двенадцать полицейских уничтожают тысячи человек обреченных, сталкивая их совершенно безвольными к самой могиле.

Тысячами и сотнями тысяч смертей мы расплачиваемся за ошибки наших духовных отцов, за поклонение фальшивым идолам, за то, что пытались разрешить еврейский вопрос отдельно от общего социального освобождения всех угнетенных.

Сотни тысяч молодых, способных носить оружие евреев сошли в могилу зря, не сделав ни одного выстрела в сторону своих убийц, и все потому, что они верили не тому, кому надо было верить.

Это горькая правда. От нее не скроешься. И чем скорее о ней узнают последние, оставшиеся в живых представители еврейского народа в Европе, тем яснее будет виден им выход из создавшегося положения.

Все могло, конечно, быть иначе, если бы нас с самого начала не предали раввины, сионисты, американская и английская буржуазия.

Говорят нам здесь, в крае, всякие утешители, что заграница якобы не знала и не знает о положении еврейского населения в Европе, о его физической экстерминации.

Это — ложь!

Еще в начале 1942 года подпольная радиостанция варшавского гетто отправила в Лондон шифрованную телеграмму такого содержания:

«Нам говорят, что вы, живущие за Ламаншем, не верите в то, что творится здесь. Но это все — подлинная правда, даже несколько преуменьшенная. И если вы действительно сочувствуете нам — немедленно настаивайте на ответных репрессиях по отношению к гитлеровцам в англо-сакских странах.

Никакие словесные протесты, расплывчатые политические меры, угрозы после войны покарать виновных в уничтожении мирного еврейского населения

не помогут. Эти половинчатые меры ни к чему не приведут и гитлеровцев не остановят.

Есть единственная мера, которая может спасти евреев Польши, — это немедленный ответный расстрел определенного количества захваченных союзниками немецких фашистов и официальное заявление правительств Англии и Америки о том, что если гитлеровцы не прекратят уничтожать евреев на оккупированных ими территориях, то и все остальные пойманные вами немецкие фашисты будут расстреляны.

В руках англичан и американцев — Рудольф Гесс, тысячи немецких диверсантов, агентов «пятой колонны», десятки пленных в Северной Африке немецких генералов. Пригрозите Гитлеру покарать их, и это будет куда полезнее тех слез, которые вы проливаете над нашей долей, и спасет нас от полного уничтожения. Действуйте!!!»

Но и этот призыв евреев Восточной Европы не был услышан ни в кварталах лондонского Сити, ни за океаном теми деятелями Уолл-стрита, которые в свое время тайно и явно помогали Гитлеру восстанавливать военную промышленность Германии.

Да и как могли американские капиталисты искренне заступиться за еврейское население Европы, когда у себя, за океаном, они культивируют жесточайшее преследование цветных, а также и евреев?

Разве не из этих зародышей расовой дискриминации вырастал мировой фашизм? Ему было у кого учиться и до прихода к власти Гитлера, ему было кому подражать!..

Но все же мы надеялись. Ведь ни у одного из народов нет столько родственников за океаном и особенно в Америке, как у еврейского населения Европы. В Белом доме Вашингтона заседает немало сенаторов евреев. Мы думали, что они, стоящие у руля государственной власти, нам помогут. Нам казалось, что евреи едины в своих стремлениях, что они представляют, как нас учили раввины, однородную социальную массу. Мы забыли в эти тяжкие минуты народных страданий, что есть евреи бедняки и евреи богачи и что независимо от своей национальной принадлежности богач, пресытившийся властью и деньгами, всегда будет глух к несчастьям бедноты.

С верою и надеждой в наших заморских земляков в январе 1943 года подпольные организации передали из бункеров варшавского гетто в Англию такое письмо:

«Братья! Последние евреи Польши, в самые страшные дни своего существования, кровью своих сердец пишут вам эти слова.

Мы истекаем кровью и сплачиваем ряды для решающего боя. Нас тысячами косит сыпной тиф, а вы ведете спокойную жизнь, укладываетесь спать после десяти и мечтаете о будущем. Неужели вы не поможете нам?»

Но и этот призыв остался без ответа. Мы ринулись в бой одни, преданные Америкой и Великобританией, поддержанные только Польской Рабочей Партией. И сейчас уцелевшие отряды храбрецов продолжают боевые традиции восставшего гетто польской столицы, уже не надеясь ни на кого больше, кроме как на себя и на Красную Армию, идущую с Востока.

По поручению последних защитников варшавского гетто, мы, посланные из Варшавы на связь к вам во львовское гетто, считаем своей обязанностью рассказать всю правду.

Беритесь за оружие! Добывайте его любыми способами. Обезвреживайте предателей в собственных рядах. Не верьте тем, кто все еще успокаивает вас надеждами на благополучный исход, внушает вам мысль о возможности мирного сожительства фашистов и евреев. Гитлер и его клика не остановятся в своих человеконенавистнических стремлениях. Тот, кто призывал вас рассчитывать на волю провидения, на то, что фашисты образумятся и сохранят вам жизнь, только помогает фашистам до последней минуты обманывать вас, а потом, забитых и оцепеневших от страха, сводить в могилу.

Спасение — только в ваших руках, в собственной организованности, ловкости и сообразительности. Ваши усилия надо соединять с усилиями всех борцов против фашизма. Учитесь мужеству у советских партизан, которые не растерялись в тяжелые дни 1941 года и сейчас успешно контролируют огромные лесные массивы и дороги в Белоруссии, под Брянском, на Украине. Прорывайтесь на соединение к советским партиза-

нам, к доблестной Красной Армии. Мы располагаем сведениями, что на Волыни действуют партизанские отряды Ковпака, Медведева, Орленко, Бегмы. Идите лесами на Восток, и вы встретите друзей, которые научат даже самых неопытных из вас, как мстить фашизму за все горе, которое он принес на эту землю.

Только с оружием в руках, уничтожая фашистов, вы сможете стать свободными людьми. Не давайте себя обмануть!

Группа Сопротивления во львовском гетто».

Руперт прочел листовку и оглянулся. Позади никого не было. Он потушил фонарик и острыми наманикюренными ногтями сорвал листовку со стены.

Через несколько минут Руперт вбежал в помещение штаба еврейской милиции и поднял всю свою команду. Он приказал милиционерам: живым или мертвым добыть того, кто расклеивает на домах гетто вот эти розовые листовки. Вполне возможно, гитлеровцы и не заметили бы некоторое время листовок, тем более, что они были напечатаны по-еврейски. Но усердие «генерала» принесло свои плоды.

В темной уличке Ордона один из милиционеров, в прошлом содержатель ресторана, Хаим Геллер задержал расклейщика листовок. Им оказался ученик девятого класса школы-десятилетки № 13 Гера Эльбаум. При нем, кроме пачки свежих листовок, обнаружили зашитый в рубашку комсомольский билет.

Милиционеры привели этого вихрастого паренька с мертвенно-бледными, запавшими щеками к вилле самого «короля» на Замарстыновскую. Руперт пошел докладывать.

Вполне возможно, что Гера Эльбаум расклеивал такие листовки по поручению руководителя группы Сопротивления во львовском гетто. Ее возглавлял старый коммунист, а в годы оккупации — член Польской Рабочей Партии М. Горовиц. Бывший узник польского концлагеря Береза Картузская, друг украинского писателя А. Гаврилюка, товарищ Горовиц и здесь показал себя настоящим пролетарским интернационалистом. Но, умирая в страшных мучениях, Гера

Эльбаум унес с собой в могилу тайну, кто именно направлял его действия.

...Многие из уходивших на работу в город узников гетто были весьма удивлены, не обнаружив у ворот, где играл оркестр, статной фигуры Гжимека с неизменным автоматом на груди. Они не знали, что «король» гетто в это утро занят расследованием более важного происшествия. История с листовками была известна только узкому кругу чинов «орднунгмилиц», которые гордились своим привилегированным положением немецких прислужников и, разумеется, умели держать язык за зубами.

В это утро 24 мая 1943 года удивлялся и Кригер, что Гжимек не соизволил явиться на поверку. Вместо него фамилии заключенных выкликал Руперт. То и дело в ответ на его громкий, скрипучий голос из рядов доносились несмелые выкрики:

— Умер на тифус!

Леопольд Буженяк

Дитя львовских предместий, он в юности теряет отца и мать и, оставшись сиротой, влачит бездомную жизнь, спускаясь все ниже и ниже на дно большого города.

Девять юношеских лет жизни он проводит под надзором полиции, меняя пристанище. Даже его жена Магдалина, после того как у них родилась дочь Стефания, вынуждена была крестить ее под своей фамилией. Мать и дочь годами не видят Леопольда Буженяка. Его бродячая жизнь кончается с приходом Красной Армии.

В эту богатую событиями осень 1939 года многие знакомые Буженяка наблюдают неожиданное изменение в биографии «батяра» Польди. Впервые в жизни он начинает работать. Выбирает себе тяжелую работу канализатора, выполняет ее честно, вызывая одобрение у новых руководителей Львовского водоканалтреста. Леопольд посещает вечернюю школу для взрослых. Уже его жена Магдалина и шестилетняя дочь Стефця без стеснения могут рассказать каждому, где работает Буженяк. Им не надо больше скрывать его от

полиции и ждать по ночам визитов ее «тайняков» — тайных агентов. Дочь вскоре получает фамилию отца.

Тружеником подземного хозяйства Львова Буженяк остается и во время немецкой оккупации.

* * *

Первое знакомство Кригера с бригадой канализаторов сменяется более близкими отношениями. За тяжелой и грязной работой Кригер и канализаторы узнают друг друга. Все более откровенными становятся их беседы. И хотя Буженяк обещал подумать, есть тема, которой пока боятся касаться и те и другие. Ведь каждого, кто даже согласится помочь бежать еврею, ждет смерть. Да и Кригер, опасаясь провокации, побаивается так сразу посвящать Буженяка и Коваля в свои планы. Ведь сколько предательства и шантажа вокруг!

Приход фашизма выплеснул наружу низменные инстинкты подлых людей. Целая фаланга тех лиц, кого называют отбросами, воспитанные пилсудчиками и украинскими фашистами подлецы подняли теперь голову и наживаются на крови выдаваемых ими гестапо евреев.

Известно всем во Львове, что за одного выданного еврея гестапо платит пять литров водки и до пяти тысяч злотых.

Но не потеряна еще окончательно вера в человеческое благородство. Кригер вторично просит Буженяка помочь. Он показывает место, где вырыта нора. Канализаторы переглядываются, мнутся. У каждого из них жены, дети. Согласиться — значит, подвергнуть смертельному риску не только себя, но и свою семью. Однако после небольшого раздумья Леопольд Буженяк первым решается помочь Кригеру.

Что заставило этого битого жизнью и еще так недавно отверженного человека сказать это трудное слово «да»? Вероятнее всего, чувство ненависти к фашистам, которые запоганили его родной город, поставили на его площадях виселицы, поприбивали повсюду оскорбительные, как удар кнута, надписи: «Нур фюр дейтше» — «Только для немцев». Давно созревшее со-

знание протеста, сознание того, что в беде очутились такие же, как он, простые и обездоленные люди, позвало Леопольда Буженяка и его товарищей на благородный подвиг, начатый коротким, но таким многозначительным словом «да».

Изнутри своей норы Кригер выстукивает место, где он находится. Подошедшие к нему по подземному руслу Полтвы канализаторы очерчивают это место мелом и начинают пробивать железобетон.

Восемь дней длится эта работа. Ее ведут с перерывами, с двух сторон. Люди, долбящие железобетон, после каждого удара ломом оглядываются, прислушиваются, не следит ли за ними гестапо.

На девятый день нора Кригера соединяется с отверстием пятьдесят сантиметров в диаметре.

Конец приближается

Во второй половине мая кто-то из служащих гестапо проболтнулся, что на 20 мая в гетто назначена акция. Слух проникает в северные кварталы Львова. Многие обитатели гетто в страхе перед акцией пытаются убегать, прячутся в бункера. Отчаяние охватывает всех.

19 мая на утреннем сборе по тревоге Гжимек опровергает этот слух. Он прилюдно дает слово чести немецкого офицера, что больше акций в гетто не будет. Он арестовывает лишь нескольких распространителей слухов, чтобы от них выведать фамилии болтунов из гестапо.

Действительно, день и ночь 20 мая проходят сравнительно спокойно, но зато утром 21-го Гжимек вдвоем с комиссаром гестапо по делам евреев Ленартом, выйдя к воротам, отбирают из числа идущих на работу полторы тысячи человек. Тут же Гжимек дает отобранным второе слово чести, что ничего им не грозит. Просто люди отобраны на сельскохозяйственные работы, на окучивание картофеля; они пробудут там месяц, а затем живехоньки возвратятся в гетто...

В тот же самый день эти полторы тысячи человек были расстреляны в долине за Яновским лагерем, в нескольких километрах от гетто.

Весть о расстреле вечером проникает в гетто. Также становится известно, что гестаповцы ликвидировали гетто в местечках и городах Львовской области: в Рудках, Щирце, Золочеве, Жовкве, Каменке-Струмиловой, Сокале, Бусске, Бродах, Ярычеве, Перемышлянах, Глинянах, Великих Мостах, Бобрке, Судовой Вишне, Городке, Янове, Мостисске, Яворове и Комарно близ Самбора.

Последние шесть-восемь тысяч обреченных, оставшиеся во львовском гетто, все еще не знают, что вот уже несколько недель бушует восстание варшавского гетто. Его узники — варшавские евреи — с оружием в руках храбро сражаются с целыми немецкими дивизиями, отражают атаки гитлеровцев и под бомбами немецкой авиации дорого отдают свою жизнь, уничтожая в уличных боях сотни отборных эсэсовцев. Кто знает, если бы история восстания варшавского гетто своевременно была известна во Львове, если бы Руперт не сорвал листовку, возможно, и люди львовского гетто вышли бы на смерть с оружием в руках...

После ареста Геры Эльбаума неоднократные попытки установить связь с партизанскими отрядами, которые, судя по слухам, оперировали в лесах поблизости Львова, не принесли никакого успеха. Связи с волей не было. Бежать же наугад в леса прибитые и одураченные Гжимеком люди не решались. К тому же в гетто все еще действовали и свои собственные утешители, убеждающие всех, что несчастье послано от бога, что надо терпеть и повиноваться, что искупление страдания и полная свобода придут лишь в загробном мире.

Блюститель чистоты и порядка, любитель клумб и крови, Гжимек по секретным оперативным сводкам отлично знал о событиях в Варшаве. Он боялся своих подданных и делал все, чтобы усыпить их настороженность.

Иосиф Гжимек поспешно ликвидирует свою квартиру на Замарстыновской, перевозит вещи в город, а тридцатого мая неожиданно, по его же замыслу, в гетто устраивается торжественное театральное представление. «Выступит джаз-оркестр, состоится представление — ревю, будут исполняться самые модные

песенки в сопровождении оркестра», — так сообщают афиши.

Но мало кто из завтрашних смертников идет покупать билеты на представление в красном доме на улице Кушевича, где назначен чудовищный спектакль на крови.

Все чуют, что наступает конец гетто, что их часы сочтены.

Жена и дети Кригера спят теперь в подвале, возле спасительной дыры. В одиннадцать часов вечера первого июня в подвал вбегает сосед и шепчет:

— Во двор заехали машины с гестаповцами!

Жена Кригера будит детей, поспешно одевает их. Ближе к полуночи — новая весть. Из города прибыли офицеры гестапо Ленарт, Вурм и сам Бено Паппе. Вместе с Гжимеком они отдают последние приказания на дворе в каких-либо сорока метрах от подвала, где прячется семья Кригера. Через узкую дыру Игнатий Кригер вместе с детьми и женой вчетвером спускаются в канал Полтвы. За ними бросаются туда еще несколько человек, посвященных в тайну подземного хода.

Вскоре наверху гремят первые выстрелы. Они отдаются в туннеле таким грохотом, что сперва проносится ложный слух: немцы из артиллерии обстреливают Полтву.

Тем временем люди, застигнутые акцией там, наверху, посреди ночи бросаются в разные стороны из своих жилищ. Часть из них проникает под забором за территорию гетто и тоже скрывается в канале Полтвы, пробираясь в него через главный выход, по которому река вырывается наружу. Вот почему вскоре к семье Кригеров и к другим несчастным, спустившимся в туннель через нору из подвала дома на Полтвяной, 49, присоединились еще несколько . сот человек. Просидев в духоте, в грязи и без пищи двое суток, эти люди стали небольшими партиями пробиваться наружу, к истокам Полтвы. Там, в пригородных лесах за Погулянкой, многих из них застрелили гитлеровские солдаты.

Уже второго июня около семьи Кригеров появились Буженяк с Колендрой и предупредили, чтобы те при-

готовились к перемене убежища. Канализаторы рассказывали, что акция в гетто продолжается — там убийства, стрельба и пожары. Третьего июня канализаторы переводят семью Кригеров и с ними еще семнадцать человек в другое место.

Люди бредут полусогнувшись, по колени в грязной воде.

Наконец, все видят, как из поперечного канала на высоте пяти метров вырывается каскад воды. Туда надо лезть. Цепляясь за скользкие скобы, люди лезут навстречу мутному потоку. Взрослые взбираются сами и тащат вверх замерзших, перепуганных детей. Еще немного ползком по отводной трубе и, наконец, — новое убежище. Это более просторный, но очень сырой канал. По дну его течет вода. Люди усаживаются на камнях мокрые, жмутся друг к другу. На коленях — дети. Мимо шныряют крысы.

В таком положении беглецов застало подземное утро в убежище под костелом Марии Снежной, неподалеку от оперного театра.

Где-то наверху был свет, жизнь. Там стояли высокие дома с солнечными бликами на прозрачных стеклах. Там были прохожие, чистая вода, бьющая из любого водопроводного крана. Сколько угодно воды! Стоило проползти немного до ближайшего выводного люка вверх по скобам, поднять крышку — и все это было бы так доступно! Можно было бы зажмурить глаза от внезапно хлынувшего солнца, досыта наглотаться весеннего, свежего, незловонного воздуха. Но люди, добровольно присудившие себя к тягчайшему заключению, не делали этого.

Тут было темно и страшно, крысы прыгали по ногам, но зато не было гестапо. Ужас фашизма остался наверху, там, где взрывали и поджигали дома, где целые этажи, поднятые в воздух толовыми, пироксилиновыми шашками, засыпали живых людей.

Вскоре из темноты, кружа перед собой фонариками, приползли Буженяк и Коваль. В портфелях, которые они принесли в зубах, были хлеб, колбаса и литр водки. Дочка часового мастера из местечка Турки над Стрыем Галина Винд разделила пищу на равные части.

Вести с воли

Вести с воли, со света, были неутешительны. Ликвидация гетто продолжалась. Среди выстрелов, криков и воплей отчаяния горели дома, нарочно облитые бензином и подожженные бутылками с горючей смесью.

Попутно с ликвидацией львовского гетто гестаповцы в одно июньское утро подняли по тревоге всех обитателей Яновского лагеря смерти. Рокот заведенных пустых машин, стоявших неподалеку, открыл заключенным истинный смысл столь раннего подъема. Небольшая группа узников бросилась к ограде, чтобы прорваться на волю. За ними побежали к колючей проволоке и остальные. Тогда «шупо» из оцепления стали забрасывать смертников ручными гранатами. Узники перехватывали гранаты на лету и швыряли их обратно. Такими возвращенными гранатами было убито семь и ранено свыше пятнадцати гестаповцев.

Никто из львовян так ничего и не узнал об этом последнем, предсмертном сопротивлении заключенных Яновского лагеря. Лишь спустя четыре года, в июне 1947 года, о нем сообщил на допросе в замарстыновской тюрьме пойманный нашими войсками один из пляйтеров 4-го отдела гестапо дистрикта Галиция Питер Кристиан Крауз, в прошлом начальник гамбургского гестапо.

* * *

В эти тихие июньские ночи 1943 года весь Львов больше недели слышал предсмертные крики убиваемых, разрывы гранат, короткие очереди автоматов.

...И почти ежедневно в эти дни Фриц Кацман и его ближайшие сотрудники по уничтожению еврейского населения сносились по прямому проводу с Берлином, докладывая о ходе акции.

Устные и письменные донесения из дистрикта Галиция принимал в Берлине главный специалист по еврейскому вопросу, доверенное лицо Гитлера и начальника РСХА (имперской полиции безопасности) Кальтенбруннера Адольф Эйхман.

Запомните должность и фамилию этого людоеда, пойманного совсем недавно в Аргентине!

Это именно ему, начальнику IV-А-4-Б отдела гестапо, было поручено заведовать судьбами миллионов и как можно скорее выполнить приказ Гитлера, начинающийся словами: «Фюрер приказал окончательно разрешить еврейский вопрос»...

И Адольф Эйхман из кожи лез, чтобы повсюду — в Словакии, Греции, Венгрии, Польше и на Украине не осталось в живых ни одного еврея. Ему помогали в этом все: давний его приятель по Австрии, губернатор дистрикта Галиция штандартенфюрер СС Отто Вехтер и гитлеровские пропагандисты в Берлине...

В газете за седьмое июня 1943 года была напечатана речь Геббельса в Спортпаласе. Геббельс говорил: «Полное изгнание из Европы еврейских элементов вызвано не столько моральными побуждениями, сколько соображениями государственной безопасности».

...Когда беглецы при свете единственной свечи читали эти строки в приносимых их спасителями газетах, они понимали, что здесь, в темноте подземелья, больше надежды на волю, чем наверху.

В своих сообщениях с фронтов гитлеровцы хвастались, что победоносно сдерживают напор большевиков на линии Кубани, Изюма, Харькова, Барвенково, Белгорода, Орла. Какими тогда далекими от Львова казались эти районы боев! Сколько сотен километров предстояло еще пройти Красной Армии, чтобы достигнуть львовской земли! И все же как велика была вера в помощь с Востока, если она могла поддерживать у детей и взрослых силу и желание перенести такие условия, каких не знала еще ни одна тюрьма средневековья.

Поднимая как можно выше ноги, чтобы оторвать их от воды, беглецы часами сидели молча в полудреме. Они понемногу оправлялись от ужаса, который преследовал их последние недели.

Издалека, как из страшного царства, донесся звук колокольчика и затем церковное пение. Сперва звуки показались многим слуховой галлюцинацией. Они то приближались, то уплывали вдаль.

Начали вспоминать, какой день сегодня. Оказалось, католики празднуют день «божьего тела». Звуки, которые долетали в подземелье, были пением молящихся в костеле Марии Снежной.

Пить хочется

Всех мучила жажда.

Первыми на поиски воды поползли Игнатий Кригер и слесарь из Лодзи Берестецкий. Буженяк сказал им, что на Галицкой улице под артезианским колодцем лопнула водопроводная труба. Они поползли к ней круглым отводным каналом (семидесяти пяти сантиметров в ширину) через всю Краковскую улицу, площадь Рынок и до угла Галицкой, пересекая таким образом под землей почти весь центр Львова.

Вот, наконец, и перекресток на углу Галицкой. Медленно, капля за каплей, стекает сверху чистая вода. Кригер и Берестецкий приставили к лопнувшей трубе чайник и долго ждали, пока наполнится он холодной, драгоценной водой. Обратный путь был еще труднее. Тяжелый чайник пришлось тащить то одному, то другому в зубах.

Принесенной воды хватило по трети стакана на человека. Экспедиции за водой приходилось посылать два-три раза в день.

Надо было устраиваться на камнях попрочнее. Группа мужчин, возглавляемая львовским парикмахером, которого за сдвинутый набекрень берет и пестрый пиджак все прозвали «Корсаром», отправляется в дальнюю дорогу. Они ползут под Цыбульную улицу, к месту первого пристанища, где были оставлены ими мелкие предметы бытового обихода.

За несколько дней до них там побывало гестапо. Живых беглецов гестаповцы вытащили, а трупы тех евреев, которые приняли в последнюю минуту цианистый калий, оставили под землей, предварительно опустошив их карманы. «Корсар» и его спутники при свете электрических фонариков увидели обглоданные крысами останки своих недавних соседей по убежищу. Они забирают чайники, кастрюльки и ползут обратно.

Вторая «экспедиция» отправляется еще дальше, в пасть волка — в гетто. Что повело беглецов в такой дальний, рискованный путь? Простые житейские надобности: не было чем укрыть детей, хотелось разогревать на огне пищу.

Четверо мужчин под водительством «Корсара» и с

ними вместе восемнадцатилетняя Рузя Бойтель подползают каналами к той самой норе, которой спустились они под землю. Они на цыпочках среди бела дня выходят из подвала на волю, пробираются в четырнадцатый барак, уже опустевший, и забирают в нем все то, что не успели еще взять гестаповцы. Поодаль видят горящие дома, слышат короткие автоматные очереди: акция еще продолжается. В дыму пожаров гитлеровцы выволакивают из самых сокровенных тайников последних обитателей гетто.

После нескольких вылазок в гетто «Корсар» и его спутники приносят в канал под костелом Марии Снежной два одеяла, примус, немного муки, масла и крупу. Однажды их заметили гитлеровцы, открыли издали стрельбу. Всем, однако, удалось благополучно скрыться в канале.

В пятницу девятого июня братья Исаак и Хаскель Оренбах и шурин Кригера, бывший технический руководитель львовского завода «Лакокраска» инженер Якуб Лайванд пошли по воду. Казалось, ничто не предвещало несчастья, лишь для многих было странным, что из канала вдруг исчезли все крысы.

Имей беглецы возможность выглянуть на волю, они, разумеется, заметили бы, что небо затянулось густыми темно-свинцовыми тучами. Но люди, ползущие в темноте, изредка пробиваемой лучом фонарика, не знали того, что происходит наверху. Потому половодье захватило их внезапно.

И без того глубокая Полтва начала быстро наполняться. Вода сразу залила боковые тротуары, стала прибывать, грозя достигнуть потолка основного канала. Водоносы бросились к боковым коллекторам, полезли вверх по скобам. Лайванд не успел. Он оступился — и Полтва забрала его.

В это время застигнутые врасплох половодьем обитатели канала под костелом Марии Снежной, спасаясь от прибывающей воды, стояли полусогнувшись уже на камнях, подпирали спинами мокрые своды трубы.

Как и всякая июньская гроза, и эта прошла быстро. Когда же вода спала и побитые, с ушибами, братья Оренбах вернулись, все узнали, как погиб инженер Лайванд.

Спустя несколько дней четверо мужчин снова по-

ползли по направлению к гетто. Когда они выползли из канала, их застрелили гестаповцы.

Через два дня после гибели четырех мужчин молодые девушки Рузя, Гета и Регина, а вместе с ними некий Лернер сказали, что не могут больше выдержать жизни в подземелье и хотят выйти наверх.

— Детей у нас нет и родных тоже. Беречь нам некого, — сказала Рузя Бойтель. — Быть может, нам повезет — пробьемся к партизанам, достанем оружие. Уж лучше мы в бою погибнем там, на солнце, чем сгнием здесь, в темноте.

Им дали продуктов, немного денег, и провожатый «Корсар» вывел всех четверых к устью Полтвы на Погулянку.

Открыты!

Кончался первый месяц подземной жизни одиннадцати беглецов. Может быть, и дальше оставались бы они в канале под костелом, если бы в конце июня через люк, открывшийся внезапно метрах в двадцати от убежища, в канал не спустились контролеры городской канализации. Первый из них, спустившийся по скобам вниз, чиркнул зажигалкой. При ее тусклом, неверном свете ревизор увидел подвешенные к своду канала ботинки и детскую рубашку. Эти признаки человеческой жизни в грязном подземелье ошеломили ревизора. Крикнув что-то своим спутникам, он поспешно полез вверх.

Одиннадцать беглецов слышали, как стукнула о гнездо люка решетка. К ним доносились встревоженные голоса ревизоров. Любую минуту они могли вернуться с карбидовыми лампами, с пистолетами, а быть может, и с гестаповцами.

Кригер хватает полуголых детей, мужчины помогают женщинам. У всех одно стремление — поскорее выбраться из этого разоблаченного убежища. Второпях все забывают в канале под костелом вещи, которые с таким трудом им достались, вещи, цена которым равна под землей золоту: примус, одеяла, чайник, продукты.

Первой пробирается в полутьме канала семья Кри-

геров. За ними ползут остальные. Они попадают в очень неудобную трубу с конусным дном. Ноги скользят, выворачиваются. Стенки трубы, соединяющиеся почти под острым углом, словно капкан, ловят каблуки туфель и ботинок. Жена Кригера падает, подбивает мужа, тяжестью своего тела придавив ему ноги.

Упавшие запрудили собою течение — вода подымается, заливая идущих позади. Дети кричат. Пепа Кригер плачет. В такие минуты любой ощущает уже холодное прикосновение смерти. И в это мгновение, словно по уговору, из темноты выплывает далекий огонек. Идущий время от времени очерчивает нимбы перед собой. Маленький Пава видит опознавательный сигнал Леопольда Буженяка и, забыв об осторожности, плачущим, звенящим голоском кричит:

— Польденька! Спасай!

Леопольд Буженяк слышит вопль мальчика, с которым он, человек, любящий детей, уже успел подружиться. Буженяк бросается на помощь. Он вытягивает из воды упавших и, пока суть да дело, прячет всех в заброшенной, но очень тесной трубе, едва достигающей полуметра ширины.

Целую ночь полуголые и босые, без теплой одежды, беглецы ютились на сырых камнях. Тем временем Буженяк и Колендра, шныряя под городом по знакомым им каналам, подыскивали для своих подопечных новое, более надежное убежище.

Под монастырем Бернардинов

Тяжелой, но безопасной дорогой Буженяк ведет беглецов в старый каменный канал, расположенный под монастырем ордена Бернардинов. Не только женщины, но подчас и мужчины застревают в узких переходах, в изгибах коллекторов. Буженяк подползает к ним, протягивает сильную руку, тащит их на себя.

Старый каменный канал расположен буквой «Т» под главным входом в монастырь ордена Бернардинов. Несколько сот лет назад он служил не то погребом, не то тюрьмой. Его протяженность восемнадцать метров, ширина восемьдесят пять сантиметров, высота один метр двадцать сантиметров.

Переправив сюда беглецов, Буженяк принес им не-

сколько мокрых досок. Доски настелили чуть повыше протекающей воды. Впервые за пять недель пребывания под землей издерганные, затравленные люди рухнули в мокрой одежде на доски и уснули в горизонтальном положении.

Буженяк притащил беглецам карбидовую лампу, потом примус и другие предметы домашнего обихода.

Отчаянным оказался он человеком. Надоело ему таскать в зубах мешочки и портфели с картошкой. Какому-то крестьянину пригородного села удается прорваться в город, благополучно миновав все кордоны гестаповцев. Леопольд Буженяк замечает в городе эту подводу, груженную мешками с картофелем, и договаривается с крестьянином. Подвода заезжает во двор дома на Валовой. Обрадованный быстрой сделкой, крестьянин великодушно предлагает снести картофель наверх, хозяйке. «Сваливай на землю, — требует Буженяк, — пускай старая холера сама себе носит!» Куча картофеля в двести килограммов вырастает на дворе.

Не успела еще пустая подвода завернуть в соседнюю улицу, как Леопольд Буженяк и Коваль, открыв люк канализации во дворе, сыпят лопатами вниз картошку. На балкон четвертого этажа выходит любопытный обитатель дома в утреннем халате. Он всматривается в работу канализаторов и кричит им: «Вы ошалели, дураки? Зачем картошку выбрасываете?» — «Не волнуйся, она гнилая и проросла вся. Не видишь разве?» — отвечает Буженяк.

И лишь когда убрана последняя картофелина, они захлопывают крышку люка, чтобы поскорее спуститься вниз и задать работу подземным пленникам. Не менее двух десятков раз придется теперь обернуться Кригеру и его товарищам, прежде чем вся картошка будет перенесена в канал под Бернардинским монастырем.

Ничто не пропало под землей напрасно, даже перегорелый карбид. Его насыпали в мешок и заткнули такой необычной пробкой люк, ведущий на волю. Когда люк закрыт, под землей можно громко разговаривать и даже петь вполголоса. Беглецы вспоминают советские песни, слышанные ими за те двадцать два месяца, когда Львов был советским.

Взрослые и дети поют любимую «Катюшу», «Летят самолеты, сидят в них пилоты» и, разумеется, одну из самых любимых песен львовян, особенно привившуюся в городе, — «Песню про Москву». Узники, быть может, самой страшной тюрьмы на свете поют разными голосами тихо и взволнованно: «Москва моя, страна моя, ты самая любимая!» Песня трогает всех до слез, потому что любое ее слово переплетено с единственной надеждой на Москву. Откуда же больше ждать помощи? Родные, близкие, знакомые, те, что когда-то жили наверху, убиты.

Беглецы, загнанные в темноту, перебирают в памяти всех дальних родственников, которые живут в Америке, в Палестине, в Англии. В самом лучшем положении Галина — дочь часового мастера из местечка Турки. Ее родной брат живет в Америке. Он хорошо учился когда-то во Львовском университете, но вынужден был покинуть Львов в ноябре 1938 года после того, как польские студенты — «эндеки» зверски избили его в одной из аудиторий старинного университета. Галина Винд отлично помнит адрес американского брата.

Но Галина не могла знать тогда, что брат не сможет помочь сестре оттуда, из далекой заокеанской страны, где уже зреют семена нового американского фашизма.

...Течение времени почти незаметно. Люди потеряли бы счет дням, если бы не вести с воли, которые приносили Буженяк, Колендра и Коваль. Изредка, чтобы побаловать детей, Буженяк приносит им в портфеле то землянику, то черешни. Надо было видеть, какую радость доставляли ребятишкам эти вестники лета, занесенные в мрачный и темный мир.

Однажды хладнокровие Коваля спасает всех беглецов от неминуемого провала. На улице Романовича — очень удобный спуск в подземелья Львова. И до Бернардинского монастыря оттуда недалеко. Вот почему несколько раз Коваль именно здесь опускал под землю Буженяка и Колендру, нагруженных припасами. Коваль не знал, что агент гестапо, ведущий наблюдение за улицей сквозь жалюзи из квартиры углового дома,

заметил набитые портфели в руках у канализаторов. В следующий раз, не успел Коваль закрыть крышку люка за ними, как агент выскочил на улицу, показал свой значок и спросил: «Что они понесли туда, в канал?»

Коваль спокойно улыбнулся и сказал:

— Спустись и посмотри!

Такое предложение не очень улыбнулось гестаповскому шпику. Он повертелся, повертелся и скрылся. Чтобы сбить его с толку, Коваль вскочил в проходивший по улице трамвай, проехал несколько остановок, затем пересел на следующий, пока, наконец, не убедился, что за ним не следят. Он пробрался в канал через другой люк и предупредил товарищей, что отныне спуск и выход на улице Романовича для них должны быть закрыты.

Еще тяжелее стало доставлять продукты беглецам. Нагрузив дома портфели едой, канализаторы проникали под землю поодиночке из разных районов города.

Прежде чем собраться вместе под монастырем Бернардинов, им приходилось проползти под землей не один километр. Они чувствуют за собой слежку гестапо. Надо теперь продумывать заранее любой свой шаг, надо проявлять как можно больше осторожности. Часто то один, то другой из них, переодетый дома в чистое, уходя в город, не может миновать монастырь Бернардинов. Там, внизу, на глубине четырех метров, сидят скорчившись в темноте, в сырости их подопечные.

Канализаторы, проходя тротуарами по Бернардинской площади, косят глазами на сливающуюся с булыжниками квадратную чугунную решетку сточного люка. Через ее пазы вниз поступает вода и воздух. Но сквозь эту же решетку могут вырваться на волю и голоса беглецов. Их спасители не замечают ни уличного шума, не слышат звонков пробегающих трамваев. Их слух направлен в сторону чугунных решеток, заделанных в мостовую вокруг монастырской площади. Канализаторы втягивают в себя носом воздух, стараясь определить, не доносятся ли из старинного канала запахи пищи...

Выпал снег

Вслед за дождливой осенью наступают холода, и первый мягкий снег неслышно ложится на крутые улочки Львова, на башни его цитадели, где томятся советские военнопленные. Снег засыпает «долину смерти» за Яновским лагерем с озерами крови, оставшейся тут после расстрелов.

Легкий морозец. Снег скрипит под ногами прохожих, под деревянными подошвами французских и итальянских пленных, которых по утрам гестаповцы прогоняют из цитадели через весь город мостить дороги.

Первый снег последней зимы гитлеровской оккупации скрипит под сапогами идущих на работу Коваля, Буженяка и Колендры. Каково-то там внизу беглецам из гетто?

В сумраке зимнего утра, на разветвлении мостовых, канализаторы замечают очертания подземного канала. Он ясно выделяется буквой «Т». Снега на булыжниках мостовой над каналом нет. Булыжники голые и черноватые, как летом. Снег стаял ночью потому, что теплота, образовавшаяся в узком и обжитом людьми канале, теплота людских тел, теплота от примуса и карбидовой лампы, пробилась наружу сквозь четыре метра земляного покрова и нагрела булыжник.

А вдруг какой-нибудь не в меру наблюдательный гестаповец станет доискиваться причины появления лысины на мостовой? Канализаторы берут у дворника соседнего дома лопаты. Под видом того, что им нужно предохранить решетки от вмерзания в мостовую, они мимоходом засыпают черные полосы снегом.

Огни навстречу

Не чуя опасности, люди, сидящие под землей, собираются в очередное путешествие за водой. Чтобы несколько разнообразить маршрут, сегодня они идут с чайником и кастрюльками в канал под Цыбульной улицей. В том канале, ставшем кладбищем для многих несчастных, предусмотрительный Буженяк, еще за несколько дней до того, как запылало гетто, про-

сверлил водопроводную трубу и ввернул в дыру медный кран.

Дорога под Цыбульную улицу хотя и далека, зато окупается тем, что воду здесь набирают не капельками, как под Галицкой улицей. Тут вода хлещет в чайник тугой струей. Пока он наполнится, водонос не успевает даже как следует почувствовать трупный запах, все еще идущий из темного и затхлого канала.

Игнатий Кригер, «Корсар» и другие мужчины бредут по бетонным и узким тротуарам, проложенным вдоль русла реки. Унося грязь большого города, шумит внизу ворчливая Полтва. Водоносы не знают, что на воле выпал снег, что, сверх ожиданий, его появление может разоблачить их убежище.

Не знают люди, бредущие по течению быстрой реки, еще и того, что вчера под решеткой одного из сточных люков найден исколотый ножами труп гитлеровского полицейского. Это один из тех полицейских, которые сколотили себе целое состояние во время акций во Львове. Люди, намеченные к истреблению, пытались откупиться от него последними деньгами, драгоценностями. Он брал взятки, а через час возвращался обратно в квартиру приканчивать поверивших ему людей. Богатство полицейского соблазнило некоторых его коллег, и они с помощью любовницы прикончили полицейского и сбросили его изуродованный труп в канализацию.

Гестапо не собиралось искать действительных убийц. «Кто мог убить полицейского? — решают высокие чины гестапо в управлении дистрикта Галиция. — Конечно, евреи или коммунисты». Сам бригаденфюрер СС генерал-майор полиции Тир приказывает осмотреть городскую канализацию.

...Игнатий Кригер и другие водоносы спокойно бредут по главному каналу. Своды его довольно высоки. Хоть на время можно расправить плечи, почувствовать себя человеком, а не ползучим кротом.

В далеком туннеле, где Полтва сворачивает влево, вспыхивает яркий рефлектор сильного электрического фонаря. Кригер инстинктивно отвечает, пуская навстречу лучик своего фонарика. И в то же мгновение свет у поворота гаснет. Ни звука, ни окрика, лишь однообразно шумит и клокочет Полтва. Там, метрах

в двухстах выше по ее течению, возможна засада, неизвестные люди, испуганные и не желающие встречи, либо враги. А может, это канализаторы бредут по главному каналу? Но почему же тогда нет условного знака встречи? Почему Буженяк не покружит фонарем над головой, как сцепщик на железнодорожных путях, дающий знать машинисту, что можно трогать?

Чуя неладное, Кригер предлагает повернуть. Не зажигая фонарей, они бредут в густой темноте наощупь, по звуку, и шестым чувством определяют, где панель прерывается. Они наугад перепрыгивают предательские ловушки. Маленькое неосторожное движение, скольжение мокрого ботинка — и человек в реке. Она завертит его, перебросит, повлечет по скользкому дну до первого отводного канала, уходящего под землю. И куда же они бредут впотьмах? К выходу Полтвы, сразу же за развалинами гетто. Но ведь там до сих пор, памятуя июньские дни, появляются бродячие гестаповские патрули...

Резкий огонь нового фонарика вспыхивает на их пути. Первая мысль — облава. Зажаты с двух сторон. Но что это? Наткнувшись на прижавшихся к стене людей, фонарик поворачивается в руках у своего хозяина и описывает один круг, второй, третий. Спасительные круги пробуждают надежду. Снова Буженяк и его товарищи подоспели вовремя! В руках Буженяка котелок мятого снега. Он несет его под землю мальчику, чтобы он не позабыл вид снега. Леопольд говорит об этом Кригеру, но тот, прерывая Буженяка, сообщает о таинственном огне, вспыхнувшем на их пути. Буженяк гасит фонарь. Он ведет беглецов назад, велит им лезть как можно дальше в боковую дыру и сидеть там тихо в грязи, в воде, пока он не придет и не вытащит их обратно.

Засада гестапо

Водоносы запрятались. Буженяк и его спутники, освещая себе пути фонарями, идут к повороту. Все ближе и ближе поворот. Видны уже белые барашки на воде, где река выплывает из-за изгиба туннеля. Блуждают круглые пятнышки прожекторов на влажных бе-

тонных сводах канала. Резкий окрик: «Хальт!» Дула автоматов наведены на Буженяка.

В гаснущих лучах фонарей Буженяк видит «мертвые головы» на фуражках немцев. Засада гестапо! Кожаные черные плащи гитлеровцев сливаются с мутной рекой. В глаза канализаторам бьют острые лучи сильных гестаповских фонарей, длинных и толстых, как полицейские дубинки. Свет фонарей назойлив. Гестаповцы хотят проникнуть под форменные куртки канализаторов, рассмотреть их мысли, их душу. «А что было бы, — думает Буженяк, — если бы я не отдал Кригеру портфели и снег? Крышка!»

— Почему вы повернули обратно? Почему копались так долго? — кричит офицер.

— Мы боялись идти вдвоем, господин оберштурмфюрер, — явно льстит шарффюреру СС Буженяк. — Мы думали, а может, это, не дай бог, какие-нибудь партизаны забрели сюда? Позвали третьего на подмогу.

...Шарффюрер долго и пристально разглядывает Леопольда Буженяка. Гестаповец хочет проверить, врет ли канализатор или говорит правду. Наконец, задав ему еще несколько вопросов, он отпускает всех троих восвояси. Их провожают вдоль канала лучи фонарей. Канализаторы бредут медленно, силясь ничем не выдать своего волнения и ожидая выстрела в спину.

Рождение человека

Долго придется еще пролежать Кригеру и его друзьям на вонючей грязи в тесном канале, пока вернутся за ними канализаторы. Снег в котелке, согретый дыханием людей, еще раз спасшихся от смерти, успевает растаять. Кригер прикладывает котелок к губам и с удовольствием пьет талую снежную воду. Она напоминает ему весну. Снежная вода — весточка оттуда, из запретного мира, который пришлось покинуть. Доведется ли когда-нибудь еще увидеть его снова, еще раз поглядеть на солнце?

С каким нетерпением ждут возвращения Кригера женщины, оставшиеся под костелом Бернардинов!

Сейчас обнаружилось, отчего такой странной была все последние недели одна из подземных узниц — Геня. Она старалась отвернуться всякий раз, когда на нее падал луч фонарика, часто плакала, забившись в самый далекий край канала, тяжело вздыхала и кричала сквозь сон. Думали, что ее растущая тревога, слезы — это тоска по мужу, который погиб вместе с другими тремя, вышедшими из канала.

Сейчас же все узнают в тихом стоне Гени, в ее конвульсиях самые обычные родовые схватки. Стоны все громче и громче. Какая-то из женщин проползает мимо роженицы на край настила и затыкает мешком отводной люк, чтобы крики Гени не проникли на улицу. Есть один человек, который мог бы оказать помощь роженице. Это — Кригер. Фельдшер-самоучка, он пользуется тут, под землей, большим медицинским авторитетом.

Измазанный, уставший, едва оставшийся сам в живых, он поспел вовремя, чтобы сразу же помочь рождению человека.

Было бы неправдой утверждать, что обитатели канала под монастырем Бернардинов обрадовались вести о появлении нового жителя подземного Львова. Это прекрасно понимала и сама несчастная мать. В паузах между стонами она шептала: «Я не виновата. Простите. Кто мог знать?»

Роженицу положили прямо на голых досках. Единственным хирургическим инструментом, которым мог пользоваться акушер Кригер, были маленькие ржавые ножницы. Ими он и перерезал пуповину.

Родился живой мальчик. Тонким, звенящим криком он оглашал своды старинного подземелья так же рьяно, как будто бы лежал на столе родильного дома. Люди пугались детского крика, который мог принести им смерть. Даже наученный горьким опытом маленький Пава закусывал губы и хотел сейчас только одного — чтобы малыш замолчал.

Новый постоялец прожил в канале недолго: двадцать четыре часа. Молока у матери не было — оно пропало от волнения, и смерть быстро подкосила маленькое существо, которое родилось в таком неподходящем месте. Детский трупик завернули в тряпки, и Полтва забрала его. Река похоронила его в шуме

воды, рвущейся к гетто, к погорелым квартирам, где не вовремя зачиналась эта жизнь.

Так вот дети Кригера невольно сделались свидетелями тайны рождения человека и его быстрой смерти. Лишенные солнца, свежего воздуха, зелени, они тем не менее стойко вместе со взрослыми переносили неволю и все меньше и меньше жаловались на тягости подземного заключения. Но однажды Пава закашлял. Отец и мать услышали дрожащий, надрывный кашель ребенка и молили провидение, чтобы это было случайно. Кашель усиливался. Призрак неминуемой смерти появился опять в канале. Всякий из взрослых, кто слышал кашель, прекрасно понимал, что таит он в себе.

Опечаленный Кригер мимоходом сказал Буженяку, что сыну, наверное, мог бы помочь перетертый с сахаром желток — гоголь-моголь. Когда Буженяк на следующий день приполз из темноты по узкой трубе в их логовище, все увидели, что в зубах у него белеет узелок. Кригер нашел в узелке пять сырых яиц — подарок для больного мальчика.

Еще один подопечный Леопольда Буженяка

Раннее утро приносит звуки органа. Сегодня первый день рождества, и шаги богомольцев, идущих спозаранку в костел Бернардинов, вызывают воспоминания о том, как праздновали люди этот день до войны.

Как же празднует тот, верхний, христианский Львов рождество 1943 года? Люди подземелья узнают об этом из маленькой коляды. Ее, отпечатанную тайком от оккупантов в подполье, приносит Буженяк в день рождества. Типографская краска на листовках еще не просохла и размазывается.

«Среди ночной тиши чуть слышно дышит город в тревоге, город, залитый свежей кровью. Христос рождается. Гестапо бродит. И звонит, и стучится в двери. Гей, гей! Новина! Скорей же прячь сына, мать, ударами прикладов взятая у сна. Ирод свирепеет, Христос рождается. Спаси нас, боже, здесь во Львове. Здесь во Львове... И в тиши смертельной, будто новые раны,

мокрые афиши алеют по стенам... Серый день по крови бродит — все ведь наши, наша поросль. О, Исусе! Тс! Замолкни. Снова кровь... Побежит украдкой кто-то, самый смелый, самый дерзкий... к этим яслям, опрокинутым в ров. Смерть крыльями машет. Снова плачет Львов...

...Так дрожит земля в ночь рождества и принимает тридцать новых теплых тел. Ангелы играют. Люди бьют поклоны. А за Марьяцкой площадью уже новый выстрел прогремел... Ой, люли-люли... Глаз не раскрывай. Лучше отверни лицо свое белое, как мел. Висельницы. Люди в петлях. Те, в зеленом, не дадут их снять. Ночь, и мрак, и слезы. В звезды Вифлиема смотрит труп. Стоит ли рождаться, боже? Даже и на сене твоем кровь. Не волхвы, а волки окружили твое ложе и раскрыли жадно пасть, чуя кровь. До рассвета далеко — мы задушены силой, и ты будешь средь нас одинок. В одном лишь доме гестапо мерцают свечи и стройная ель тянется к потолку. Воют щенята — гестаповца дети: «Хейлиге нахт! Стилле нахт!» В ночной тиши бессонно дышит окровавленный Львов — город, лишенный дня. Смерть к дому подходит. Чу!.. Слышишь?? Споемте ж коляду, друзья!..»

* * *

Не один только Буженяк со своими товарищами, но и его семья, посвященная в тайну канала под Бернардинами, проявляла трогательную заботу об отверженных смертниках, спасавшихся в подземелье. Жена Буженяка Магдалина и его двенадцатилетняя дочь Стефа стирали и гладили им белье, покупали для них продукты на рынках города, знали все подробности жизни под землей.

В свою очередь Буженяк не скрывал от Кригера многих, даже сокровенных тайн своей семейной жизни. Так, в одно из их свиданий Кригер узнает, что Буженяк заботится не только о них, скрывающихся под землей...

Среди тысяч советских военнопленных, которые ежедневно умирали от голода и которых расстреливали гестаповцы в лагере, размещенном на холмах

львовской цитадели, томился донбасский шахтер, разведчик Красной Армии Толя. Неизвестно, под какой фамилией числился он в лагере. Пока во Львове были гитлеровцы, Толя на всякий случай скрывал даже от спасавших его свою фамилию. А позже ею никто не интересовался.

После разгрома гитлеровцев под Москвой Толя, русый, коренастый парень с угольными каемочками под глазами, пошел вместе с другими бойцами в дальнюю разведку. Долго они бродили по немецким тылам, а когда удалились километров на шестьдесят от линии фронта, были схвачены фельджандармерией. Так разведчик Толя попал в лагерь военнопленных, помещавшийся в старинных бастионах львовской цитадели.

Возможно, он погиб бы, как тысячи других, но железное здоровье спасало его. Однажды в лагере появился какой-то гитлеровец и стал отбирать военнопленных для работы в одном из городских военных госпиталей. Как ни тяжела была эта работа, но она сулила, пусть маленькие, пусть ничтожные, но послабления. Прежде всего, полумертвец выходил из-за колючей ограды.

В немецком госпитале на улице Курковой Толя рубит дрова для кухни. Тут он случайно познакомился со львовской девушкой Анелей. Она работала судомойкой на кухне госпиталя и тайком от часовых подкармливала Толю.

Как-то под вечер Толя бежит со двора госпиталя в условленное место к Высокому Замку, где должна ждать его Анельця. В Толю стреляют немецкие часовые. Пуля пробивает ему ногу. Раненый, он встречается с Анельцей, и ей удается привести его к себе. Тут Толя впервые знакомится с Буженяком. Дело в том, что Анельця — родная сестра жены Буженяка, Магдалины.

Так у Леопольда появляется еще один подопечный, но самый опасный. Он опасен не потому, что ранен и что Анельця прячет его в квартире Буженяка, на Старом Рынке. Толя совершенно не знает города и его окрестностей, ему почти невозможно затеряться в толпе местного населения. Вихрастая, непокорная шевелю-

ра, широкое русское лицо и типичный орловский говорок, да еще угольные каемочки под глазами сразу изобличают в нем беглого «совета».

«Прощайте, друзья!»

Многие и многие вещи легко оставляли беглецы из гетто в своих комнатах, спускаясь в канал Полтвы, но каждый из них обязательно забирал с собой туда пузырек с цианистым калием. Кригер и его товарищи не расставались с «цианкой» и в канале под Бернардинами. Они уносили ее с собой, даже уползая за водой.

И вот наступило время, когда яд мог пригодиться. На исходе одиннадцатого месяца подземного плена, в апреле, иссякли все деньги у людей, сидевших в канале.

Не раз и не два, еще раньше, оставаясь одни в канале, наиболее слабые духом беглецы поговаривали:

— Все равно погибнем. Рано или поздно надоест им таскать сюда продукты, и они забудут о нас.

Забудут! Страшное это слово произносилось с отчаянием заблудившегося в лесу ребенка. Но Кригер и Галина Винд, зачастую обманывая и свои внутренние колебания, горячо утверждали:

— Не забудут! Вы не знаете человеческого сердца. Это люди, а не фашисты. Напротив, они привыкнут к нам и совесть не позволит им оставить нас здесь.

Однако, несмотря на такую уверенность, самые стойкие из беглецов понимали, что Буженяк, Коваль и Колендра, кормившие всех их, не получали за это никакого вознаграждения. Их забота превысила все, что можно было бы ожидать от самого близкого человека. Рассчитывать же на большие услуги мог бы только неблагодарный и отпетый наглец.

Вот почему одним апрельским полднем, когда Коваль и Буженяк приползли к беглецам с наполненными едой портфелями, Кригер, собравшись с силами, сказал им:

— Трудно, но иного выхода у нас нет. Деньги кончились и рассчитывать нам больше не на что. Вы продлили нам жизнь на девять месяцев. Спасибо, друзья,

за это. Больше приходить сюда не надо. Цианка поможет нам уйти из жизни тихо и незаметно, чтобы не причинить вам никаких неприятностей.

— Брось панихиду! — оборвал Кригера Буженяк. — Коль мы начали, так мы и кончим. Понял? Вы теперь наши пленники и будете делать то, что мы захотим. Ваше дело маленькое — терпеть. И терпите. А как мы там на воле выкрутимся, позвольте нам знать. Давай-ка сюда цианку!

Повинуясь его властному голосу, беглецы отдали Буженяку пузырьки с цианистым калием. Отдали для того, чтобы тот мог, добравшись до главного канала, бросить яд в быструю воду Полтвы.

...Так с апреля на плечи каждого из канализаторов, имевших жен и детей, легла еще одна тяжесть— содержание немаленькой новой семьи. Прокормить троим рабочим одиннадцать человек не так-то просто.

Звуки улицы

Маленький Пава выздоравливает. Тертый с сахаром желток — сказочное лакомство в темном подземелье — помог. Сейчас и Тина не прочь покашлять, если бы только она не понимала, что не следует злоупотреблять внимательностью Буженяка.

Чем явственнее чувствуется приближение весны, тем с большим нетерпением ждут по утрам прихода канализаторов пленники подземелья. Уже по одному выражению лица Буженяка, выползающего из грязной трубы, они угадывали, что произошло в мире. Хорошие ли вести принес он им с того, верхнего мира или плохие? Если Леопольд отдавал им сразу газету, значит радостных новостей не было, все оставалось по-старому. Так, в частности, под землей узнали о временной задержке наступления советских войск на линии Тернополя. Несколько дней после этого люди под землей почти не разговаривали друг с другом.

Стоило же гитлеровцам признаться в своих газетах о новом продвижении Красной Армии, как Буженяк появлялся в канале с загадочной улыбкой на лице.

— Газету забыл принести, — говорил он небрежно.

Все очень волновались, а Буженяк, желая утроить их радость, шутил, отнекивался и, наконец, выкладывал новую приятную весть.

Звуки улицы иногда слышны в канале, особенно если подползти к отводному люку и приложить ухо к трубе, сквозь которую просачивается сверху свежий воздух. По ночам доносятся шаги гестаповских патрулей. Сапоги гестаповцев подбиты стальными подковами и очень громко стучат на камнях тротуаров. Разбиваясь со звоном под домами, падают с крыш сосульки. Короткая очередь автомата. Отчаянный вопль подстреленного гитлеровцами жителя. Далекие гудки паровозов. Монотонно постукивают колеса идущих в глубь Германии эшелонов. Сирены полицейских автомашин, несущихся за предместье — Лычаков, на Пески.

Крики раздетых людей, которых везут туда глухой ночью убивать.

Прерывистый лай немецких овчарок.

Все звуки такого близкого и такого враждебного мира, что существует там, наверху, четырьмя метрами выше, прекрасно запоминается в человеческой памяти.

Но вот в одно весеннее утро Кригер спокойно говорит жене, что он перестал видеть одним глазом. Много ли нужно, чтобы ослепнуть совсем?

«Мы уже близко»

Все слышнее, особенно по ночам, весенняя капель. Приходит апрель, и в сумерках наступающего весеннего вечера раздается предпасхальный благовест колоколов на костеле монастыря Бернардинов. Сегодня — «вельканоц»: Христос должен восстать из мертвых. Но в этот час не услышат о воскресении Христа верующие львовяне. Ходить по улицам можно до девяти вечера. Все торопятся домой еще загодя до «полицейского часа». Ведь минутой позже после него любого человека, появившегося на улице без пропуска, расстреливали на месте.

Кригер слышит звуки колоколов, шаги бегущих

домой богомольцев и в наступившей тишине ровно в девять — гул самолетов.

Люди в подземелье не могут увидеть повисших над городом осветительных бомб, превративших мгновенно темную апрельскую ночь в ясный день.

Будто простуженные собаки, застигнутые нежданным визитом, залаяли немецкие зенитки. В это время в полосатых пижамах мчатся в подвалы важные чины гестапо, проживающие в гостинице «Жорж». Взъерошенные фрау и фрейлин, бежавшие в свое время от бомбежек английских самолетов из Берлина и Гамбурга во Львов, тоже стараются укрыться как можно глубже под землю. Их лица лоснятся от косметических кремов, они прижимают к себе тяжелые сумки, набитые драгоценностями и золотом. Завоеватели, назвавшие древний украинский город немецким именем Лемберг, жмутся теперь друг к другу в сырой полутьме подвалов. Они не гнушаются даже сидеть на одних скамьях с украинцами и поляками — с теми, для кого до этого вечера зловещая надпись — «Нур фюр дейтше» делала невозможным пребывание под одной крышей с «арийцами».

...Первая советская бомба падает в двух кварталах от монастыря Бернардинов. Она разбивает излюбленный гитлеровцами ресторан «Пекелко», оправдывая, наконец, название ресторана и превращая его залы, набитые гестаповцами, в настоящий, а не только вымышленный и романтический ад.

...Удар бомбы и ее разрыв отдается в подземелье ужасным грохотом.

Сыплется земля.

Дети плачут.

Даже крысы, будто в предчувствии дождя, исчезли.

Канун праздника воскресенья Христова как будто бы испорчен, но в грохоте рвущихся бомб, в трескотне зениток, в тяжком гуле взлетающих на воздух немецких эшелонов со снарядами, которые как раз в эту ночь заполнили подъездные пути главного вокзала, в ярком свете медленно плывущих к земле осветительных ракет ожидаемый так давно праздник наступает значительно раньше.

В пронзительном свисте и тяжелом воздухе разры-

ва всякой новой советской бомбы притаившийся город снова чувствует силу и мощь Советской Армии, громящей гитлеровцев около Тернополя. В жужжании невидимых самолетов, в звуках рвущихся бомб настойчиво слышна одна и та же, обращенная к друзьям, мелодия: «Ждите нас. Мы уже близко. Мы возвращаемся!»

Пять дней будут очухиваться гитлеровцы от налета, увозить обратно в Германию истеричных фрау, погружать в составы ворованную мебель, еще забрызганную кровью убитых фашистами ее владельцев. В посленалетные дни утихает на время террор гестапо. Это значит: не будет акций, облав, внезапных проверок документов на улицах. Разве до этого сейчас оккупантам? И, устраивая поспешно семейные дела, отправляя из Львова жен и персидские ковры, фарфор и старинные гравюры, пытаясь даже увезти в Германию чучела мамонта и носорога (найденных в 1909 году в залежах горного воска в Прикарпатье), те оккупанты, кому приказано остаться во Львове, заботятся также, как бы лучше, безопаснее сберечь свою собственную шкуру.

Фашисты зарываются в землю

Львов разбросан на холмах. Гитлеровцы начинают впопыхах зарываться под эти холмы. Они пробивают туннели под горой Вроновских, под цитаделью, под Высоким Замком и даже пытаются забраться как можно глубже под холм, на котором высится греко-униатский собор святого Юра — резиденция главы греко-униатской церкви в Галиции митрополита Шептицкого.

Пожалуй, не было парка и бульварчика в городе, где бы не появились после бомбежки немецкие инженеры. Они ходили с рулетками, размечая колышками места будущих траншей.

Гитлеровцы думали продержаться во Львове долго и зарывались в землю.

Нелегкая приносит строителей из «Тодта» на палисадничек перед монастырем Бернардинов. Лопаты рассекают мягкую, шелковистую траву газона, выбрасывают в стороны первые глыбы земли. Немецкие

надсмотрщики с тоской посматривают на небо. Они пытаются определить, какая сегодня к вечеру будет погода. И, решив, что звезды будут сиять на чистом, не затянутом облаками небе, как и в ночь налета, подгоняют землекопов.

Люди, нашедшие приют в канале около монастыря Бернардинов, слышат голоса рабочих, крики надсмотрщиков, звон лопат, шуршание падающей земли. Неужели придется покинуть и этот канал, бросить все, отправиться снова странствовать по грязным и узким трубам?

Все ближе и ближе скрежет лопаты. Вот-вот рассечет она его, забившегося в тупик, острым и беспощадным лезвием.

В щелки между каменной кладкой сыплется земля. Все гуще и гуще ее струйки. К вечеру, уже перед окончанием работы, землекопы добираются до верхней кладки канала. Звонко скрежещут о камни лопаты. В ход пошла кирка. Ее гулкие удары отдаются в мозгу и в сердце беглецов, притаившихся теперь в самом дальнем ответвлении канала. Они слушают, как в дыру с грохотом падают первые камни, сыплется сплошным потоком земля. Ее много. Она растекается по каналу, намокает, уносится водой.

Ночью, когда наверху затихли шаги, все пленники подземелья начали подсовывать землю обратно, под пробитую сверху дыру. Добрых сто тачек земли пришлось подсунуть, поднести, утрамбовать снизу каждому из обитателей подземелья.

Сомнительно, чтобы эта работа, подсказанная не так рассудком, сколько отчаянием людей, жадно цепляющихся за жизнь, могла принести успех. Вернее всего, канал, превращенный в убежище, был бы раскопан, если бы снова не появились там, наверху, Буженяк и Коваль.

— Да что вы делаете! — сказал прорабу Буженяк. — Тут внизу проходит газовая магистраль. Вы пробьете трубу и не только оставите часть города без газа, но и отравите тех, кто будет прятаться здесь от бомб!

Доводы знатока львовских подземелий подействовали. Проклиная фашистов, землекопы засыпали ров.

Беспокойный постоялец

Тихо и неслышно, так уже больше не увидев дневного света, ночью, когда все спали, умерла мать убитого гестаповцами Вайса. Восемьдесят два года ее жизни окончились смертью под землей. Старушку завернули в рваное одеяло, протащили по трубам к Полтве, и река забрала в последний путь холодное тело самой старшей, самой спокойной из всех обитателей подземелья.

Теперь их осталось десять. Десять измученных, не потерявших надежду на спасение, обреченных людей. Но вскоре место покойной старухи занял новый беглец.

В июне 1944 года гестапо обходит дом за домом. Евреи — почти треть населения Львова — уничтожены.

«Еврейский вопрос мы разрешили в Яновском лагере и на Песках за Лычаковом», — цинично хвастаются гестаповцы.

Наступает черед других. Гестаповцы днем и по ночам вытаскивают из квартир украинцев и поляков. А в квартире Буженяка прячется беглый немецкий пленник, большевик Толя. Он рвется в леса, к партизанам, он хочет пробиться навстречу Красной Армии, но Леопольд Буженяк оберегает его от этого, как ему кажется, неосторожного шага. Идти к партизанам наугад, не зная точно, где они, не имея явки, да еще хромая, — дело рискованное. А Толя не знает ни украинского, ни польского языка. Первый встречный опознает в скуластом русом донецком шахтере большевика, но кто может сказать, каким человеком окажется такой первый встречный? И еще одно чувство, кроме обычного гостеприимства, обязывает Буженяка оберегать парня: Анельця и Толя приглянулись друг другу. Они не собираются скрывать своих отношений и называют друг друга женихом и невестой.

Глухой ночью Буженяк и Колендра переодевают Толю в костюм канализатора. Они проводят его в канализацию за городом, на Левандовке. Под утро Кригер видит ползущего в их берлогу, проклинающего все на свете человека.

Невеста прислала Анатолию под землю одеяло и

небольшую подушечку. Таким образом, Толя сразу получил маленький подземный комфорт. Но странное дело: казалось бы, ему, шахтеру, привычному к труду под землей, легче будет переносить жизнь в канале. Оказалось — наоборот. Толя сразу заскучал, заволновался. Видно было, что сырые каменные стены канала давят его.

Первые дни от волнения он ничего не ел и молчал. Потом, разговорившись, откровенно признался, что невмоготу ему здесь.

— Разве я крот? Да и кроту легче в своей норке, чем в этой вони сохнуть. Удивляюсь, как выдержали вы тут столько месяцев. Я бы помер, слово честное. Эх, будь что будет! Помирать — так с грохотом! Выползу, авось пронесет, до своих доберусь. А если не подвезет — хоть одного фашиста перед смертью удавлю, и то добро...

С каждым новым днем Толя все решительнее высказывал и развивал свой замысел, и его соседи стали побаиваться, как бы он и в самом деле не выполз отсюда, а потом, по неосторожности, не выдал бы их. Побаивался этого и Коваль, видимо, знающий Толю лучше. Он дал строгий наказ Кригеру: «Хлопца из канала не выпускать. Потом сам спасибо скажет». И посоветовал Кригеру запрятать ботинки красноармейца.

— Это вроде как бы залог, что вы от нас не убежите, — извиняясь, сказал Кригер.

— Чудной ты, право, — добродушно ответил Толя старосте подземелья. — И какие вы все осторожные. Сразу видно — еще недавно капитализм у вас на хребте сидел, шагать вас учил потихонечку, помаленечку... Будто я босиком не смогу убежать. Это в малолетстве матка так у меня валенки зимой снимала, чтобы я на речку не бегал. Она отвернется — я на улицу шмыг, босиком прокачусь раз, другой по льду, а потом в избу на печку пятки греть...

«Катюши» запели

Летние грозы, как и в прошлом году, снова подымали воду в Полтве. Прежде чем доносился сюда с вопли первый раскатистый удар грома, беглецы по беспо-

койству крыс, покидающих подземелье, чувствовали приближение грозы. И всякий раз, как только первые капли дождя падали на улицы Львова, маленькая Тина прижималась к отцу и неизменно спрашивала:

— Нас не зальет? Мы не погибнем?

Смерть Якуба Лайванда, захваченного рекой, все еще стояла перед глазами девочки, и не было, казалось, в мире для нее большего ужаса, чем внезапный ливень там, вверху, и быстрый подъем Полтвы. Обычно тротуары наверху уже просыхали под солнцем, но Полтва долго еще шумела, принимая в себя шумные потоки грязной воды, смывшей кровь на улицах города после новых расстрелов.

Дождь задерживал Буженяка и его друзей. Они появлялись обычно не поутру, а в зависимости от того, как скоро падала вода, и опять тащили в зубах портфели, наполненные едой.

И всякий раз, стоило показаться огоньку знакомого фонарика в трубе, ведущей под Бернардинский монастырь, пленники львовских подземелий снова и снова сознавали ничем не оценимый подвиг их спасителей — этих простых людей, отважившихся пойти против течения.

Что стоило им махнуть рукой на все? Но трое «каналяжей», как и прежде, строго и честно выполняли долг, подсказанный им голосом совести. Они не делали никакого различия между собой и теми, кто сейчас находился в большой беде. Каждая хлебина, спускаемая в подземелье, всякая картофелина или щепотка чая вот уже третий месяц отнимались ими от своих семей.

Чтобы покупать продукты для всех, Магдалина Буженяк часто ходила на базар, продавала свои последние платья, костюм мужа — то, что было накоплено годами.

Но Буженяк не унывал. Всякий раз он становился веселее и веселее. Приносил с воли добрые вести, говорил, что фашистам «дают по шкуре», что их госпитали завалены ранеными, а все немецкие сообщения об успешном отражении большевистских атак гроша ломаного не стоят.

Пользуясь властью «родственника», он утихомиривал Толю.

— Да подожди ты еще немного, потерпи. Посмотри на людей, сколько они выстрадали. Сам же спасибо мне скажешь! — говорил Буженяк. — Лучше я тебя верну Красной Армии живого.

...Однажды на рассвете, который удивительным чутьем все же определяли лишенные солнца люди, до них через выводной люк донесся отдаленный раскат глухого грома. Подумали — гроза, но странное дело: крысы по-прежнему бесшумно шныряли по доскам, перескакивали через ноги лежащих на них людей.

Первый раскатистый удар сменился вторым, третьим, и вскоре здесь, под землей, стало очевидно, что это гул приближающейся канонады.

Люди подползли поближе к выводному люку и жадно вслушивались в рокот фронта. Очевидно, гитлеровцы потеряли не только Тернополь, но и Броды.

Наверху, на улице — чеканный и знакомый немецкий шаг. Стучат по булыжникам кованые каблуки гитлеровцев. Они уже над каналом, над головой у притаившихся людей. Долетают резкие слова команды: «Хальт!» Щелкая каблуками, фашисты останавливаются как раз около выводного люка, и маленький Пава, сжавшись, сразу отползает назад.

Все ждут сейчас одного: вот-вот стукнет лом, поддевая решетку, и гитлеровцы попробуют опуститься вниз. Но они, видно, не спешат залезать в канал, устраивают перекур. Опять команда, смысл которой никто уловить не может. И повелительный счет офицера: «Драй мине! Драй мине! Драй мине!»

Немцы минируют мостовую и палисадник перед монастырем Бернардинов. Слышно, как укладывают они мины вдоль обочины мостовой, как зарывают их под кустами газона, по-видимому, прячут их под плитами тротуара. Одна мина положена где-то совсем рядом около решетки. Толя прильнул к отводному люку и жадно вслушивается, что происходит наверху. По лицу его, напряженному и внимательному, чувствуется, что он запоминает каждый шаг гитлеровцев, порядок, в каком уложены мины. А канонада все сильнее и громче. Наконец, Толя радостно шепчет:

— «Катюши» запели!

До сих пор люди подземелья знали песенку про

русскую девушку Катюшу. Сейчас, под гул канонады, Толя объясняет, что «катюши» — это особые минометы, которых пуще всего на свете боятся враги. Где появляются «катюши» — так и знай: гитлеровцу капут.

«Над нами советские танки!»

Кипение уличных боев во Львове длится несколько дней. Оккупанты яростно цепляются за любой дом, за всякую улицу. Район Нового Львова — маленькие домики, расположенные в садах на возвышенности за Стрыйским парком и близ шоссе, ведущего в город Стрый, захватывают сразу советские войска. Оттуда, с этих зеленых холмов, спускаются на улицы города первые советские разведчики, оттуда мчатся тяжелые советские танки.

Первый из них, грохоча, влетает на Бернардинскую площадь и, скрипнув тормозами, останавливается где-то совсем близко над каналом. С другого конца города бьют тяжелые немецкие орудия; засели в верхних этажах домов немецкие автоматчики, а танкисты, открыв люк машины, громко кричат:

— Эй, малый! Тащи покурить!

По-видимому, к танку подбегают мальчики, торгующие папиросами.

Сквозь решетку сточного люка в канал доносится:

— Какие же тебе деньги платить?

— Давайте злотые, можно марки, — отвечает юный продавец папирос.

— Таких не водится. Мы люди советские и деньги у нас советские. Держи!

Все это явственно слышно людям подземелья.

— Над нами советский танк! Как бы вылезти туда, к хлопцам? — кричит Толя и безуспешно пытается протиснуться в узкий выводной люк.

Гул танкового мотора заглушает его слова. Танк, скрежеща гусеницами, мчится дальше, а через несколько минут Толя слышит немецкую речь, выкрики: «Шнель! Шнель!» и гулкие выстрелы противотанковой пушки.

Гитлеровцы выкатили ее из соседней улицы на от-

крытую позицию. Они пытаются обстрелять прорывающийся вперед советский танк, но по нервным выкрикам офицера нельзя предположить, что это им удается.

...Гусеницы все новых и новых советских танков скрежещут на улицах старинного Львова. Громыхание тяжелых машин, выкрики саперов, разминирующих переулки, бульвары, прерывистый лай сопровождающих их собак, уходящая к северу дробь автоматов и уханье пушек — все эти звуки, проникающие сюда, в темное и сырое подземелье, сливаются в радостный гимн освобождения. «Над нами советские танки!» — повторяют люди на разные лады одну и ту же прекрасную фразу.

Желанная минута

Уже в отрывистую деловую скороговорку военных вплетаются украинские голоса выходящих из домов местных жителей.

Кто-то с улицы отрывисто стучит ломом по решетке.

— Приехали! Выходите! — доносится знакомый голос Коваля.

Как ждали все чудесной минуты, когда свой человек без всякого страха заговорит с ними открыто оттуда, с улицы. Но выйти самим оказывается не так-то просто.

Буженяк и Коваль спускаются на помощь. Они знают, что есть поблизости выход из канала — по более широкой сточной трубе, ведущей в соседний двор. Из этой трубы они и вытаскивают по очереди всех узников подземелья.

Первый раз за год женщины покидают канал под монастырем Бернардинов. Но даже и мужчины, ползавшие по нескольку раз в день за водой, теперь, почуяв такую близкую свободу, теряют последние силы. Они жмурятся от яркого солнечного света, чистый воздух пьянит их, кружит голову. Толя, не сделав и двух шагов, усаживается на ступеньках каменной лестницы и тяжело дышит. Грязные, заросшие люди в лохмотьях, пропахшие запахом сточных вод, давно и на-

всегда уже вычеркнутые штадткомиссаром из списков жителей города, объявленного «юден райн» (очищенным от евреев), эти отверженные смертники лишь сейчас осознают и цену своего терпения, и великое счастье, которое принесла им Красная Армия.

Леопольд Буженяк осторожно подает наверх из люка Тину, а затем вслед за ней Паву. Мертвенная бледность на запавших щеках детей. Маленький Пава раскрытыми глазами смотрит на собравшихся во дворе людей. Он видит улыбающихся советских бойцов с автоматами на ремнях, стены пятиэтажного дома. Из разбитых окон в коридор двора выглядывают люди. Выше, в синем квадрате неба — ослепительно яркое солнце, легкие тучки проплывают мимо.

Веки мальчика судорожно смыкаются. Первая крупная слеза оставляет узенький след на грязном и бледном лице. Он всхлипывает и вдруг заливается неудержимым ревом. Вырывается из рук Буженяка, поддерживающего его, и падает. Ноги не держат Паву. Он ползет на карачках к открытому люку, и сквозь его рыдания вырывается отчаянный вопль:

— Я не хочу быть здесь. Я боюсь солнца! Я хочу в канал. Пусти меня под землю!

Разве забудутся когда-нибудь эти первые дни жизни освобожденного Львова? Первый самолет из Москвы осторожно опускается на уцелевший краешек израненного воронками и нарочно перепаханного напоследок оккупантами аэродрома. Повсюду со столбов свисают рваные трамвайные провода. По ночам луна ярко сияет на битом стекле, засыпавшем тротуары, и кажется, что под высокими домами плывут быстрые, переливающиеся от лунного света, ручейки.

Все так же прекрасен поднявшийся над городом Высокий Замок. На самой его макушке, как и в 1940 году, уже несут наблюдательную службу советские зенитчики. Гостиницы еще без света, без воды, без окон. Ветер и дождь, луна и солнце беспрепятственно проникают в номера. На их подоконниках лежит густой слой фронтовой пыли, занесенной в город с украинских полей, с проселочных дорог наступающими советскими войсками.

Днем грохот танков и грузовиков, пересекающих город и сплошным потоком бегущих дальше, на Краков,

не так заметен. Он как бы растворяется в уличном шуме, в свете солнечного дня, когда люди словно наново узнают свой город. Но зато ночью, когда все прохожие после десяти исчезают с тротуаров, это лязганье гусениц танков врывается таким неумолимым скрежетаньем в тишину городских площадей, в разбитые окна гостиницы «Палас» на Бернардинской площади, что вся гостиница просыпается. Ее постояльцы, соскочив с кроватей, подбегают к окнам, чтобы еще раз увидеть незабываемое, величественное зрелище — проход советских танков по ночному Львову.

Тяжелые танки, сделанные из уральской стали, грозные и послушные машины с лозунгом «За Родину» на боевых башнях идут на Запад, сотрясая громады старинных монастырей, выворачивая на перекрестках булыжники, заложенные еще во времена Богдана Хмельницкого, наводняя гулом подземные каналы и убежища, из которых вышли уже на волю чудом уцелевшие жертвы гитлеризма.

«Пойдем ночевать к нам!»

В эти самые дни маленький мальчик с мертвенно бледным лицом и неуклюжими движениями поправляющегося калеки, часто прихрамывая, выбегает из подворотни одного из домов, примыкающих к монастырю на площади Бернардинов. Мальчик бросается навстречу проходящим военным, молча хватает их за ноги, целует полы их выгорелых от солнца гимнастерок, нежно гладит их шершавые руки. Удивленные и растроганные лаской худенького, болезненного мальчугана, суровые с виду, загорелые люди, оставившие давно в далекой Сибири, у Черного моря, на Волге и Днепре своих жен и таких же малышей, останавливаются, берут его на руки, гладят его по голове. Часто между ним и советскими бойцами, тоскующими о своей далекой семье, завязывается трогательный и задушевный разговор.

Пава Кригер неизменно предлагает:

— Пойдем к нам. Будете у нас ночевать.

Выйдя из канала, пленники львовских подземелий заняли под жилье большую квартиру в соседнем доме.

Тут при гитлеровцах помещалась транспортная контора. В пустующих комнатах немецкой конторы, по которым гуляют теплые сквозняки, разместились на полу Кригеры, «Корсар» и другие обитатели канала под Бернардинами. В квартире шесть свободных комнат. Но их сказочные просторы очень пугают тех, кому еще несколько дней назад приходилось ютиться в тесной вонючей дыре размером восемьдесят на сто двадцать сантиметров. И, следуя старой, уже впитавшейся в кровь привычке, люди тянутся друг к другу, они хотят быть вместе, только вместе.

Пава Кригер приводит в пустые комнаты все новых и новых постояльцев — солдат и офицеров, следующих через Львов дальше на фронт. Иногда в квартире этой ночуют даже целые отделения и взводы. Но прежде чем устроиться вместе с хозяевами на полу, подстелив вместо простынь немецкие газеты, новые приятели Павы ведут долгие беседы со старшими.

Приходят сюда теперь, не порывая связи со спасенными ими людьми, Буженяк и Коваль. Садятся рядом на полу. Что там скрывать — много вина выпито в эти шальные дни, много русских, украинских, польских, грузинских песен пропето за общей, идущей по кругу чаркой. Звуки песен нередко вылетают на улицу из разбитых окон, и после полуночи комендантские патрули останавливаются внизу под окнами.

— Больно уж громко поете, — кричит снизу начальник патруля, — давайте потише!

А донбасский шахтер Толя в эти дни носится по городу, заботясь о будущем своих новых друзей — Кригеров. Во дворе, где раньше помещалось гестапо, — стол подхватит, в другом месте — стул, там, глядишь, из подвала немецкой казармы матрацы выволакивает. Какой-то мороженщик итальянец, потянувшийся вслед за немцами во Львов и бежавший теперь отсюда, бросил поблизости своего киоска пестро размалеванную тележку на двух резиновых колесах. Толя берет ее «на учет» и на ней свозит к жилью Кригеров трофейную мебель. Ему хочется, чтобы друзья его на первое время жили в обставленной хотя бы впопыхах, но человеческой квартире. Чтобы имели на чем обедать, спать, сидеть.

Но Толя заботится не только о друзьях. Во Львове,

на Сикстусской (Жовтневой) улице, начинает работать отдел записи актов гражданского состояния. Его открытия с нетерпением ждут немало влюбленных пар, соединивших свои судьбы в последние месяцы немецкой оккупации. Есть среди них и французы, бежавшие из цитадели к молодым львовянкам, которые их прятали, не боясь гестапо. Среди них — профессор права Львовского университета, нынешний профессор Варшавского университета, Кароль Корани, преследуемый гитлеровцами. Женщина, которая его скрывала, впоследствии стала его невестой. Но прежде чем назвать ее женой, профессор права хочет перешагнуть порог ЗАГС и оформить по закону свои отношения с невестой, лучшие моральные качества которой он проверил в те дни, когда кровь лилась на улицах Львова.

Счастливейшая из очередей

Одним из первых занимает место в очереди к регистраторше донецкий шахтер, разведчик Красной Армии и бывший пленник гитлеровцев Толя. На нем нарядный пиджак, одолженный у своего родственника Буженяка, длинные брюки, пестрый галстук. Рядом — сияющая Анельця, то и дело дергающая важного жениха за руку, чтобы выспросить у него потихоньку все подробности свадебной процедуры.

В этой странной очереди, быть может, в одной из самых счастливых очередей мира, звучат голоса народов нескольких стран: французская речь переплетается с украинской и польской, орловский русский говорок Толи вяжется с певучей скороговоркой Анельци.

На свадебном пиру в квартире Буженяка у Старого рынка гуляют спасенные и их спасители — за одним столом чокаются люди разной веры, разных национальностей, разной биографии, люди, которые в тяжкое это время сумели не только понять себя, но и заглушить многие вековые предрассудки. За одним столом, празднуя свадьбу Толи и Анельци, сидят люди, ставшие навсегда друзьями, и в том пережитом, что осталось уже позади, узнавшие цену настоящего человеческого благородства.

Медовый месяц шахтера Толи был весьма краток. Утром на следующий день он появляется в кабинете районного военного комиссара майора Юрчикова и рассказывает ему свою странную судьбу. Толя просит сейчас же направить его на фронт. Через несколько дней он появляется у Кригеров в новом военном обмундировании, в скрипучих сапогах, затянутый светлым, пахучим ремнем. С ним Анельця, с некоторым удивлением разглядывающая своего мужа.

— Далеко? — спрашивает Кригер.

— До Берлина и дальше! — говорит Толя. — Сейчас я фашистов под землю загоню. Да так, чтобы никто из них уже никогда и носу на свет показать не смел!

Самое большое счастье

Зимним февральским днем мы выходим из квартиры Кригера. Мы — это Игнатий Кригер, его жена Пепа, дети и автор этих строк — инициатор прогулки. Сегодня воскресенье. Игнатий Кригер свободен от работы. Вот я и предложил:

— Давайте пройдемся по гетто.

Меня побудило к этому еще одно обстоятельство. Я узнал, что никто из семьи Кригер не был в гетто со времени той страшной последней ночи в мае 1943 года, когда во двор дома № 49 по Полтвяной улице въехали автомашины с гестаповцами, вызванными для заключительной акции.

Мы идем в северные кварталы Львова, и не главными его улицами, а как раз теми, под которыми проходят трубы канализации, приведшие семью Кригеров и их товарищей по несчастью в подземелье под монастырем Бернардинов.

Таким образом, Кригеры как бы проходят со мной путь в то царство смерти, из которого вырвались они, но обратным маршрутом — к жизни.

Мы задерживаемся на примечательных этапах этого скорбного пути, пройдя которым, лишь горсточка людей сумела увидеть солнце. Вот решетка отводного люка около монастыря Бернардинов. Здесь фашисты ставили мины и фугасы, вовремя обнаруженные со-

ветскими саперами. Сквозь эти узкие щели в решетке услышали пленники радостный гул канонады, пение «катюш» и грохот первого советского танка, вырвавшегося в центр Львова. Маленький Пава, заплетая по-ребячьи ногами, стремглав мчится к решетке, заглядывает туда, как в окно знакомой квартиры. Под тонкой матовой кожей на его висках проступают синие жилки. Я вижу хорошо следы пережитого и в огромных карих, не по летам понятливых глазах Тины. Эти глаза, сохранившие, наверное, на всю жизнь наполненный печалью взгляд, помнят все акции гетто, они видели, как сын и брат адвоката Генриха Ландесберга вешали его по приказу гитлеровцев на балконе одного из домов по улице Локетка. Эти глаза ребенка, полные тоски и печали по ушедшим сверстникам и взрослым, на всю жизнь запомнили лица Гжимека, Кацмана, Ленарда и всех других палачей, уничтоживших поляков, евреев, украинцев — треть населения Львова.

Разве мог я предположить февральским днем 1945 года, вглядываясь тогда в эти глаза маленькой Тины, что где-то далеко, за линией фронта, в Западной Германии, в это же самое время генерал гитлеровской шпионской службы Рейнхард Гелен уже спешно передает на вооружение американским гестаповцам из «Си Ай Си» гитлеровских карателей, в том числе Кацмана, Гжимека, Вильгауза, Силлера и других? Разве могли мы подумать, обходя развалины северных кварталов Львова, что не пройдет и десяти лет, как палачи львовского гетто будут свободно и с большим почетом разгуливать по улицам Западной Германии и служить Уолл-стриту так же, как служили они раньше Гитлеру?

И кто мог думать в тот день, что рассыпающийся в любезностях по адресу доблестной Советской Армии Уинстон Черчиль в то же самое время уже тайно отдает приказ фельдмаршалу Монтгомери собирать все немецкое трофейное оружие? Собирать для того, чтобы вооружить им бегущих к англичанам и американцам гитлеровцев, а в их числе и «мертвоголовых» карателей львовского гетто, и силами этих фашистских недобитков помешать победоносному продвижению советских войск на Запад?

Мы заходим во двор дома, из которого впервые после четырнадцати месяцев подземного плена выбирались на волю 27 июля 1944 года десять человек, считавшихся мертвецами. И снова Пава бросается к люку, отгребает снег, безуспешно пытается приподнять примерзшую крышку. Мальчика тянет к любой решетке канализации, к первому попавшемуся на пути люку. Не надо быть психологом, чтобы понять эту болезненную страсть.

— Вот здесь мы брали воду, — стуча ногой о землю вблизи артезианского колодца на Валовой, говорит Кригер.

Трудно заставить себя даже мысленно переселиться в подземный мир, от которого отделяют нас четыре метра мерзлой земли, и попытаться представить себе весь быт добровольных узников, выживших там. Мы встречаем на пути миловидную девушку в шляпке, в зеленоватом пальто.

— Это Галина, — шепчет мне Кригер, — она тоже сидела с нами в канале.

Дочь часового мастера из местечка Турки, единственная беглянка из фашистской тюрьмы на улице Вайсенгофа, Галина сейчас работает бухгалтером. После того как все поздоровались с ней, я приглашаю и Галину сходить с нами в гетто. Правда, у нее куплены билеты на фильм «Секретарь райкома», но, по-видимому, не столько мое приглашение, сколько сила подземного товарищества заставляет Галину пожертвовать кинотеатром.

Мы подходим к костелу Марии Снежной. Пава первым показывает люк, через который доносилось к месту долгого пристанища беглецов из гетто церковное пение в день «божьего тела». Дорога идет под мост. По нему проходили составы, набитые смертниками, которых гитлеровцы везли уничтожать в маленькое польское местечко Белзец. «Воды, воды!» — доносились тогда из закрытых вагонов с насыпи в кварталы гетто полные отчаяния крики женщин, детей и стариков. За мостом смерти еще сохранилась часть деревянного забора, которым было ограждено гетто.

...Тянутся взорванные дома, исчезнувшие улицы, скрюченные от огня кровати, груды кирпича под покровом пушистого снега. Здесь, под грудами развалин

рухнувших домов, еще до сих пор покоятся застигнутые гитлеровцами врасплох в своих тайниках погибшие люди. Здесь лежит чудесный музыкант Леопольд Мюнцер, доктора, писатели, инженеры, художники и другие честные труженики Львова. Целые тучи черного воронья кружатся над развалинами гетто, над задымленными скелетами домов.

На обратном пути нам попадается навстречу женщина в пальто с капюшоном. Она толкает перед собой колясочку с ребенком. Так происходит еще одна встреча в этот воскресный день, встреча еще с одной обитательницей подземелья — Кларой, женой «Корсара», парикмахера. И они вдвоем, вырвавшись из подземелья, вместе с Толей и Анельцей стояли в очереди у столика ЗАГС, чтобы оформить свой брак в первый день, как только начало работать это почтенное учреждение. Они вошли в каналы Полтвы как незнакомые, затравленные люди, там за 14 месяцев узнали друг друга, полюбили.

Краснощекий бутуз — дитя этого необычного подземного супружества — мирно спит в колясочке, пока его мама рассказывает нам, что они вместе с сыном едут в отделение милиции. Уже решено — они остаются во Львове. Вчера истек срок их временных паспортов. Их вызвали в отделение милиции, чтобы выдать им новые пятилетние паспорта граждан Советского Союза. Сейчас туда за паспортом идет Клара. Муж придет позже, как только закончит работу. По воскресеньям же обычно много клиентов, каждый хочет побриться, каждого нужно подстричь.

— ...И я понял теперь, какое самое большое счастье в жизни, — тихо говорит мне Кригер, когда мы бредем по бульвару, разделяющему Первомайскую. — До нынешней войны многие из нас привязаны были к мелочам, новая кровать или красивые стенные часы доставляли много радости. Как мыши, мы возились в мире вещей, в мире маленьких наших забот. Быть может, поэтому, привязанные к вещам, занятые борьбой за право существовать как-нибудь, сыны и дочери забитого и преследуемого веками народа, мы не нашли в себе достаточно силы, чтобы хотя бы перед смертью выступить против гитлеровцев, как евреи в варшавском гетто. И потому, что мы не знали

еще самого главного счастья — права называться свободным человеком, многие из нас сами покорно ложились в могилу и подставляли свои затылки под автоматы палачей. Но мне кажется, что горсточка из нас, уцелевших чудом, теперь знает и цену вещам, и силу главного в жизни. Я потерял все, что у меня было: родных, знакомых, вещи. Но я нашел другое— главное, великое — я получаю удовлетворение от огромного чувства личной свободы, которое принесла Советская Армия. И хотя мне часто еще чудится, что вот-вот выскочит из переулка гестаповский патруль и придется бежать без оглядки куда угодно, хотя я еще не расправил как следует плечи, но чувствую, что ради счастья называться свободным человеком стоило вытерпеть все то, что пережили мы здесь, на земле, и под землей...

* * *

...Говоря эти слова, Игнатий Кригер не мог в то время предполагать, что вопиющие злодеяния гитлеровцев предадут забвению, и уже через 15 лет в еврейском буржуазном государстве Израиль станут изготовлять автоматическое оружие для армии Федеративной Республики Германии — бундесвера, в составе которой есть немало генералов и офицеров, повинных в истреблении миллионов евреев...

ИВАННА

Киноповесть

Кого хоронят?

Осенний ветер проносится над седыми холмами старинного Львова и дует с такой силой, будто пытается раскачать его древние башни и колокольни.

Ветер рвет тугое полотнище алого знамени, совсем недавно поднятого вновь на флагштоке городской ратуши, охраняемой, как и встарь, двумя гордыми каменными львами.

Возникает надпись:

ВСЕ, ЧТО ВЫ УВИДИТЕ, ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ БОЛЬШОГО НАРОДНОГО ГОРЯ — ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ УКРАИНЫ...

Ветер обрывает последнюю жесткую и глянцевитую листву с тополей на Академической, гонит ее по мокрой мостовой к памятнику Адаму Мицкевичу.

Порывы осеннего ветра развевают седую бороду сгорбленного старика, что, надвинув на лоб старомодную соломенную шляпу, медленно бредет в летнем белом пыльнике по Первомайской, к оперному театру.

Поодаль, не сводя пристального взгляда со сгорбленной спины старика, следует высокий, внешне ничем не примечательный железнодорожник с запавшими щеками...

И коренастой курносой регулировщице, что лихо управляет уличным движением, тоже зябко. Она приплясывает на мокрых булыжниках и, дожидаясь смены, то и дело поглядывая на часы городской ратуши, пропускает навстречу старику трамваи и машины.

Внезапно девушка в пилотке оборачивается к улице Горького. Удивленная девушка поднимает полосатую палочку, закрывая движение транспорта по Первомайской.

Завывания осеннего ветра сливаются со звуками тягучего церковного пения. На фоне траурной мелодии возникает надпись:

В ПОСЛЕДНЮЮ ОСЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НЕДАВНО ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ СОВЕТСКИЙ ЛЬВОВ УВИДЕЛ НА СВОИХ УЛИЦАХ УСОПШЕГО МИТРОПОЛИТА ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ГРАФА АНДРЕЯ ШЕПТИЦКОГО. ОКОЛО ПОЛУВЕКА ОН БЕССМЕННО ВОССЕДАЛ НА МИТРОПОЛИЧЬЕМ ПРЕСТОЛЕ. УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ И КЛЕРИКАЛЫ С ОДИНАКОВЫМ УСЕРДИЕМ ОКРУЖАЛИ ЕГО ЛИЧНОСТЬ ЛЕГЕНДАМИ...

Мы видим в гробу усыпанное хризантемами большое, умное лицо покойного графа Шептицкого, окаймленное седой окладистой бородой.

За черным катафалком с гробом, окруженным тяжелыми венками, очень медленно и величаво шагают каноники, викарии, деканы в пелеринах и без них, протопресвитеры в одеждах, соответствующих их сану.

Как большая черная змея, похоронная процессия выползает на Первомайскую и сворачивает к улице Коперника.

Важно шагают в процессии епископы и другие иерархи с бриллиантовыми панагиями на груди.

Идут монахи-студиты с мальтийскими крестами, нашитыми на спинах черных реверенд. Их ведет брат покойного, игумен монастыря ордена студитов, сухопарый архимандрит Климентий. Его опущенная низко голова покрыта черным остроконечным клобуком.

Идут с лицами, наполненными скорбью, гвардейцы греко-католической церкви — украинские иезуи-

ты — монахи ордена святого Василия, в белых целлюлозных воротничках, облегающих их худые шеи.

С постными, заплаканными глазами следуют за ними монахини-василианки под предводительством своей игумены.

Размахивая кадилами, идут мастера сыска в душах, солдаты христовы, капелланы и митраты, архипресвитеры и прелаты. Они скрывают под черными реверендами многовековой опыт иезуитов, воинствующую косность и активную ненависть к советскому строю...

...Бредут воспитатели шпионов, в течение полувека отлично обученные этому «искусству» тем, кого все они провожают в могилу.

Степенно, величаво шагает по улицам единственного в мире города, где Ватикан имеет три своих митрополии, под хоругвями, расшитыми шелком и канителью, старый, отживающий мир алчности и мракобесия, закостенелый и страшный в своем мрачном великолепии, «мир бога, замученного и умирающего»...

В окружении студитов, редемптористов, салезиан и василиан мы видим и запоминаем священника Романа Герету.

Скромный, внешне благопристойный молодой человек лет двадцати восьми, в хорошо сшитой реверенде, Роман Герета движется, слегка наклонив голову, никого и ничего не замечая по сторонам.

Скованные мрачной торжественностью, шагают за гробом генерала армии христовой его ближайшие приближенные: канцлеры и шамбеляны, кустосы и архидиаконы, генеральные викарии и апостольские протонотарии, архипресвитеры и хартофилаксы, почетные и титулярные клирошане — центральный мозг, оплот и штаб львовской униатской капитулы.

Не на кладбище несут они покойного графа, нет! Демонстративное это шествие спустилось со Святоюрской горы как бы исключительно для того, чтобы покойный митрополит смог последний раз из-под опущенных синих век посмотреть на Львов и чтобы, в свою очередь, Львов мог обозреть траурный кортеж, следующий за прахом князя церкви.

Похоронен митрополит будет там, откуда его принесли: в подземельях собора, на той же самой Свято-

юрской горе, откуда сползла на центральные улицы старинного украинского города никогда не виданная многими мрачная и страшная процессия...

С удивлением наблюдают похоронную процессию солдаты и офицеры, сидящие в машинах, что идут на фронт. Об их решительном маршруте говорят надписи на бортах грузовиков: «Добьем гада Гитлера!», «Вперед на Запад!», «Освободим народ братской Польши!»...

Высовываются из остановленного регулировщицей трамвая пассажиры.

...Все больше прохожих, задержанных процессией, скопляется на перекрестке. Среди них мы видим седого старика в соломенной шляпе.

А рядом как бы случайно остановился высокий железнодорожник в потрепанном кителе и не выпускает из поля зрения старика.

Возле старика задержались двое молодых людей, по виду — учащиеся. Он — в стеганом ватнике, на груди нашиты полоски за ранения, под рукой — связка книг. Девушка — в дубленом полушубке, из-под пестрого, гуцульской расцветки платка выбиваются черные кудри.

Приподнявшись на цыпочки, девушка силится разобрать надпись на ленте венка, который проносят мимо две монашки, и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, кого это хоронят?

Как бы пробуждаясь от глубокого сна, старик в белом пыльнике пристально смотрит на молодую пару.

Еще внимательнее, словно распознавая знакомые черты, напоминающие ему другого, близкого и дорогого человека, разглядывает старик девушку в гуцульском платке.

— Кого это хоронят, а, папаша? — повторил вопрос девушки парень в стеганом ватнике.

Звучит похоронное пение.

Ветер доносит со Святоюрской горы редкие удары церковного колокола.

Старик глухо произносит:

— Убийцу хоронят!..

Сразу насторожился стоящий рядом железнодорожник.

— Убийцу? — воскликнула девушка.

Старик пошатнулся. Схватился за сердце. Теряя

совнание, закрыл глаза. Поддерживает его железнодорожник.

— Ой, ему плохо! — воскликнула девушка. — Надо «скорую помощь»...

— Она сюда не пробьется, — тихо сказал железнодорожник. — Я знаю, где живет старик, провожу его.

Тенистый парк перед Львовским университетом. Кучи желтых листьев высятся повсюду на газонах парка.

Железнодорожник бережно усаживает старика в белом пыльнике на удобную скамью и, заглядывая ему в лицо, спрашивает:

— Лучше?

— Спасибо, сын мой...

— Почему же вы назвали его убийцей? Я все-таки не понимаю...

— Вы — человек с Востока. Вы многого не знаете! И вас, разумеется, удивил мой ответ молодым людям. Но, поверьте мне, я сказал правду... — говорит, отдышавшись, старик.

Возникает за кадром голос.

— *И здесь, на скамье парка, который в тот год многие львовяне называли еще по-старинке Иезуитским, отец Теодозий рассказал о том, что произошло в его жизни с осени тысяча девятьсот сорокового года...*

Добрая весть из Львова

По горной тропинке к окраине прикарпатского местечка бежит с букетом собранных на полонине цветов Иванна Ставничая. Смуглая, высокая, в ярком платье, делающем ее похожей на цыганку, Иванна поет:

Ой, мій краю довбушанський,
Моя Верховино!
Ій, як люблю вас, рідненькі,
Гори і долини.

Пелюсточки на тюльпанах.
Як огнем палають,
Як збігаю я легенько
По крутому плаю.

Неси, вітре, мою пісню,
Ген, за полонину.
Ой, мій краю довбушанський,
Моя Верховино!*

По гнущейся даже и под ее ногами узенькой кладочке перебегает Иванна быструю горную речку, как вдруг перед ней, хитро щуря глаза, возникает сельский письмоносец Хома.

— Танцуйте, панно Иванна! — предлагает Хома.

— С какой стати?

— Говорю — танцуйте! — бросает Хома, размахивая письмом.

— Это мне? — восклицает Иванна.

— Танцуйте же!

Иванна, подпрыгнув, выхватывает из рук почтальона письмо, разрывает конверт, читает. Глубокие карие ее глаза наполняются счастьем. Она неожиданно целует в жесткие, прокуренные усы озадаченного Хому и, подобно горному ветру, мчится в парафию, расположенную близ деревянной церкви причудливой, бойковской архитектуры.

Окруженная пихтами, стоит уже много лет эта церковь на окраине местечка, а рядом с ней — парафиальный дом, где живут Ставничие. На погосте, возле церкви, собралась празднично одетая молодежь. Слышится песня.

Бежит Иванна и бросается на шею отцу — декану Теодозию Ставничему.

— Поздравь меня, таточку! Такая радость!

— Что случилось, доню? — озадачен Ставничий.

— Приняли меня в университет! Боже, как я рада! Как мечтала об этом, как молилась долгими ночами, и бог услышал мои молитвы!

Однако не в пример дочери старый священник не склонен так быстро разделять ее радость. Больше того, неожиданная новость ошеломила его, и, разглядывая уведомление, отец Теодозий говорит:

— Погоди, доню! А как же ты будешь жить одна во Львове? А свадьба?

— Йой, какая может быть свадьба, когда я студентка! Разве ты сам не хотел, чтобы я получила высшее образование?

---

* Слова Н. Романченко.

— Так ведь это за Польши было! — замечает Теодозий. — А теперь — другие времена. Кто знает, какие порядки в этом безбожном университете?

— Мы еще поговорим об этом, татку, — не дослушав, бросает Иванна и, заметив вдали подругу, кричит ей: — Агов, Юльця!

Подбегая к молодежи, Иванна бросается к Юле Цимбалистой.

— Поздравь меня, Юльця!

Внимательно читает уведомление Юлька Цимбалистая. Через ее плечо заглядывает в письмо высокий, стройный хлопец в зеленой тирольской шляпе с кимовским значком на вышитой рубашке.

Издали под звуки маршевой песни приближается подразделение военной инженерной части.

— А видишь? А видишь? — явно заинтересованная в таком исходе дела, гордо восклицает Юля. — А ты все ныла: не примут и не примут!

— Ты была права, Юлька! Курносая и дорогая моя подруга! — целуя Юльку, приговаривает Иванна.

Хлопец в тирольской шляпе, протягивая Ставничей руку, говорит:

— Олекса Гаврилышын! Разрешите и мне поздравить вас, товарышко Ставничая. Быть может, встретимся еще не раз во Львове! Хороший это город и открыт теперь для нас навсегда...

Слышится рядом команда:

— Взвод, стой!

Останавливаются красноармейцы.

Щеголеватый старший лейтенант Зубарь обращается к Иванне:

— Простите, гражданка! В Нижние Перетоки — сюда?

— Прямо, а там за бугорком, минуя кладку, налево, — показывает Иванна.

— Спасибо, уважаемая! — щелкает каблуками Зубарь.

— Вам спасибо! — взволнованно говорит Иванна. — За все спасибо! — И протягивает ошеломленному командиру букет горных и полевых цветов.

Удивленное лицо Зубаря. Улыбается молодежь. Улыбаются бойцы...

...Возникает шумная центральная часть Львова. Мы видим Иванну среди прохожих. У нее густые длинные волосы, небрежно, волнами сбегающие на плечи, острый, красивый нос с раздувающимися ноздрями, брови вразлет. Походка Иванны удивительно легкая. Небольшой чемоданчик в руке нисколько не мешает ей лавировать среди прохожих.

Иванна с удивлением разглядывает все, что встречается на пути. Ее глазами мы и видим заполненные народом улицы Львова 1940 года.

Из города баррикад, рабочих восстаний и одновременно внешне тихого воеводского центра он сразу стал шумным перекрестком потревоженной войной Европы. Война докатилась до самых его окраин и на время уползла вместе с гитлеровскими танками обратно за реку Сан.

Мы видим перед собой еще сохранившиеся частные магазинчики и столовые с польскими и украинскими вывесками.

«Кафе де ля пэ», «Готель «Европа», «Сапожник Солюс», «Кафе Вельца», «Обіди, як у мами» и другие заведения шумными рекламами зазывают к себе клиентов и посетителей.

Угасающие пани прогуливают по тротуарам откормленных такс, нервных болонок и тупомордых, жирных, лоснящихся бульдогов.

Пожилые пенсионеры в котелках, мелониках и канотье, с тростями, украшенными монограммами, прохаживаются по «корсо», вперемежку с более скромно одетыми в спортивные костюмы беженцами из центральной Польши. У некоторых беженцев на ногах окованные медными полосками лыжные ботинки на толстых подошвах, а за плечами — рюкзаки со всем скарбом, который удалось им принести из городов и селений, занятых гитлеровцами.

...А вот раввин вывел на прогулку воспитанников хедера или талмудторы: на тонких рахитичных ногах подростков, которые из детства сразу перешагнули в старость, натянуты белые, до колен, чулки. Такого же белого цвета, но с голубоватым отливом их худые лица, окаймленные длинными пейсами.

Среди потока прохожих мы без труда можем различить подлинных хозяев освобожденного города:

молодых гуцулов, веселых девчат в нарядных украинских одеждах, перед которыми Советская власть широко открыла двери школ и институтов старинного украинского города.

Их появление на самой оживленной львовской магистрали вносит особенную новизну и пугает всех тех, кто еще недавно задавал тут тон и был законодателем этикета.

Мы видим и старичков, которые в своем облике сохранили верность не столько последним маршалкам Польши, сколько австрийскому монарху: усы и бакенбарды у них точно такие, как у самого живучего из Габсбургов, императора Франца Иосифа.

Мелькают по улице последние лицеисты Львова в разноцветных бархатных шапочках-корпорантках. Спешат на работу усатые, все в черном, львовские трубочисты, похожие на чертей, покинувших преисподнюю: в руках у них длинные пики и шнуры с гирьками, а на головах профессорские шапочки.

На фоне пестрого людского потока возникает мелодия самой популярной песни тех времен — «Катюши».

Поют песню красноармейцы, идущие на вокзал в полной выкладке, со скатками, с котелками. Они шагают в касках, в выцветших гимнастерках.

Взоры прохожих обращаются к идущей колонне. Одни смотрят на советских воинов с восхищением, другие — со сдержанным любопытством. Третьи, в сапогах-«англиках», те, что долгие годы распространяли сказки о «большевистских фанерных танках»,— с плохо скрываемой ненавистью...

Иванна приблизилась к тому самому перекрестку, где спустя пять лет увидели мы похоронную процессию.

Обращается к пожилому человеку в старомодной крылатке:

— Простите... Как пройти к университету имени Ивана Франко?

На лице встречного отражается ирония.

— К университету имени Ивана Франко? — ядовито переспрашивает прохожий. — Шестьдесят пять лет живу во Львове, но не знаю такого университета! Если же пани хочет посетить университет Яна Казимира, тогда попрошу свернуть налево.

И, галантно приподняв черную шляпу «борсалино» с вогнутыми полями, сделав учтивый поклон, прохожий исчезает, покидая ошеломленную Иванну.

Счастье украдено

Оставляя слева Иезуитский парк, Иванна медленно приближается к порталу университетского здания, украшенного аллегорическими изображениями Вислы, Днестра и Галичины.

Слышится за кадром голос отца Теодозия:

— *...Если бы вы знали, с какой радостью поехала моя Иванна во Львов! Все мои попытки удержать ее в нашем прикарпатском местечке оказались ни к чему...*

Навстречу Иванне стайками бегут оживленные, возбужденные, должно быть, недавно зачисленные в университет студенты.

Иванна задерживается на мгновение у новой вывески: «Державний університет імені Івана Франка» — и входит под высокие своды серого здания.

На стенах вестибюля вывешены списки принятых в университет.

Иванна останавливается возле списков.

Вначале спокойно и уверенно, но потом все более нервно она ищет, но так и не находит своей фамилии.

Меняясь в лице, взволнованная Иванна бежит по широкой лестнице на второй этаж.

На фоне встречного многоликого потока молодежи — расстроенное лицо Иванны.

Кабинет секретаря приемной комиссии Дмитра Каблака.

Строгий, замкнутый, хорошо причесанный Каблак стоит перед Иванной.

Их разделяет письменный стол, нагруженный делами.

Девушка протягивает Каблаку извещение.

— Вот, — говорит она, — меня приняли в университет, но в списках моей фамилии нет...

Каблак скользнул по заявлению и сухо отрезал:

— И не будет!

С этими словами он разрывает извещение.

В отчаянии следит Иванна за тем, как белые листки бумажки, виляя, падают в плетеную корзину. И кажется ей, что не извещение это, а в клочья разорванная ее судьба летит туда, в мусор.

— Почему же? — простонала Иванна.

— Есть причины, — сказал Каблак.

— Я окончила гимназию с отличием...

— Роли не играет, если социальное положение...

Не дослушав Каблака, Иванна воскликнула:

— Боже мой! Как это все жестоко: вызвать меня издалека, так обнадежить и сразу разрушить все...

Она опускается в кресло. Припав лицом к острому краю письменного стола, заливается слезами.

Иванна не видит странной усмешки, проскользнувшей по лицу Каблака. Он подходит к ней и, меняя тон, успокаивает девушку.

— Я тоже местный человек и хорошо понимаю ваше горе. Не мы завели эти порядки. Их принесли о н и — с Востока...

Иванна вскакивает. Более мягкий тон Каблака внушил ей надежду.

— Знаете что! Пойду к ректору! Я расскажу ему все! Я расскажу, как мечтала учиться дальше...

Каблак смеется. Удивленными глазами смотрит на него Иванна.

— Милое, наивное дитя! Я передал вам решение ректора. Его собственное решение, поймите! А будете возражать и жаловаться, он воспримет вашу обиду как недовольство Советской властью, и вместо университета вы отправитесь с отцом вашим в Сибирь. К белым медведям. А вы хотите познакомиться с белыми медведями?..

Растерянная Иванна доверчиво спрашивает:

— Что же мне делать?

— Для них вы чуждая! Навеки чуждая. Поймите. Таков закон нового, советского времени. Вы будете писать в анкетах об этом, отвечать на собраниях, каяться! — говорит вдохновенно Каблак. — Если, конечно...

— Что — конечно?..

— Ну... Подайте публикацию в газету «Вільна Україна». Напишите, что вы отрекаетесь от бога и своего отца. Так заведено у Советов.

Иванна вскочила. С ненавистью посмотрела на Каб-лака.

— Да как вы можете?.. — Но продолжить у нее не хватило сил.

Выбежала Иванна, гулко хлопнув за собой дверью.

Под сводами старого храма

Потрясенная отказом, девушка заходит с площади святого Юра в ворота греко-католического собора, что господствует над окружающей местностью, возвышаясь на холме. Иванна приближается к триумфальной арке, украшенной короной, сплетенной из терниев, и вынуждена посторониться.

Оттуда, сверху, с подворья, на фиакрах еще австрийского образца выкатывает свадьба.

На сиденье первого фиакра — сияющая новобрачная в белой фате и самодовольный, пьяноватый жених с флердоранжем в петлице пиджака. За ними едут шаферы, дружки, родные жениха и невесты.

Тупое в своей ограниченности счастье проносится мимо во всем блеске торжествующей обывательской пошлости.

...Иванна скользнула по кавалькаде отсутствующим взглядом и поднялась на крыльцо собора.

...Тихо и пустынно под высокими, холодными сводами собора святого Юра.

Глядят на Иванну усталыми, поблекшими глазами изображения митрополитов, что некогда правили здесь.

Из далекого захристия доносятся приглушенные и деловитые голоса священнослужителей.

Иванна Ставничая заходит в притвор и, упав на колени, начинает молиться.

Тусклые отблески горящих свечей озаряют полное религиозного экстаза лицо Иванны, обращенное к образу богоматери.

Слышен голос Иванны:

— Царица неба и земли, дева пречистая, матерь божия, заступница наша, я никогда не откажусь от тебя!.. Почему люди так несправедливы? Разве я отверженная или прокаженная? Чем я хуже других?

...Глухие рыдания прерывают молитву Иванны. Крупные слезы появляются на ее прекрасных карих глазах, устремленных к старинной иконе богоматери.

Слезы катятся по смуглым, загорелым щекам девушки, одна за другой падают на холодный пол собора святого Юра...

...Из-за колонны неслышно появляется митрат Кадочный — высокого роста, пожилой бородатый человек с мягкими, вкрадчивыми движениями. Мы уже видели его в прологе фильма в первых рядах священников, шедших за гробом митрополита.

Кадочный слушает, как рыдает Иванна, улавливает обрывки ее молитвы, а потом, опустившись рядом с нею на колени, положив девушке руку на плечо, говорит:

— Кто тебя обидел, дочь моя? Открой мне свою душу...

Шкатулка митрополита

Коридор в палатах капитулы.

Предупредительно показывая Иванне дорогу, митрат Кадочный ведет ее в покои митрополита.

Они входят в библиотеку. Стены ее — книжные шкафы. Среди книг духовного содержания видны сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, тома Большой Советской Энциклопедии. Уверенный в своей духовной стойкости, митрополит никогда не боялся «ереси». Портреты римских пап в золотых тиарах соседствуют с развешанными на стенах изображениями деятелей унии и предшественников последнего униатского митрополита. На почетном месте красуется папа римский Урбан VIII. Как боевой наказ начертал неизвестный художник в уголке портрета слова наместника бога на земле, обращенные к греко-католикам: «С помощью вас, мои русины, я надеюсь обратить весь Восток...»

В дверях появился рослый монах — самый приближенный келейник митрополита — и доложил Кадочному:

— Его эксцеленция на балконе... Прошу...

На балконе капитулы, откуда открывается прекрасный вид на взгорья Львова, полулежит прикованный уж много лет неизлечимым недугом к передвижному креслу униатский митрополит граф Шептицкий.

Его-то мертвое лицо, окаймленное окладистой седой бородой, мы и видели в начале фильма в гробу на катафалке.

Когда Иванна по установленному ритуалу опускается перед ним на колени, Шептицкий милостиво протягивает девушке распухшую от элефантиазиса и других болезней мясистую руку.

Иванна целует перстень со святыми мощами на руке митрополита. Он осеняет девушку крестным знамением и говорит кротким, приглушенным голосом:

— Отец Орест поведал мне о твоем горе, дытынко. Почему же ты стеснялась зайти ко мне?

— Я не хотела нарушать покой вашей эксцеленции...

— Мое сердце открыто и в минуты отдыха для всех страждущих. А ты еще и моя крестница. Скажи — это правда, что они требовали, чтобы ты отреклась от господа бога нашего?

— Не только от бога, но и от моего отца, ваша эксцеленция!

Задумчиво устремив свой взгляд на холмы Львова, говорит митрополит Шептицкий:

— Слуги антихриста топчут сейчас нашу землю.

С площади святого Юра доносится звук пионерского горна, а затем звонкие слова песни:

Грими, грими, могутня пісне,
Як ті громи весняних бур!
Хай знає панство ненависне,
Що наша армія, як мур...

...Под звуки барабана, на котором выстукивает походный ритм курносый, забавный пионер, проходит со знаменами и флажками мимо старой твердыни католицизма один из первых отрядов пионеров Львова. Некоторые из них еще не имеют полной формы: на головах у мальчиков бархатные шапочки, у девочек — форменные мундирчики старого образца с номерами школ на рукавах, но у всех уже повязаны красные галстуки.

Весело поют самые молодые из молодых советских граждан Львова, и звуки походной песни смело перелетают через монастырскую стену на балкон капитулы.

Прислушиваетя Шептицкий, вздыхает:

— Поют свои бесовские песни! Пионеры поют. Большевистское отродье! Закон божий в школах запретили. А когда я запротестовал, письмо властям послал, чтобы отменить запрет и не вводить отряды пионеров в школах, ты думаешь, ответили хотя бы мне? Посмеялись только! Бессильны мы пока, дочь моя...

Доносится с площади громкий стук барабана и веселая песня:

Здравствуй, милая картошка,
Низко бьем тебе челом...

Говорит Шептицкий:

— Слышишь, дочь моя? Занесли сюда, на Украину, свои кацапские песни! Картошка бога им заменяет теперь... Но я твердо верю, что это продлится недолго.

— А что же мне делать сейчас, ваша эксцеленция?..

— Все будет хорошо! Не горюй о безбожном университете. Посвяти себя всецело служению в обществе имени пресвятой девы нашей Марии. Детей спасать надо. Их спасать! Молодежь. И пусть тебе поможет в том избранник. — Митрополит пытливо посмотрел на Иванну. — Вы уже обручены с богословом Романом?

Иванна смешалась. Она явно не ждала такого вопроса. Осведомленность митрополита захватила ее врасплох.

— Роман... говорил с папой... Но я...

Голосом, не знающим возражений, Шептицкий прервал:

— Роман — достойный избранник твоего сердца. Он верный слуга и воин божий. Роман — один из лучших выпускников духовной семинарии, мой стипендиат. В наше страшное время, когда сатана ликует повсюду, будь Роману надежной подругой...

Растерянная Иванна пыталась было что-то объяснить, но Шептицкий взял с балюстрады звоночек и помахал им.

Из-за застекленных дверей вышел келейник. Митрополит делает ему условный знак, и келейник приносит дорогую, инкрустированную шкатулку.

Шептицкий привычно роется в шкатулке. Погодя он извлекает оттуда золотое обручальное кольцо и надевает его на палец ошеломленной девушки.

— Иди, моя дочь Иванна, по пути, уготованному тебе всевышним! Живи в честном и святом супружестве христианском. Борись со слугами антихриста, а твоему отцу и твоему избраннику передай мое благословение!

Резким движением руки Шептицкий приказывает келейнику убрать шкатулку и нечаянно сбрасывает на бетонный пол серебряный звоночек.

Он, позванивая, катится к балюстраде...

Гости в парафии

...Звон серебряного колокольчика сливается со звоном рюмок и бокалов.

Парафия декана Теодозия Ставничего. Светлица полна гостей.

Они сидят за нарядным столом, заполненным бутылками и закусками.

Вина довоенных запасов в причудливых бутылках красуются на столе. Здесь венгерские «Токай» и пурпурный «Бикавер», итальянское «Киянти», вермуты «Торино», «Чинзано», «Белларди», тут и «Бенедиктин» в пузатой бутылке, и высокий «Рейнвейн», и французское «Бургундское», и непременное «Лакрима Кристи»...

Все вина собирались и хранились издавна, а сегодня извлечены из подвалов отцом Теодозием по поводу обручения его единственной дочери.

Совсем иным, помолодевшим, энергичным и даже слегка суетливым кажется нам теперь отец Теодозий— он совсем не похож на подавленного неизвестным еще зрителю горем старика, которого завел высокий железнодорожник в Иезуитский парк Львова.

...Звучит громкое пение «Многая лета» после тоста, который был произнесен кем-то из гостей.

Растерянная, заметно подавленная, сидит на почет-

ном месте рядом с молодым богословом Романом Геретой Иванна.

Старинной чеканки серебряное монисто и такие же большие серьги и нарядное, цветастое платье делают ее еще более похожей на уроженку карпатских верховин.

Поднялся над столом отец Теодозий:

— Достойное общество, я бы хотел выпить чарусию за здоровье своего будущего зятя Романа и моей дочурки Иванны. Да будут они счастливы в этом грешном мире, потрясенном войной, и пусть война обойдет их дом...

Выйдя из-за стола, Теодозий Ставничий целует дочь, потом Романа.

Опять поют гости «Многая лета, лета, лета...»

Поет игуменья монастыря ордена василианок, поет сестра Моника, поет старенький дьяк, поет школьная подруга Иванны — веселая и разбитная Юля Цимбалистая, поют остальные гости, прибывшие на обручение не только из окрестных сел, но и из Львова.

Роман Герета снимает кольцо с пальца невесты.

Держа перед собой на ладони поблескивающее кольцо, он говорит тихим, но уверенным голосом опытного проповедника:

— Я предлагаю выпить за здоровье нашего обожаемого митрополита Андрея... Его эксцеленции нет за этим столом, но я не ошибусь, если скажу: митрополит здесь! Он незримо присутствует рядом с нами. Он почтил скромное наше празднество драгоценным подарком! — Роман приближает кольцо к глазам и читает дрогнувшим голосом: «Моей крестнице на счастье. Кир-Андрей». — Обведя глазами всех присутствующих, как бы желая выяснить, какое впечатление произвела эта новость, Герета после намеренной паузы продолжает, вертя кольцо в длинных и тонких пальцах: — Вы знаете, немало крестниц у его эксцеленции во львовской епархии и даже за далекими морями — в Канаде и Америке, особенно в пастырских семьях. Число их увеличивается после всякой новой канонической визитации его эксцеленции, ибо кроткая, голубиная душа владыки не в состоянии отказать в подобном благодеянии любому смиренному христианину. Но отнюдь не каждая крестница митрополита, а лишь

самые избранные удостаиваются такой чести. И я, скромный слуга божий, безмерно счастлив оттого, что моя невеста сумела честно пройти по стезе господней от купели до сегодняшнего дня и заслужить такое признание владыки... Пусть же еще многие лета восседает владыка на своем высоком престоле во Львове. Пусть он — наш украинский Моисей — опытной рукой духовного кормчего поведет корабль святой церкви на широкие просторы до берегов Тихого океана. Да поможет всем нам владыка спасти от безбожия Украину до тех дней, пока гром кары божьей не покарает окончательно всех грешников... За его эксцеленцию!..

Гости запевают: «Боже великий, единый, нам Украину храни!»

...Из-за общего шума и пения не слышно, как в затемненную часть светлицы вошли капитан Журженко и старший лейтенант Зубарь.

Кашляет Зубарь.

Роман первым заметил вошедших, дернул за руку Иванну.

Взгляды гостей встречаются со взглядами задержавшихся у порога военных.

Зубарь, козыряя, спрашивает простуженным басом:

— Извиняемся... Кто здесь хозяин?

Отец Теодозий выходит из-за стола и нетвердыми шагами направляется к Зубарю. Растерянность и тревога скользят в каждом его движении. Да и всем гостям совершенно непонятно появление советских военных.

— Простите, батюшка, — солидно заявляет Зубарь. — Так что из районного Совета до вас направление. На постой к вам определяют капитана Журженко. Жилплощадь-то у вас богатая, а в местечке уже не продохнуть...

Пока Ставничий, читая ордер, собирается с ответом, Иванна бросает дерзко:

— У вас на Востоке так принято вторгаться в мирные дома без всякого согласия хозяев, да еще в столь позднее время?

Пристально посмотрел на девушку Журженко. Подавляя обиду, замечает мягко:

— Военные обстоятельства не всегда можно согла-

совать с желаниями мирного населения. Что же касается позднего времени... Где здесь спящие?

Отец Теодозий поспешно гасит перепалку. Взяв капитана под руку, говорит миролюбиво:

— Не осуждайте дерзость дочери, гражданин командир. Пойдемте, я покажу вам свободную комнату...

Впереди идет отец Теодозий со свечой. За ним осторожно, стараясь не удариться о притолоку, закопченную дымными четверговыми пасхальными крестами, движутся, нагибая головы, Журженко и Зубарь.

Они заходят в комнату с неприхотливой обстановкой: односпальная кровать, этажерка, письменный стол, гуцульский коврик на стене с ясеневым, потемневшим от времени распятием да большая икона богоматери с сердцем, проколотым булавками, — вот все убранство комнаты.

— Электричества нет, но радио вчера провели, — извиняясь, говорит Ставничий, показывая на громкоговоритель, чернеющий у окна.

— Ну что ж... вполне удобно, — определяет Зубарь. — Однако мадам эту... придется, — указывает старший лейтенант на образ богоматери.

— Ладно, Зубарь: отставить! А где бы у вас помыться можно, батюшка?

— Летом мы моемся у колодца. Но, если угодно, принесем сюда тазик и воду...

— Не беспокойтесь. На воле удобнее, — сказал Журженко. — Где у вас колодец?

...Проплывают по Иезуитскому парку грустные ароматы осени. Кое-где подожгли костры, и едкий запах от раздуваемых ветром горящих листьев низко стелется над аллеями и лужайками пустынного парка, словно дым последнего военного жертвоприношения, совершаемого израненной и усталой львовской землей...

Теодозий Ставничий рассказывает, как бы извиняясь, железнодорожнику:

— Не обижайтесь за откровенность: нежданный визит ваших военных не доставил нам большой радости... Правда о Советской стране прорывалась сюда с трудом, через полицейские кордоны государства, которое считало себя бастионом христианства на Востоке.

Мы, его священнослужители, обязаны были вести борьбу с этой пусть даже маленькой правдой. Оба нежданных гостя казались многим из нас в тот вечер слугами антихриста...

...«Слуга антихриста» — Зубарь — обливает из ведра крепкую, мускулистую спину капитана Журженко.

Тот фыркает, кряхтит, плещется, как утка, холодной водой, а потом, утирая докрасна мохнатым рушником свое чуть скуластое, монгольского типа лицо с красивыми, миндалевидными глазами, замечает:

— Про «мадам» вы, товарищ Зубарь, сказали зря. Чувство такта вам изменило...

Обиделся Зубарь.

— При чем здесь тактика? Неужто вы, капитан, под иконой спать будете?

— Все можно сказать, но подходящими словами. Зачем оскорблять религиозные чувства верующих? Вы видели: у них свадьба!

— Невеста-то, видать, зубастая, — вывернулся Зубарь. — Из чуждых, а не стесняется. Даже глазами сверкнула...

Гости, заполнившие светлицу парафии, заметно приуныли. Лишь один старенький дьяк подвыпил и не теряется: не обращая внимания на соседей, он уплетает большой ломоть сальтисона, смазывая его горчицей...

Игуменья протянула скорбно:

— И ничего не скажешь, никому не пожалуешься. Гляжу—и сердце кровью обливается. Быть может, пока я здесь, там, во Львове, и мой монастырь под военную часть заняли. Какой они формации?

— Наверное, энкавудисты! — сказала Иванна.

— Они строят укрепления вдоль границы, — тоном человека осведомленного поправил невесту Герета. — Черные петлицы!

— С Гитлером договор, а границу укрепляют. Чудеса! — усмехнулась игуменья.

Герета заметил не без иронии:

— Мать игуменья думает, что Гитлер очень верит такому договору?

— Поскорее бы разуверился! Дай господи! — Игуменья перекрестилась.

Покосился на нее Ставничий и прошептал:

— Панове! Не забывайте старое правило: тут о политике не говорят. Особенно сейчас, когда и у стен— уши...

Старенький дьяк всполошился и, приложив к измазанным горчицей губам сальный палец, угрожающе зашипел:

— Тш-шш!

Рассуждая вслух, отец Теодозий сказал:

— А к столу пригласить придется. Неудобно — квартирант.

Причесывается у себя в комнате перед зеркалом Журженко. Старший лейтенант Зубарь орудует у репродуктора, чтобы пустить погромче песенку «Синий платочек», мелодия которой едва слышна.

Появился в комнате Ставничий.

— У нас маленькое семейное торжество. Милости прошу к скромному столу. Все будут рады видеть вас, граждане командиры... Простите, — я не разбираюсь в званиях...

— Да это не важно, — сказал улыбаясь Журженко. — Меня зовите запросто: Иван Тихонович. Я из запаса. А вот старший лейтенант Зубарь, Николай Андреевич, — вояка кадровый...

Вслед за священником они входят в светлицу. Капитану освобождают место между адвокатом Даско и стареньким дьяком. Зубарь усаживается рядом с Юлией Цимбалистой, и та сразу принимается накладывать ему в тарелку закуску. Зубарь косит глазом на бутылки с иностранными этикетками.

Богослов Роман перехватил взгляд Зубаря и с хорошо скрытой иронией, подчеркнуто вежливо, ядовито спросил:

— Простите, старший лейтенант, чего вам налить— «Киянти» или «Лакрима Кристи»? По-нашему оно зовется «Слеза Христа».

Заподозрив подвох, Зубарь удивленно переспросил:

— «Слеза Христа»?., Да я вообще-то... не того...— И глянул, как ведет себя Журженко.

Перегибаясь через стол, в разговор Зубаря и Геретры немедленно вмешался адвокат Даско:

— Хорошее вино — удел возраста. Лишь после того как старшего лейтенанта перестанут интересовать чары прекрасного пола, только тогда слава бутылки доброго вина взойдет в золотом сиянии на его горизонте...

— А может — чистой? Водочки? Сохранилась еще польская «выборова», — предлагает Герета, поднимая штоф.

Зубарь оживился.

— Можно и чистой...

Тем временем на другом конце стола словоохотливый адвокат Даско занялся капитаном и, пододвигая Журженко графин с наливкой, сообщил:

— Мы с вами почти коллеги, капитан. На заре юных лет я тоже был капитаном. Правда, служил в драгунах, а квартировал в Бродах...

Журженко неприязненно покосился на Даско.

— Вы служили в царской армии?

— В царской, да не в русской, — засуетился Даско. — Броды тогда до Австро-Венгрии належали, а я служил риттмейстером тяжелой кавалерии его цесарского величества Франца Йосифа... Был такой грех! Ха-ха-ха!

Наполняя свою рюмку наливкой, Журженко сказал подымаясь:

— Разрешите поблагодарить вас за гостеприимство и поднять бокал за здоровье молодоженов.

Даско осторожно тронул капитана за локоть и шепнул:

— Извините. Это еще не свадьба. Сегодня только обручение. Так сказать, прелюдия...

Желая выручить смутившегося капитана, отец Теодозий обратился к гостям:

— Товариство! Нежданный наш гость желает напутствовать голубят.

Журженко улыбается. В миндалевидных зеленоватых глазах его с поднятыми к вискам уголками светится недюжинный ум и добродушная ирония. Он еще не забыл первого отпора Иванны.

— Будем откровенны: мы не так нежданные, сколько непрошеные гости. Чего там греха таить. Тем

не менее я вижу перед собой молодых людей, решивших соединить навсегда свои судьбы. Хочу пожелать, чтобы ваша жизнь была на уровне того нового двадцатого века, в котором мы живем. Чтобы ветер с Востока, какой ворвался и в это пограничное местечко, освежил ваши мысли, волю, сделал целеустремленными желания, показал самую верную дорогу к будущему...

— Простите, капитан, — блеснув глазами, перебивает Иванна. — А что, собственно говоря, нового принес нам этот «ветер с Востока»?

— Доню! Как не стыдно! — шепнул Ставничий.

Чего-чего, но такого резкого и недоброжелательного вопроса Журженко не ожидал и заметно растерялся, подыскивая и не сразу находя нужные слова для ответа.

— Как—что? Вы еще спрашиваете! Самую справедливую конституцию... Право на труд, на образование... Ну вот университет во Львове для украинского местного населения. А сколько лет шла за него борьба.

Окончательно взрывается Иванна.

— Оставьте, капитан, эти сказочки для маленьких детей! То, что вы говорите, хорошо звучит на митинге, а на деле... — Иванна махнула рукой. — А на деле— мыльные пузыри. Лично я не вижу разницы между тем, что было...

— Иванна! — умоляюще выкрикнул отец.

— Я, папа, уже двадцать лет Иванна...

Пытается утихомирить невесту Герета. Усаживает ее.

Задремавший было дьяк Богдан проснулся и затянул хриплым голосом «Многая лета». На него зашикали. Одергивают дьяка.

— Разве я неправду говорю? — восклицает Иванна, глядя в упор на капитана. — Как была несправедливость, так и осталась...

Выскочив из-за стола, Иванна громко разрыдалась. Она убегает, рыдая, во двор, и слышно, как гулко хлопает за нею дверь.

Побежал за невестой Роман.

В тягостной тишине слышится спокойный голос Журженко:

— Спасибо за гостеприимство. Пойдемте, старший лейтенант. Вставать надо спозаранку...

Юля боится «длинных рук»

...Ощетинился усами арматуры железобетонный дот. Он глубоко ушел под землю неподалеку от пограничной реки. Еще и поныне в прибрежных лесах Сокальского, Рава-Русского районов вы можете встретить ставшие теперь ненужными укрепления подобного типа оборонительной линии, которую не удалось закончить до нападения гитлеровских войск на Советскую страну.

Бойницы дота, который мы видим на экране, еще пусты, но дот окружен строителями.

Прямо с грузовиков и подвод сбрасывают крестьяне лопатами привезенную землю.

Другие строители, взобравшись на вершину дота, укладывают на бетоне тяжелые пласты зеленого дерна. И внезапно, в течение какой-нибудь секунды, появляется над сероватой бетонной площадкой в густой зелени травы то багровая гвоздика, то желтый одуванчик, то голубой василек. Ясно, что строители хотят замаскировать созданный из железобетона дот так, чтобы он не выделялся на местности, был «зализан» и как можно лучше сливался с прибрежным ландшафтом.

Из люка укрепления вылезают Зубарь и капитан Журженко. Они спускаются по стежке к вьющейся над берегом Сана проселочной дороге. Вытирая руки платочком, Журженко признает:

— Воду подвели хорошо! Молодцы! А краны я сам раздобуду во Львове.

— Не узнаете эту принцессу, капитан?

По дороге, ведущей к станции, не замечая военных, с плетеной корзинкой в руке шагает Юля Цимбалистая.

На ее золотистые волосы наброшен легкий газовый платочек. Короткое платье из шотландки обнажает длинные загорелые ноги Юли, обутые в белые сандалеты.

Капитан тоже узнал девушку.

— Догнать и перегнать! — решает Зубарь.

— Не стоит, Зубарь! Отбреет, как меня вчера ее подружка.

— Проверим, кто из нас лучше знает эту тактику, — тоном бывалого ухажора решает Зубарь.

Он одернул получше гимнастерку, надвинул поглубже на лоб фуражку и ускорил шаг.

Делать нечего. Журженко тоже не отстает от Зубаря.

Когда они поравнялись с Юлей, Зубарь, козыряя, осведомился:

— Куда торопимся, уважаемая?

С удивлением оглядывается Юля. Преодолевая смущение, здоровается.

— Во Львов. На практику!

Крепко пожимая руку Юли, старший лейтенант подмигивает Журженко.

— И не кусается!

Юля смеется.

— С какой стати я должна кусаться?

— Ну, хотя бы из чувства солидарности с вашей подругой, — сказал Журженко.

— Ах, вон вы про что! — вспомнила Цимбалистая. — Не сердитесь ради бога на Иванну и не придавайте особого значения ее словам... У Иванны — большое горе...

— Какое горе? — допытывается Зубарь и отбирает у Юли ее корзинку.

Парафия. Лучи солнца играют на обеденном столе, застланном скромной клеенкой.

Плачущая Иванна лежит на кушетке.

— Я тебе добра желаю. С мотыкой против солнца захотела? А неприятностей — не оберешься...

Плачет горько Иванна.

Смягчился Ставничий.

Подсел к изголовью кушетки.

— Ну будет, доню! А что я могу поделать? В такое жестокое время живем...

Радио донесло из-за стены громкие звуки популярной песенки:

Во Львове идет капитальный ремонт...

Перелицованная наспех из польского «шлягера» бойкая песенка напоминает Иванне о том разочаровании, что постигло ее во Львове.

На мгновенье она перестала плакать. Прислушалась.

Внезапно вскакивает, топает ногами и начинает колотить кулаками в стенку.

Вскочил испуганно отец Теодозий. Истерически кричит Иванна:

— Ну разве это не свинство? Уйти, закрыть дверь и оставить включенным радио! Ну и послал бог квартиранта!

— Не бог, а райсовет! — замечает мягко отец Теодозий.

Дорога, по которой провожают Юлю на станцию Зубарь и капитан, теперь отдалилась от пограничной реки и тянется косогорами, зажатая полями наливающейся пшеницы.

Юля горячо объясняет:

— Я сама уговорила Иванну послать документы в университет. Меня же в медицинский приняли без всяких! А ее и подавно должны были принять: лучшая ведь ученица гимназии...

— Но все-таки — дочь попа, — осторожно заметил Зубарь. — Так сказать, нетрудовой элемент...

Дергает его за руку Журженко.

Полный обиды взгляд метнула Юля в сторону старшего лейтенанта. Даже ее вздернутый носик покраснел от волнения.

— Дочь попа? Да? Тогда почему же приняли в университет Зенона Верхолу из нашего местечка? Его отец первую мельницу имел и две «камяницы», а сейчас до фашистов убежал... на ту сторону! — Юля показывает рукой на противоположный обрывистый берег Сана, по которому прохаживается в рогатой каске гитлеровский пограничник — «гренцшутце».

Внимательно смотрит на него капитан Журженко и, помедлив, говорит:

— Видите ли, Юля, Николай Андреевич, конечно, немного переборщил. Мы следуем правилу: сын за отца не отвечает. А здесь — тем более. И, быть может, сам Зенон Верхола, которого вы назвали...

— Да вы его не знаете! — распалилась Юля. — Он сам — тоже штучка хорошая. Еще в гимназии с националистами путался. Подручным у Степана Бан-

деры был. А когда они в тридцать третьем убили секретаря советского консульства во Львове Майлова, Зенко в Данциг бежал от ареста.

— Молодой Верхола? — переспросил Журженко.

— Ну да, Зенко! — быстро повторила Юля. — И гимназию он из-за той политики не сумел закончить. Из восьмого класса его прогнали. А у Иванны...

Но тотчас смешалась, соображая, что проговорилась.

Умоляюще смотрит на капитана.

— Только... ради бога. Ничего не делайте. Я вам этого не говорила... Хорошо?.. У них — длинные руки...

...А Каблак прикидывается Иваном, не помнящим родства...

Комната приемной комиссии Львовского университета.

Примостившись на краешке письменного стола, Дмитро Каблак заигрывает с миловидной сотрудницей комиссии. Ее волосы заплетены коронкой.

— Пани Надийка еще не знает танго «Осенний день»? Да не может быть! Большое упущение. Наше последнее львовское танго. Куда лучше, чем «Гуцулка Ксеня». Вот послушайте...

Он насвистывает мелодию, размахивая в такт ногами в брюках гольф. Совсем иным он кажется, чем тот Каблак, каким мы видели его в столкновении с Иванной Ставничей: любезным, предупредительным, даже слегка приторным.

Зазвонил телефон на столе у Надийки.

Она лениво берет трубку, но, опознав, кто именно звонит, преображается и передает ее Каблаку.

Тот сразу делается серьезным.

Несколько раз он повторяет:

— Слушаю! Так! Так! — И заметался по кабинету. Быстро выхватывает из шкафа папки с делами.

В кабинет ректора университета Каблак входит как слегка замкнутый, исполнительный служака, обученный заранее отгадывать, а подчас и предупреждать вопросы куратора.

В мягком кресле наискосок от ректора сидит капитан Журженко.

Каблак скользит взглядом по капитану и, увидя на его черных петлицах значки инженерных войск, спокойно здоровается и выжидательно глядит на ректора.

Измученный посетителями седоватый ректор в больших очках с золоченой оправой тихо спрашивает:

— Скажите, Дмитро Орестович, кто вам дал право самолично отменять прием Иванны Ставничей?

Каблак чуть переменился в лице, но, овладев собой, переспросил:

— Кого?

— Вот фотография. Поглядите! — И ректор протянул Каблаку через стол снимок Иванны.

Каблак долго всматривается в фото, вертит его в руках, а потом, пожимая плечами, заявляет:

— Первый раз вижу!

Ректор убирает фото и замечает:

— Странная история.

— Простите, Иван Иванович, — вмешивается Журженко, — разрешите вопрос. — И, не дожидаясь согласия ректора, с ходу спрашивает: — Ваша фамилия Каблак? Не так ли? Дмитро Каблак?

— Ну, допустим, Каблак, а что?

Журженко оглядывает приметные гольфы секретаря приемной комиссии, его ноги в узорчатых чулках и остро спрашивает:

— Зачем вы нас обманываете? Ведь вы совсем не в первый раз видите эту девушку!

Деланно улыбаясь, Каблак настаивает:

— Нет, я вижу ее впервые... А, собственно говоря, какое...

— Тогда вы подлый лгун, — закипает Журженко. — Это имено вы отсоветовали ей идти к ректору. Вы запугивали ее ссылкой в Сибирь. Знаете, как это называется?

Каблак пожимает плечами.

— Пане... товарищ ректор... Это чистый наговор. Это нарушение конституции.

Журженко возмущается еще сильнее. Ведь Юлия Цимбалистая в самых мельчайших подробностях рас-

сказала ему, при каких обстоятельствах получила отказ в приеме в университет ее подруга...

— Наговор! — воскликнул капитан. — Скажите... Вы... А Зенон Верхола — тоже наговор?

Каблак бледнеет. Пытается оправдываться, но ректор, останавливая движением руки разбушевавшегося капитана, спокойно решает:

— Хорошо, Дмитро Орестович! Идите! С этим вопросом мы разберемся...

Непринужденной походкой Каблак покидает кабинет.

Едва он захлопнул обитую клеенкой дверь, капитан воскликнул:

— Ну, вы видите, какая бестия!

— Тем более неосмотрительно с вашей стороны выкладывать все козыри на стол, — поучает ректор.— Ну зачем вы кричали на него? Для чего фамилию Верхолы назвали? Ай-ай-ай! Мы бы осторожно разобрались сами...

Однако, понимая ошибку, но стыдясь признать ее сразу, Журженко доказывает:

— Если вы мне не верите — вызовите сюда Ставничую. Напишите ей несколько слов. Хотите, я передам ей ваш вызов?

— Не волнуйтесь, капитан! Что будет нужно — сделаем, — заметно нервничает ректор. И он встает, давая понять, что аудиенция закончена...

Разгоряченный перепалкой, капитан выходит из приемной ректора в широкий сводчатый коридор.

Ему невдомек, что стоящий за колонной Каблак указал на него сухощавому черномазому студенту.

Надо исправлять ошибку

Под горой Вроновских, на вершине которой краснеют бастионы львовской цитадели, тянется улица Дзержинского.

Шагает по ней Журженко.

Видно, его очень обеспокоила беседа с ректором университета, — конечно, ректор прав: погорячился зря и, возможно, раньше времени спугнул Каблака.

Не очень весело от этого на душе у капитана. Рас-

сеянным взглядом скользит он по лицам прохожих и, к сожалению, не замечает, что по другой стороне улицы его неотступно преследует черномазый студент.

В рассеянности не замечает капитан и бригадира водоканалтреста Голуба, вылезшего из люка городской канализации на пути у Журженко.

— Добрый день, Иван Тихонович! — окликает Голуб капитана, приветственно помахивая засаленной кепкой.

Журженко сворачивает с тротуара на мостовую и подходит к люку, огороженному треногой с красным кругом. Он пожимает натруженную руку Голуба.

— Как же это так, вы в городе, а до меня не зашли?

— Дела срочные, Панас Степанович, — поясняет Журженко. — Как слез с поезда утром, так все время мотаюсь по Львову...

Мимо, огибая треногу, проезжают грузовики, черные «эмки», подводы, легковые фаэтоны на резиновых шинах.

— А меня хлопцы все за вас спрашивают: когда уже наш инженер до тресту повернется? Не хотим без вас начинать ремонт коллекторов под Академической.

— Еще не долго служить осталось, Степаныч,— отшучивается Журженко, — я и сам по костюму штатскому соскучился...

И как только, перебросившись словами с Голубом, шагнул капитан дальше, немедленно потерял всякий интерес к афише фильма «Подкидыш» задержавшийся было у афишной тумбы черномазый студент.

Пошел дальше, по другой стороне улицы, в тени высоких каштанов, параллельно движению Журженко.

Капитан остановился у подъезда высокого дома на углу улиц Дзержинского и Кадетской.

У подъезда дома алеет вывеска: «Управління народного комісаріату державної безпеки УРСР по Львівській області».

Толкает металлическую дверь Журженко.

Подтянутый часовой, дежурящий у тумбочки с телефонами, приветствует капитана.

— Мне нужно срочно повидать уполномоченного, который занимается делами Львовского университета..

Часовой снимает трубку телефона...

...Слабо освещенный коридор. Человек в военной форме, лица которого мы не видим, подводит Журженко к плотной двери, открывает ее и пропускает капитана в светлый кабинет с просторными, широкими окнами. Окна в решетках, за ними шумят на фоне голубого неба высокие сосны и пихты.

В углу примостился несгораемый шкаф. На столе, затянутом зеленым сукном, стопка остро отточенных карандашей. Повыше карты Украины — портрет Феликса Дзержинского. Несколько стульев окружает другой стол, примкнутый ребром к письменному. Вот, собственно говоря, и вся обстановка кабинета.

— Прошу вас, садитесь, капитан, — предлагает уполномоченный Садаклий.

У него проницательные, серого оттенка глаза человека, привыкшего ничему решительно не удивляться, гладко выбритая, лоснящаяся голова, слегка сутулые плечи.

На саржевой гимнастерке знаки различия того времени и чекистский меч в серебряном овале на рукаве повыше локтя.

Заметно волнуясь, Журженко говорит:

— Я сегодня совершил большую ошибку, товарищ уполномоченный. Пока не поздно, разрешите рассказать о ней...

Кивает очень спокойно головой уполномоченный Садаклий и, как бы подбодряя Журженко, протягивает ему никелированный портсигар. Щелкнув, взлетает крышка портсигара, обнажая ряды папирос...

«К вечерне не буду»

В захристии маленькой деревянной церкви старенький дьяк с шумом открывает жестяную крышку для сбора приношений. Он высыпает из нее на металлическое блюдо разнокалиберную мелочь.

Послюнявив пальцы, дьяк ловко сортирует и пересчитывает монеты.

Тем временем «стажирующийся» богослов Роман Герета прихорашивается у зеркала.

— Холера ясная! — возмутился дьяк.

— Что такое, Богдане?

— Да какой-то нехристь польский злотый до кружки кинул. А куда мы его сдадим? До президента Мосцицкого разве в Швейцарию отошлем?

— Всего-то денег сколько?

— Минуточку... Шестнадцать рублей сорок восемь копеек.

Дьяк вздыхает.

— Не багато, — согласился Герета. — Этак мы не только крышу не перекроем, но сами ноги протянем...

— Нечего бога гневить, пане Роман, — сказал дьяк. — Кому горевать, а не вам. Какую невесту взяли! Сгуляете свадьбу, и вызовет вас митрополит до Львова. Там и молящихся больше и капитула рядом. А вот каково-то мне, горемыке?

Та же, гуцульской архитектуры, церквушка с фасада. Крытая гонтом, опоясанная галерейкой, удивительно легкая, она окружена двориком, заросшим старыми липами и пихтами.

Немного покосились белые кресты окраинного местечкового кладбища, а еще дальше в прозрачной, дрожащей синеве июньского дня виднеются отроги Карпатских гор, покрытых легкой дымкой. Все прикарпатские дали затканы у подножия гор паутиной легкого, сиреневого тумана.

Старушки осторожно сходят по скрипучим деревянным ступенькам на мураву погоста.

Им навстречу бежит письмоносец Хома в форменной фуражке связиста еще польского образца. Снял у церкви фуражку и, останавливая первую старушку, спрашивает:

— Слава Иисусу, титко Марийка! Пан богослов еще там?

— Навеки слава!.. Там... там... В захристии. Переоблачаются...

Просовывает голову в захристие почтальон.

— Можно до вас, егомость?

— Заходи, Хома...

— Депеша до вас, егомость, — сообщает почтальон. — Есть и другая, но то — до вашей невесты.

— Все равно. Давай, передам, — сказал Герета.

Почесал затылок Хома, заколебался.

— Да оно не полагается. И по советской инструкции тоже мы должны вручать депеши лично, под расписку получателю...

— Давай, давай, — настаивает Герета. — Ты от сватков такие формальности требуй, а я же — твой будущий пастырь...

Стоило почтальону удалиться, Герета вскрывает одну депешу.

Мы видим ее текст из-за спины Гереты, на фоне поблескивающего в алтаре иконостаса.

«Нижние Перетоки улица Под дубом Иванне Теодозиевне Ставничей Отказ приеме университет вызван недоразумением тчк Просим срочно явиться Львов получения студенческого удостоверения

Ректор университета имени Ивана Франко Колакевич».

Задумался Герета. Дробно постукивает пальцами по ясеневому комодику. Потом достает из-под реверенды лоснящийся от времени бумажник и аккуратно прячет в него телеграмму. Другая телеграмма вскрывается им уже более неспокойно.

«Нижние Перетоки парафия церкви святой Варвары Роману Герете Прошу прибыть день моего рождения

Дмитро»

Герета задумался еще больше. Он подносит уголок телеграммы к горящему фитильку в лампадке из красного стекла. Следит сосредоточенно за тем, как горит телеграмма, как завертывается в его длинных, тонких пальцах быстро сереющий пепел. Потом Герета растер пепел в порошок на том самом подносе, где недавно подсчитывал выручку дьяк Богдан.

Наблюдает с тревогой за действиями богослова дьяк. Нарушает молчание:

— Недобрые вести, ваше преподобие?

— На вечерне не буду, Богдане, — как бы очнувшись, решает Герета.

Подозревают Иванну

...Тихо, удивительно тихо и мягко звучит легкая, или, как звали ее во Львове, «настроенческая» музыка.

Обернувшись спиной к двум посетителям, сидящим в углу сводчатого ресторанного зала, моложавый тапер, лениво покачиваясь, наигрывает на пианино мелодию песенки «Львовская гитара».

Стены ресторанного зала испещрены рисунками, пародиями, стихами бывающих здесь представителей артистического мира.

Мы узнаем в двух — других здесь нет — посетителях зала одетого в штатское богослова Герету и Дмитра Каблака.

Герета говорит примирительно:

— Но пойми: я не мог не просить тебя помешать ее приему в университет. Если до рукоположения я не женюсь, то на всю жизнь останусь неженатым священником. Целебсом останусь, понимаешь? А лучшей невесты, чем Иванна, мне уже так быстро не сыскать.

— Тебе жениханье, а мне небо в крупную клетку, да? — взъярился Каблак.

Герета успокаивает Каблака и, подливая ему вина, говорит:

— А ты не волнуйся, Дмитре! Выпей!..

— Хорошо советовать — «не волнуйся», — говорит Каблак.

— Из большой тучи иной раз бывает малый дождь...

Каблак возмутился:

— Малый дождь? Его дело уже у ректора. Понимаешь? А в том деле фальшивый аттестат, по которому я по заданию организации принял Верхолу на юридический. Ясно тебе, что со мной будет, если они докопаются?

— А ты убежден твердо, что проболталась Иванна? — спросил задумчиво Герета.

— Да посуди сам: а кто же больше? — нервно отхлебывая вино, сказал Каблак. — Капитан тот са-

мый стоит у них на квартире. Она пожаловалась ему и попутно засыпала Зенка... А быть может, и всю организацию.

— Не может быть! — возражает Герета.

— А я тебе говорю — она! И ее надо... — Каблак положил руку на стол и согнул пальцы. — Телеграмму ты спрятал и, думаешь, на том конец? А они ее вызовут вторично, через райнаробраз. Что тогда? Ведь такого свидетеля они в покое уже не оставят. И вся наша боевка будет провалена. Верхолу я уже перевел на нелегальное.

— Тихо будь! — оборвал Каблака Герета, заметив, что тапер кончил играть и прислушивается.

— Вкусное вино. Очень вкусное! — допивая рюмку вина и не сводя глаз с тапера, протянул Каблак.

Тапер обернулся. Он снял с пианино маленькую гитару мексиканского типа и, подойдя к столу, предложил на странной смеси французского, польского и украинского языков:

— Панове... хочу... слушать... слухаты... шансон франсе!..

— Парле ву франсе? — отрывисто бросил Каблак таперу, показавшемуся ему подозрительным.

— Уй, месье! — заволновался тапер. — Я — французский офицер.

— Как вы сюда попали? — спросил Герета.

— Я был офицер связи армии Чехословакай. Потом — мерид, женился — вы понимай, Ужгород? Когда Гитлер инвазиен Прага, я — Эмиль Леже — разом дружина беги через Карпаты, сюда, радянський Львив...

— Теперь надо нах хаус... Во Францию... — заметил Герета.

— Франция — не хорошо. — Эмиль Леже становится на колени и мимически изображает, как маршал Петэн заискивает перед Гитлером. — Франция — Петэн. А Эмиль Леже, — тапер стукнул себя кулаком по груди, — Эмиль Леже люби советских люди...

И, поигрывая в руках легкой гитаркой, прикасаясь время от времени к ее струнам, француз Эмиль Леже запел, облокотившись на пианино, сентименталь-

ную песенку о двух влюбленных парижанах с улицы Ищите солнце...

С деланной вежливостью слушают песенку француза оба посетителя ресторана.

— Подслушивал? — спросил Каблак.

— Кто его знает, — отозвался Герета. — Только нам еще французского коммуниста до компании недоставало.

— Скажи, а тот капитан — кто по национальности?

— Украинец, — протянул Герета, — я выяснил. Оно и плохо. Уж лучше был бы он кацапом.

Восторженно поет француз, упиваясь звуками родного языка...

Звенят струны его маленькой гитары.

Герета, не глядя на Каблака, тихо проронил:

— Ну, добре. С Иванной мы придумаем что-нибудь. А ты как устроишься?

— Обо мне не беспокойся! — сказал Каблак и решительно и жадно выпил вино.

Выстрел на путях

Главный вокзал Львова. Полуосвещенным туннелем, что соединяет привокзальную площадь со станционными путями, спешат к поездам пассажиры с тюками и чемоданами.

Увлекаемый потоком пассажиров, торопится к поезду и капитан Журженко.

Спешит и не подозревает того, что его «тень» — подосланный националистами черномазый студент — пробивается к нему, но, то и дело оттесняемый пассажирами, оказывается на значительном расстоянии.

...Пуская облака пара, к перрону главного вокзала подкатил пригородный поезд «Нижние Перетоки—Львов».

Из вагона на перрон выскочила озабоченная Иванна.

В руке у нее зонтик и желтый чемодан.

Оглянулась и заодно с другими спутниками спустилась в туннель, даже и не предполагая того, что в это же самое время из другого, соседнего туннеля

вышел на перрон сыгравший столь значительную роль в ее судьбе капитан Журженко.

Он пересекает напрямик рельсы, приближаясь к поездам, ждущим отправления на пятом и шестом путях.

Преследует его черномазый студент.

Мчится, голося, по путям маневровый паровоз.

Оглянулся черномазый студент, увидел, что они одни с капитаном на путях.

Появился в руке черномазого никелированный браунинг.

Стреляет черномазый в спину капитана.

Еще сильнее потянул кольцо гудка помощник машиниста на маневровом паровозе.

Валится ничком на скользкие рельсы Журженко.

Метнулся в темень между составами стрелявший.

Голосит тревожно, пробегая перед вокзалом, маневровый паровоз.

За высокой монастырской стеной

Вход в женский монастырь ордена сестер-василианок. Мрачная прихожая. Тяжелые двери окованы железом. Квадратное окошечко в стене, над которым свисает с кронштейна кольцо, затянуто причудливой железной решеткой.

Иванна с натугой тянет на себя кольцо звонка.

В маленькой открывшейся форточке появилось испуганное лицо монашки.

— Пани до кого?

— Мать игуменья у себя?

— Ваша годность?

— Ставничая. Мать игуменья просила меня срочно приехать...

Видимо, заранее предупрежденная, монашка со скрежетом сбрасывает засовы и открывает дверь.

По тому, как легко и уверенно вбегает Иванна по скрипучей лестнице на второй этаж, можно догадаться, что не раз и до этого бывала она в монастыре. Дорогу в коридоре ей преграждает маленькая пожилая василианка — сестра Моника.

— Мать игуменья ждет тебя в крайней келье!

Очень странное впечатление производит эта крайняя келья, куда вошла, вернее, не вошла, а влетела Иванна.

Узкое сводчатое окошечко взято решеткой и упирается в брандмауер соседнего корпуса. Под потолком кельи горит тусклая электрическая лампочка.

Навстречу девушке поднимается игуменья Слободян.

— Случилось что-нибудь, мать игуменья? — бросилась к ней Иванна. — Я получила вашу записку...

Игуменья спокойно осеняет девушку крестным знамением, гладит ее с сочувствием по голове. Испуганные, ничего не понимающие глаза Иванны пытаются разгадать, что скрыто за бледным и бесстрастным лицом игуменьи.

— Что-нибудь страшное с Романом, да?

— Успокойся, дочь моя! Ты у своих. Единственное место, где тебе пока ничто не угрожает, — эта келья...

— Да объясните толком: в чем дело? — уже не просит, а настаивает Иванна.

— Минуточку, я сейчас, — с этими словами игуменья выходит, плотно закрывая за собой дверь.

Иванна с удивлением смотрит ей вслед и вдруг слышит, как со скрипом поворачивается ключ в замке.

Мгновение, другое, ничего еще не понимая, смотрит она на скважину и лишь после того, как суровая правда доходит до ее сознания, бросается к двери.

Тянет на себя.

Безуспешно.

Тянет сильнее.

Дверь не поддается.

Видно, не одну тайну скрывала она на своем веку, как и высокие, метровые стены, что наглухо окружили монастырь украинских иезуиток.

Иванна колотит в дверь кулаками, затем в отчаянии хватает со стола графин с водой и швыряет его в дверь.

Еще не успели отзвенеть стеклянные осколки на каменном полу, как дверь открывается, и на пороге кельи, словно гость с того света, появляется Роман Герета.

Бросилась к нему ошеломленная Иванна.

— Что означает эта комедия?

Усаживаясь на стул и потирая виски, скорбно отвечает Роман:

— Я был бы рад, чтобы все это обернулось комедией. Дело серьезнее, Иванна...

— Да не томите душу. В чем дело?

— Каждую минуту вас могут арестовать, — с некоторой торжественностью заявляет Роман.

— Меня? — Иванна засмеялась. — Да что я такое сделала?

— Случилось то, чего мы так опасались. Ваш любезный квартирант не забыл скандала, который вы ему закатили на обручении. Он написал на вас донос в энкавуде. Делу дан ход... Уже есть ордер на ваш арест... — Герета вздохнул.

— Матерь божья! Откуда вам все известно?

— Свет не без добрых людей...

— Нет... Трудно поверить... Ромцю, вы шутите?

— Такие «шутки» у них называются «антисоветской агитацией». Так, впрочем, он и написал в своем доносе...

— Разве я сказала что-нибудь такое?..

— Чего иного вы можете ждать от людей, потерявших веру в бога? А вы еще...

— Договаривайте!

— Вы сердце ему открыли и своих же людей выдали...

— Да что вы... Каких «своих»?

— Хотя бы Зенона Верхолу! — И Герета испытующе посмотрел на Иванну.

— Ну, знаете! — возмутилась Иванна. — Мое отношение к Зенку вам хорошо известно. Это пустоцвет и тип «из-под темной звезды». Но ничего о нем я капитану не говорила. Доносчицей я никогда не была и не буду!

— Вы правду говорите, Иванна?

— Конечно, правду!

— И капитан ничего не спрашивал о Верхоле?

— Решительно ничего! — отрезала Иванна.

— Странно. — Роман покачал головой. — И вы можете присягнуть, что говорите правду?

— Господом богом клянусь! — горячо сказала Иванна.

Роман укоризненно покачал головой.

— Не поминайте имя господа бога нашего всуе, Иванна. Я вам поверю и так. А веря, предостерегаю: дело очень плохо. И отцу Теодозию оно сулит большие неприятности. И мне.

Заволновалась Иванна. Растерянно смотрит на жениха.

— Спасибо вам, Романе... Спасибо... Как же мне поступать?

Голосом приказа Герета говорит твердо:

— Для всех окружающих вы уехали в Киев. Понятно? Искать правды и добиваться приема в Киевский университет. Перед отъездом вы поссорились с отцом, который вас туда не пускал и был против отъезда. Понятно? А вы на ножи пошли с ним, остро поспорили... И, уехав, никому не оставили своего адреса.

— Позвольте... — недоумевает Иванна.

— В остальном же положитесь всецело на мать игуменью и на сестру Монику, — продолжает Роман.

...Звучат слова молитвы, читаемой одной из монашек:

«...Мы припадаем сегодня пред твоим жертвенником с любовью и послушанием, пред твоим наместником здесь, на земле, святейшим отцом Пием, папой римским, чтобы умолять тебя и доложить тебе о всех неисчислимых обидах, нанесенных твоему святому имени, о всех беспримерных богохульствах и ослепленной ненависти к твоим святым правдам...»

...На звуковом фоне молитвы — монастырская церковь закрытого типа.

Вечерня.

Тускло горят свечи.

Церковное пение.

Ряды коленопреклоненных монашек. Среди них, ничем не выделяясь, отбивает поклоны Иванна Ставничая...

Проплывают на экране дома одной из самых живописных магистралей города — улицы Энгельса. Вся в зелени, ровная и чистая, тянется она к предместью Кульпарков.

За серебристыми кленами, лапчатыми каштанами и плакучими ивами, в глубине зеленых палисадников возникают современные особняки, разностильные причудливые виллы, обросшие темно-зеленым плющом, диким виноградом и китайскими розами. Даже на трамвайных столбах, в металлических гнездах, напоминающих журавлиные, посажены цветы. Спускаются оттуда, сверху, вьющиеся стебли пламенной настурции и душистого горошка...

На панораме проплывающих домов звучит за кадром голос:

— *А за стенами вот этой виллы в те дни располагалась комиссия по переселению в Германию немецких колонистов из освобожденных Красной Армией земель Западной Украины. Сюда же обращались за помощью беженцы, оставившие свои семьи и дома в центральных районах Польши...*

Мы видим в глубине просторного зеленого двора большую виллу с черепичной готической крышей. По фронтону тянется надпись: «Вилла Франзувка».

У входа, почти до самой земли, свисает с флагштока гитлеровский флаг с черной свастикой.

На тротуаре подле виллы суетливо толпятся озабоченные женщины, дети, беженцы-мужчины, немецкие колонисты.

Поодаль, на стволах каштанов перьями, кнопками, а то и колючками японской акации приколоты списки беженцев, объявления о розыске родных, растерянных во время гитлеровского нападения на Польшу.

Очень уж необычным кажется в подобной обстановке советский милиционер, что деловито расхаживает в глубине двора.

Мимо группки торгашей шагает по тротуару бригадир Голуб. Сумка с инструментами у него на боку, тяжелый разводной ключ на плече.

Голуб задержался, прислушиваясь к оживленному гудению голосов, а потом тронул за локоть какого-то

почтенного, благообразного мужчину в длиннополом сюртуке.

— А тебе, пан, тоже до Гитлера захотелось? — спросил удивленно и миролюбиво Голуб.

— Ну, захотелось, а что? — сказал, озираясь, старик.

— Да хиба ж тебе, старому, здесь, под Советской властью, плохо? Веру твою или нацию кто зобижает... Сидел бы тута и не рыпался.

— Пане, Советы торговать не дают, а на той стороне можно лавочку открыть...

— Лавочку? — Голуб сперва опешил. — Эх ты, дурная голова! Да вас всех Гитлер там, за Саном, сперва обстрижет, а потом на мыло пустит. Вот тебе и весь гандель...

— Иди, пан, гуляй своей дорогой, — задиристо цыкнул на Голуба какой-то франт помоложе. — Агитацию не разводи, а то милиционеру сдадим... Язда!

— Милиционеру? — взъярился Голуб. — Это мой милиционер, понимаешь? Советский! За то, чтобы он ходил по Львову, я в тюрьмах панских годами гнил, в Луцке меня катовали. А вот поглядим, как вас там гитлеровские полицаи примут... Тьфу! Вот олухи дурные! — И Голуб в сердцах плюнул, чуть не наступив на ногу идущему ему навстречу Каблаку.

Они разошлись.

Огибая группки беженцев, лавируя между ними, пробегая на ходу объявления, Каблак приближается к вилле «Франзувка».

Его внешность изменена.

Плохонький, поношенный пиджак покрывает вышитую сорочку. Сквозь клинышек расстегнутого воротника на волосатой груди поблескивает серебряный крестик. На ногах у Каблака уже не щеголеватые клетчатые гольфы, а будничные коломянковые штаны и стоптанные сандалии.

Прикидываясь добродушным, наивным растяпой, Каблак подходит к постовому и почтительно снимает кепку.

— Пане товаришу! У меня сестра родная залышилась на той стороне. У Новому Санче. Мучается, бедолага, с тремя детьми. Я бы хотел сюда ее спровадить. Кажуть люде, есть какая-то комиссия...

— Отуточки комиссия, — указывает милиционер.

— А те паны дозволят моей Стефце перебраться на советскую сторону?

— Кто их знает? Запытайте.

— Кого... Немцев?..

— Ну да... Наведут справки.

— Воны ж фашисты! Разве можно розмовлять с ними?

Милиционер улыбается наивности посетителя и объясняет покровительственно:

— По такому делу разрешается. Даже нужно. Чем больше мы своих людей, украинцев, перетянем оттуда, от них, на советскую сторону, тем лучше. У нас же договор...

Осторожно пересекает заросший муравой двор Каблак.

Заходит в вестибюль виллы, где его встречает дежурный фельдфебель в форме вермахта.

Оглядываясь, Каблак быстро докладывает по-немецки:

— По срочному делу к господину Дитцу...

Из наплыва возникает кабинет «специалиста по украинским делам», советника переселенческой комиссии Альфреда Дитца.

Большой портрет Гитлера на стене. Из окон открывается двор, толпы ждущих вызова, гуляющий милиционер...

Рассерженный донельзя поджарый гитлеровец в элегантном сером костюме кричит на Каблака:

— ...Я же раз и навсегда запретил вам являться сюда! Ферботен! Понимаете?

— Господин Дитц!..

— Ваше появление равносильно провалу! — С этими гневными словами Дитц посмотрел в окно на шагающего по двору милиционера.

— Я уже почти провален, господин шеф! — сказал смиренно Каблак. — И потому прошу как можно скорее выдать мне пропуск на легальный выезд до Кракова...

— А если я не выдам?

— Воля ваша! Однако теперь, когда угроза ареста

преследует меня, я не могу оставлять при себе такие ценные документы.

Каблак достает из-за пазухи пакет и многозначительно кладет его на стол.

Несколько смягчаясь, Дитц спросил:

— Вас ист дас?

— То, что пан шеф поручил мне добыть! — не без бахвальства сказал Каблак. — Кроки новых советских укреплений на участке между Сокалем и Владимир-Волынском. — Каблак намеренно затянул паузу. — Они составлены с большим риском. Вся агентура по селам на линии Западного Буга набрасывала и уточняла эти данные. Двух «особисты» на месте пришили...

Дитц не без удовольствия разглядывает кроки.

— Что здесь? — показал он на какое-то топографическое обозначение.

Каблак наклонился над планом.

— По-моему, противотанковый ров. Он начинается у Корытницы...

Дитц прячет кроки в сейф и спрашивает:

— Хорошо, герр Каблак. Вы уедете, ну, а кто осветит район Нижних Перетоков?

— Сегодня был гость оттуда. Лицо духовное и вне подозрений. А в помощь направляю Зенона Верхолу. Он сам оттуда. Нелегал. В случае моего отъезда вы получите все на условной явке...

— Новые доты вооружаются? — отрывисто бросил Дитц.

— Большинство укреплений готово к приему орудий тяжелых калибров. Мои хлопцы с Тернопольщины доносят: Советы начали разоружать старую линию укреплений на Збруче и Днестре и скоро привезут вооружение...

— Мешать! Всеми силами!... — Дитц стукнул по столу. — Дайте команду агентуре...

— К сожалению, одними нашими силами...

— Какие еще силы вам нужны?

Желая доставить приятное советнику, Каблак отчеканил:

— Доблестные вооруженные силы Третьей империи, пане шеф!

— Ну, вы... Не вашего ума дело... А куда вы по-

девали девицу, из-за которой — как это говорят русские — «сыр и брот зажигался»?

— Мы запрятали ее в надежном месте...

— С капитаном, надеюсь, покончено?

— К сожалению... — Каблак замялся, — он только ранен...

— Что-о-о? — выкрикнул советник, свирепея. — Ранен?..

У больничной койки

Полулежит на подушках осунувшийся, со ссадиной на щеке капитан Журженко. На его тумбочке у больничной койки букеты цветов, клюквенный морс в кувшине, книги. В длинной, узкой палате никого больше из больных нет. Уполномоченный Садаклий в белом халате присел на стуле неподалеку от койки и слушает раненого.

— То, что улизнули Каблак с Верхолой, лишний раз подтверждает...

— С ними вопрос ясен. — Садаклий махнул рукой. — То гуси меченые. Притом — давно. Такие визитные карточки побросали — ой-ой-ой! Другого звена не достает. Более важного.

— Их сообщников?

— Иванны Ставничей.

— За чем дело стало? Вызовите ее.

— В том-то и дело, что Иванна исчезла. Наглухо. Понимаете?

Скрипнула дверь, и в палату вбегает в белом халате Юля Цимбалистая.

— Скандал, товарищ капитан! Еще до вас гости пришли. Нагорит же мне от дежурного врача...

— Послушайте, Юля, — остановил девушку Садаклий. — Вы твердо убеждены, что если бы Иванна поехала в Киев, то предварительно забежала бы к вам?

— Как же иначе? — утверждает Юля. — Чемодан-то ее у меня! Примчалась из местечка, швырнула чемодан на кровать, сказала: «Я скоро вернусь» — и все. День жду — нет. Второй — тоже.

— В университет она не могла пойти? — спросил Садаклий.

— Какой же университет ночью? — недоумевает Юля.

Переглянулись Журженко и Садаклий.

Из-за спины Цимбалистой выглянул Голуб. В руках у него букет белых лилий и пакет с провизией, откуда слишком нахально выползло горлышко винной бутылки.

— Сижу там, сижу — мало не заснул, а тут, бачу, весела компания!

— А кто вам дав право, дядько, без спросу сюда заходить? — ершится Юля.

— Який спрос для мене нужен, дочка? — улыбается Голуб. — Ты меня через двери не пускай, так я оциею трубою водопроводною пролезу. Старая крыса из львовских каналов!

Журженко заметил, что Садаклий пристально разглядывает Голуба, и сказал:

— Знакомьтесь, товарищи! То мой квартирный хозяин и сослуживец Панас Степанович, а это...

Как бы предупреждая пояснение капитана, Садаклий поднялся и, протягивая Голубу руку, сказал с легкой добродушной усмешечкой:

— Вообще-то мы десь бачились, но колы старых знакомых не признают, полезно познакомиться и вторично.

Голуб заметно опешил:

— Бачились?.. Може бути...

— Сидайте, Панас Степанович, — предложил капитан.

Усаживаясь, Голуб по-отцовски глянул на Журженко.

— Яка ж це холера бисова коцнула вас, инженер? Добре, що не в голову.

— А я свого часу говорила инженеру, — вмешалась Юля. — Бойтесь. У них длинные руки. Так они смеялись.

Поглядывая искоса в сторону Садаклия, Голуб сказал:

— Где же мы с вами могли видеться? Ума не приложу. Лицо будто бы знакомое... Вы по какой отрасли работаете?

— Да как бы вам объяснить? — Садаклий улыбается. — В украинском тресте «Саночистка»!

— «Саночистка»... — заволновался Голуб. — Та це ж, считай, одна парафия! А я у Львовском водоканалтресте, там, де и инженер. Под землей лазим. В тресте, мабуть, и зустричались.

— Возможно, — спокойно согласился Садаклий.— А еще был у нас с вами, товаришу Голуб, один общий знакомый, такий пан Заремба. Не помните?

— Какой Заремба? — заволновался Голуб. — з Луцка?

— Он самый. Тот, что любил на допросах заключенным в нос скипидар лить да почки отбивать.

— Ой, лишенько! — воскликнул Голуб. — Так вы ж тоже привлекались по Луцкому процессу. В 1934 году. Теперь я вас помню. Вот фамилию запамятовал.

— А фамилии у меня не было. Я по псевдо проходил. Тарас псевдо мое было. Как ни выбивали те каты Зарембины из меня фамилию, но так и не выбили.

Голуб вскочил от неожиданности.

— То це вы той самый товариш Тарас? Як же я, старый дурень, не признал вас одразу? Правда, в луцкой тюрьме еще чупрына у вас была пышная.

— Была да сплыла! — усмехнулся Садаклий. — Одно декольте осталось. — И он горестно провел пальцами по выпуклой, глянцевитой макушке.

— Нас разом допрашивали у того ката Зарембы,— обращаясь к Журженко, объяснил Голуб. — Целая зграя палачей слетелась в его кабинет, когда товарища Тараса и меня мордовали.

Наблюдая за встречей двух старых подпольщиков, радостно улыбается капитан Журженко и замечает:

— Похоже, вы старые побратимы!

— Та ще й яки! — гордо сказал Голуб. — Кто хоть раз за решеткой у Луцке у тех панов побывал, тому никакая сатана не страшна...

— Салям алейкум! — весело приветствует собравшихся в палате Зубарь.

Он в отличном белом накрахмаленном халате. Из верхнего кармана у него выглядывает докторский никелированный молоточек.

— Матка боска! — с ужасом воскликнула Юля.— А вы как сюда попали?

— Бочком — петушком, — шутит Зубарь. — Цер-

бер ваш неумолимый красный семафор поднял. Не пущает. Хоть плачь. Ну, я выяснил обстановочку, разведал поле боя и — через забор.

— А халат? Откуда у вас этот халат? О боже!— всплеснула руками Юля.

— Кабинетик такой по пути продвижения попался. Пустенький кабинетик. Вижу, халат на вешалке висит. Приятный. Накрахмаленный. Ну, я его оформил...

Протяжный и тревожный лай собаки будит отца Теодозия Ставничего. Отодвигая засовы дверей парафии, выходит он во двор.

К священнику бросается, виляя хвостом, большая черная карпатская овчарка с белой подпалиной на боку.

— Ты чего, Жук, волнуешься и спать мне не даешь? — говорит Ставничий. — Проголодался?

Виляет, жалобно скуля и припадая к земле, словно чуя недоброе, черная собака. Уже рассветает. На фоне прояснившегося неба выделяется силуэт церкви.

Ставничий насторожился. Он слышит звуки гортанных команд на соседнем, чужом берегу, какие-то резкие звонки, и внезапно его лицо озаряет отсвет орудийного залпа.

С грозным шелестом снаряд за снарядом пролетают над головой священника.

Ничего еще не понимая, он приседает, закрывает лицо руками, потом в ужасе крестится.

Термитный снаряд врезается в колокольню церкви и поджигает ее.

Багровые отсветы пляшут на стенах комнаты, где спит Роман. Грохот близких разрывов будит богослова, и он, полуодетый, выбегает на деревянное крыльцо.

Близкие орудийные залпы и соседние разрывы освещают исступленное, мигом переродившееся лицо Гереты. С жадностью и надеждой глядит он на запад, в сторону Засанья, откуда бьет по советской земле гитлеровская артиллерия.

Крестится богослов Роман. Вдохновенно, радостно осеняет он крестным знамением высокий лоб, изборожденный ранними морщинами и покрытый от волнения испариной.

— Началось... Слава тебе Иисусе!.. С нами бог!— шепчут узкие губы Гереты.

Шепчет Роман Герета продолжение той молитвы, что слышали мы в монастыре:

— «...Найсладчайший Иисусе!.. Вместе со всеми небесными опекунами этой несчастной страны окажи милосердие ее многострадальным народам, укороти дни их тяжелого опыта, просвети незрячие умы угнетателей, чтобы острие своей ненависти заменили знаком любви, сделай так, чтобы снова, как когда-то, во времена святого Владимира, засияла над ними твоя благодать...»

Горизонт над Саном розовеет...

Издали доносятся звуки церковного колокола.

Над пограничным местечком возникает и ширится зарево пожара. Сообразив, что именно и где горит, натянув черную реверенду, мчится Герета на звуки церковного колокола.

Как тощая черная птица, перескакивая на бегу канавы, стуча подметками по настилу кладок и мостов, сбивая бурьяны, мчится озаряемый все больше заревом пожара простоволосый, длинный Роман Герета.

И только временами обнажающиеся из-под реверенды высокие сапоги, надетые прямо на кальсоны, придают его облику земные, человеческие черты.

А рядом вытаскивают из домов сонных детей мирные жители. Они бегут в подвалы, хрустя по выбитым взрывами оконным стеклам.

Пробегают, сжимая винтовки и автоматы, полуодетые пограничники.

Иные из них бегут босиком.

Чуть не сшиб богослова старший лейтенант Зубарь. В руках у него пистолет.

Полуобернувшись, он кричит бойцам:

— Сазонов, задержись и передай отставшим: мы занимаем огневую точку у моста.

Когда Роман Герета забегает во двор парафии,

деревянная церковь и соседняя с ней колокольня уже пылают вовсю.

Со слезами на глазах, держа под мышкой библию и парафиальные книги, следит за пожаром окруженный группой полуодетых прихожан Теодозий Ставничий. Молча останавливается подле него Роман Герета, слегка поддерживает старика.

Оглушительный треск снаряда заставляет их пригнуться.

Ослепительная вспышка пламени возникает там, где еще секунду назад остро вырисовывался на кровавом небе угол парафии. Рушится крыша, и стайка перепуганных голубей вырывается из-под падающей кровли.

Еще разрыв!

Понимая, что гитлеровцы перенесли беглый огонь на территорию парафии, в разные стороны разбегаются прихожане. Кое-кто из них уносит выхваченные из пламени иконы в золоченых киотах.

Герета увлекает старого священника в подвал.

Из квадратного выхода крепкого кирпичного подвала видят они, как рушится в огонь, рассыпая искры, купол церкви, как снаряды разбивают дом Ставничего.

Рыдает в отчаянии отец Теодозий.

— На пепелище сгоревшего дома не льют слез, отец Теодозий, — тихо замечает Герета.

— Да, но с этой парафией столько связано... Боже, боже... В этом доме родилась Иванна, тут она выросла.

— Когда горят леса, не надо жалеть о розах, — криво улыбнувшись, замечает Герета. — Такие пожары — к добру. Это гром кары божьей!

Возмутился Ставничий.

— Как вам не стыдно? Я пережил уже не одну войну и знаю, что она сулит. Это начало нового большого горя...

— Это особая война. Она освящена богом! — вещает Роман. — Когда будут покараны все отступники, на пепелищах вырастут новые храмы христовы...

...Вырвавшись из сарая, по освещенному пламенем двору разбегаются, гогоча, перепуганные гуси.

Через забор парафии перемахивают несколько гитлеровцев.

Вот они, первые завоеватели!

На рогатых касках у них колосья пшеницы, пучки васильков. Отблески огня отражаются на металлических поясных пряжках с надписями: «Готт мит унс!» Рукава у гитлеровцев засучены. В полуобнаженных волосатых руках они сжимают черные автоматы, оглядываются вокруг.

Мелькают в квадратном окне погреба тяжелые сапоги пробегающих гитлеровцев.

Сквозь это мелькание видно, как бушует огонь, сжигая остатки дома Ставничего.

«Дас ист Лемберг!»

В пламени пожаров, в грохоте орудийной канонады открывается со стороны Жовковского шоссе гряда холмов Расточья, на которых раскинулся древний Львов.

Текут отсюда, от водораздела Европы, ручейки и реки в разные стороны.

Одни устремляются к Черному морю, другие, стекая к Висле, попадают в холодную Балтику.

Затормозил немецкий мотоциклист.

Сидящий в коляске офицер вынул планшет с картой.

Глянул в карту и, показывая на панораму зеленых холмов, расстилающуюся по линии горизонта, сказал, вставая, торжественно водителю:

— Дас ист Лемберг! Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! — отсалютовал водитель.

— Вайтер! — скомандовал офицер, плюхаясь на сиденье.

Солдат дает газ, и мотоцикл, оставляя позади клубы бензинового перегара, мчится по шоссе.

Под звуки отдаляющейся орудийной канонады и пулеметных очередей пробегают по улицам города первые гитлеровцы.

Бойцы советских арьергардов сдерживают их продвижение.

Двор, недавно покинутый воинской частью. В нем маленький полевой городок для физкультурных занятий: брусья, «кобылы», бум, забор для перелезания,

канавы для прыжков, турники, отполированные до блеска ладонями обитателей казарм.

Голуб и Садаклий подтаскивают к открытому люку оцинкованные коробки с патронами, деревянные ящики с оружием и взрывчаткой и опускают все это вниз, в темноту. Из темного люка груз поспешно принимают другие руки.

Садаклий утирает пот рукавом обычного партикулярного пиджака.

— Як-то кажуть: боже поможи, а ты, небоже, не лежи! — пробует пошутить Голуб.

Ворота сотрясаются от ударов.

Отряд полиции во главе с сотником Дмитром Каблаком пытается проникнуть внутрь, Каблак в остервенении дает очередь по воротам из черного автомата.

Прыгают в люк Садаклий и Голуб.

Последний ловко, сноровисто, поддерживая крышку люка, опускает ее в пазы.

Полицейские, повалив ворота, врываются во двор...

...Еще один двор. Складские помещения «Гастронома».

Вся «шумовина» — нечисть Львова, сокрушая витрины и прилавки, ворвалась с улицы в магазин, грабит товары.

А на внутреннем дворе Садаклий и Голуб подперли дверь, ведущую в магазин, железным рельсом и пытаются сбить замок на дверях склада. Наконец, замок отлетает вместе со скобой.

Штабеля ящиков с продуктами.

Голуб читает надпись на ящике и бросает с огорчением:

— Ох, холера ясная! Крабы. А я думал, что бычки в томате или тушеное мясо...

— Ничего, — шутит, хватая на плечи ящик, Садаклий. — «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы»...

Он подтаскивает ящик к открытому люку.

— Слухайте, а тут — прованское масло! — кричит из склада Голуб. — Брать прованское масло?

— Пригодится, — решает Садаклий. — Все пригодится. Только где мы все это там разместим?

— Не журиться, куме, — успокаивает Голуб.—

Старый щур каналовый, Голуб, знает там такие закутки, куда еще со времен Францишка Юзефа контролеры не заходили... Подсобите...

И новый ящик с продуктами исчезает под землей...

Петляя между кустов на площади святого Юра, припадая на раненую ногу, бежит в полосатой больничной пижаме капитан Журженко.

Его поддерживает переодетый в штатский пиджак Зубарь.

Наивной кажется примитивная эта маскировка: ведь сапоги-то и брюки у Зубаря военного образца, а голова забинтована.

Друзья, миновав узкую улочку, пробегают мимо высокой монастырской стены. И справа — длинная кирпичная стена, только пониже.

Приближается треск мотоциклов.

— Я гляну, что за углом! — бросает Зубарь.

Оставив Журженко возле стены, он крадется к повороту улицы и мигом отскакивает.

— Полицейский патруль! — шепчет он, оглядываясь.

— Хоть бы подворотня какая! — тоскливо сказал, озираясь, Журженко.

— Давайте туда, товарищ капитан. — И Зубарь показал на стену. — Подсажу.

— А вы?

— Как-нибудь.

Кряхтя, взбирается Журженко на плечи Зубаря...

Закрытая церковь монастыря ордена сестер василианок.

Молятся коленопреклоненные монахини.

Игуменья читает молитву, обращенную к святой Терезе:

«Любвеобильная и сострадательная святая, приди на помощь нашим русским братьям, страждущим под гнетом долгого и жестокого противохристианского гонения. Умоли бога дать им стойкость в вере и преуспеяние в любви к богу и ближнему и в уповании на пресвятую богородицу. Ущедри их достойными священниками, кои удовлетворяли бы правосудию божию

за святотатства против святой Евхаристии и за богохульства...»

Вбежала пожилая, сухонькая сестра Моника. Воскликнула:

— Мать игуменья! На площади уже наши!

Игуменья захлопнула молитвенник и вдохновенно крикнула:

— Все во двор! Встречать! Домолимся позже! Иванна, принеси хлеб и соль из трапезной...

...Задворки монастыря. Проходя тропинкой между кустами крыжовника с подносом, застланным вышитым рушником, на котором возвышается каравай хлеба и соль в серебряной солонке, Иванна слышит близкие выстрелы и видит, как, перевалив через монастырскую стену, пробегает садом и прячется в сарае какой-то человек в полосатой пижаме...

Полицаи в черных костюмах и рогатых мазепинках с трезубами наседают под монастырской стеной на отбивающегося Зубаря. Бинт его размотался и тянется по земле.

А монахини уже выстроились во дворе и глядят в распахнутые ворота монастыря.

Кивает головой игуменья. Взгляд ее устремлен в ворота.

С площади забегают два распаренных, потных полицая.

Один из них, подбежав к игуменье, прикладывает два пальца к бортику мазепинки.

— Перепрошую красненько. Никто не выбегал отсюда?

— В сарае! — едва слышно роняет игуменья, не сводя глаз с распахнутых ворот.

Побежали, размахивая пистолетами, полицаи в закоулок, откуда вышла Иванна.

Игуменья расправляет вышитое полотенце.

Сестра Моника, дежурящая на улице, дает ей знак. Подняла палец игуменья, поглядев вверх, на колоколенку закрытой монастырской церкви.

Частый колокольный звон.

Он заглушает треск въезжающих во двор мотоциклов.

Из коляски одного из них высаживается оберштурмбанфюрер СС Альфред Дитц.

Снимая на ходу перчатки, окруженный младшими офицерами, он подходит к игуменье и, отсалютовав, целует руку Вере Слободян.

— Боже мой, пане советник... — растерянно бормочет игуменья. — Пане Альфред! Какая неожиданность!.. Добрый день... Вам очень идет военная форма! уютно, — соглашается Дитц и, приняв от игумены хлеб-соль, передает его ординарцу. — Сколько лет, сколько зим, так, кажется, говорит ваша пословица? Рад вас видеть в полном здравии...

— Вы рады? А вот как мы рады. Боже! — И у игумены появились на глазах слезы.

Изумленными глазами, в которых одновременно запечатлелось любопытство и удивление, наблюдает за трогательной сценой встречи Иванна.

Ей становится понятно, что отнюдь не случайна встреча эта, что, должно быть, очень давно знакомы друг с другом настоятельница монастыря и элегантный, с проседью на висках немецкий оберштурмбанфюрер — потомок львовских рестораторов и бывший австрийский офицер, с подчеркнутой циничностью носящий теперь эмблему смерти на тугой и высокой фуражке.

— Насколько мне память не изменяет, правое крыло монастыря пустует, — говорит Дитц. — Я хотел бы разместить свою зондеркоманду. В других зданиях еще можно натолкнуться на большевистские сюрпризы. А у вас будет спокойнее. Вы не возражаете?

— Боже мой! Конечно, располагайтесь! — приглашает игуменья. — Мы так ожидали вашего прихода! И вот наконец свершилось: пресвятая дева Мария выслушала наши молитвы и сбросила сильных с престолов плечом победоносной немецкой армии!

— Отлично! — бросает Дитц.

— А вам, господин советник... я отведу самую лучшую...

— Простите, мать игуменья, — махнув лайковой перчаткой, говорит Дитц. — При всем моем уважении к вам я не могу отклонить приглашение его эксцеленции. Я буду жить в палатах митрополита.

Он оглядывается.

Два полицая волокут связанного, окровавленного капитана Журженко. Он не замечает Иванну. Один из полицаев, неуклюже откозыряв, докладывает:

— Пане оберштурмбанфюрер! Поймали подозрительную особу. Разрешите пройти.

Милостиво кивает Дитц.

Полное удивления лицо Иванны.

Она ведь, только она повинна в том, что полицаи задержали их квартиранта! Ей стыдно совершенно независимо от того, какое зло готовил ей своим «доносом» капитан Журженко...

Встреча на вокзале

Потревоженный недавними бомбардировками и уличными боями главный вокзал Львова.

На его перронах еще остались не успевшие эвакуироваться последними поездами, ушедшими в сторону востока, матери с детьми, семьи советских военнослужащих и советских работников. Здесь много людей с границы. Война сожгла их жилища, выбросила из квартир. Они ютятся на узлах и чемоданах под стенами побитого снарядными осколками вокзала, ожидая, пока кончится проверка и будет снято оцепление.

С предгорий Карпат, с берегов Западного Буга и Солокии, из военных городков Равы-Русской и Перемышля собрались они под огромным виадуком вокзала, лишь кое-где отделяющего их последними уцелевшими стеклами от задымленного неба..

Вот оно, народное горе, выплеснутое во всем пестром многообразии на заплеванный асфальт львовских перронов!

Детский плач, стон раненых, тихое перешептывание старух, одиночные гудки паровозов — все это смешалось в единый, так знакомый многим шум войны.

Особенно пугливо озираются люди на проходящих по перрону немецких солдат, на выискивающих очередные жертвы полицаев в черных мазепинках.

Мрачный, похудевший, играя желваками, бегающими от волнения под его небритыми щеками, стоит около кипятильника музыкант Эмиль Леже. Его ма-

ленькая гитарка, подобно карабину, болтается на ремне сзади. Эмиль в лыжной тирольской шапочке, в защитного цвета брюках «бриджах», в щеголеватых сапогах с высокими твердыми задниками. А рядом хлопочет у голубой колясочки, наклонившись над годовалым младенцем, его жена Зора. Она пытается всунуть в ротик ребенка соску, напоить малыша молоком, но он отчаянно мотает головой. И «коза», которую делает ему пальцами Эмиль, не помогает.

На вокзале скопились не только беженцы-неудачники, застрявшие здесь после попыток прорваться на восток. Есть тут и местные жители, застигнутые войной во Львове, ждущие первых пригородных поездов на Перемышль, на Стрый, Станислав и Дрогобыч, откуда катились волны вторжения, прервав на время обычную гражданскую коммуникацию. И они, эти посетители вокзала, подавлены неизвестностью пришедших перемен, волнением за судьбы своих близких, переживших или нет первые сражения войны там, на границе...

Среди таких посетителей мы видим шагающего по перрону почтальона Хому.

Под мышкой у него ботинки в картонной коробке.

Спешит быстрой, легкой походкой в длинной сутане, хорошо облегающей ее гибкое стройное тело, Иванна Ставничая. Хотел было дать ей дорогу Хома, но потом, узнав дочь священника, закричал изумленно:

— Паннусю... Цилую руци... Паннусю...

— Вы давно з дому, дядько Хома? — признавая почтальона, спрашивает Иванна.

— Та в субботу ж... Приехал черевики покупать, а тут — бах-бах — и бомбы посыпались...

— Что там з батьком, дядько Хома?

— До субботы все было в порядке... Я бачыв панотця биля церквы, колы поспишав до поизду... Тильки...

— Ну, что? Кажить, ради бога! — встревожилась Иванна, уловив, что почтальон замялся.

— Тильки пан отець был огорчен, що паннуся ничего не сказали им, уезжая, про тую телеграмму.

— Про яку телеграмму? Я ничего не знаю...

— Ну, що паннусю приняли до университету... А чого це паннуся в сутане?

Непонимающим взглядом смотрит на Хому Иванна и оборачивается.

Стучат по перрону подкованные сапоги гитлеровцев.

Отряд фельджандармерии ведет задержанных во время облавы на вокзале подозрительных людей. Среди них видны раненые.

Угрюмо смотрит на проходящих из-под козырька тирольки Эмиль Леже.

Его мрачный, лишенный какой-нибудь симпатии к победителям взгляд перехватывает обер-фельдфебель с металлической бляхой под шеей и круто сворачивает к Леже.

— Юде? — резко бросает гитлеровец.

Не меняя небрежной позы, Эмиль Леже отвечает сквозь зубы:

— Найн!

— Врешь, юде! — утверждает жандарм.

— Можете думать, что хотите, я сказал вам правду, — на чистейшем немецком языке очень спокойно говорит Леже.

— Давай сюда, — жандарм предлагает Эмилю присоединиться к колонне задержанных.

Хватает жандарма с мольбой в голосе Зора:

— Пане начальник, то мой муж. Он француз...

— Генуг! — Гитлеровец отталкивает Зору прикладом автомата.

Она пошатнулась, слезы брызнули у нее из глаз, ногой толкнула коляску с ребенком.

Катится, пересекая перрон, коляска.

Ничего не понимая, улыбаясь, глядит в небо розовощекий ребенок.

Метнулся на обидчика Эмиль Леже. Другие гитлеровцы хватают француза за руки.

Сливаются в один два женских крика — Зоры и Иванны.

Голубая коляска с ребенком съехала с перрона и стала поперек блестящей пути.

На всех парах, давая гудки, мчится на нее поезд с границы.

Бросилась Иванна к коляске, едва успела схватить ее и вытащить обратно, как мимо нее замелькали на-

битые народом вагоны тормозящего пригородного поезда.

Зора пытается прорвать кольцо оцепления, высвободить мужа, она кричит:

— Он музыкант. Вы не имеете права. У него французский паспорт...

— Генуг!

— Цюрюк! — отгоняя Зору, орут охранники, и она, рыдая, возвращается к своему ребенку...

Иванна передает ей коляску и, подняв голову, видит, как из вагона подошедшего поезда спускается на перрон Теодозий Ставничий.

— Тато!.. Таточку! — крикнула, бросаясь к отцу, Иванна.

Мимо патруля полиции, охраняющего выход на вокзальную площадь, отряд фельджандармерии проводит задержанных во время облавы.

Их внимательно разглядывает стоящий на посту со своими полицейскими сотник Каблак.

Вот поравнялся с ним задержанный Леже.

Каблак почтительно козыряет французу и, деланно улыбаясь, говорит:

— Бонжур, мусье Леже... Какая приятная встреча! Неправда ли?.. Ну как, вы еще «дуже люби советских людей»?

Целует отца, обнимает его Иванна.

— Ну, дай поцелую тебя еще... Боже, какое счастье, что ты жив! — И, вглядываясь в постаревшее, усталое лицо священника, удивленно восклицает:

— А чего же ты без шляпы, татуню?

Ставничий с прискорбием смотрит на Иванну и, показывая на портфель, зажатый под мышкой, говорит:

— Отут все, что у нас с тобой осталось...

Святой военкомат

Двор собора святого Юра перед капитулой заполнен священниками. Со всех концов Львовской епархии съехались они в решающие эти дни к своему князю

церкви. Исполняется многолетняя мечта митрополита и его священнослужителей: гитлеровская армия рвется на восток, завоевывая советские территории.

Там-то смогут развернуться вовсю, поправить свои дела, обретая тысячи новых приходов и сотни тысяч,— да куда там! — миллионы верующих, миссионеры греко-католической церкви...

Оживленно беседуют под аркой два священника. Тот, что помоложе, говорит более пожилому коллеге:

— Вам хорошо, отец Мирослав, вы вдовец. Можете сразу в епископы или архимандриты. А лучше, совет-товал бы вам, в архимандриты... Берите себе Мгарский монастырь Афанасия, сидящего возле Лубен. Природа там богатая: Сула протекает и земельных угодий вдоволь.

— А от Лубен далеко? — осведомился кандидат в архимандриты.

— Пустяки... Километров шестнадцать...

— Може буты, — согласился священник.

Группа священников окружила высокого, дородного попа с военной выправкой.

Протискивается к нему худенький священник в коричневой рясе. Спросил подобострастно:

— Отец Гавриил! Вы бывали с австрийской армией на большой Украине. Скажите: в Умани река есть?

— Река? — Отец Гавриил призадумался. — Вы знаете, я не припомню. Склероз. Но там чудесное имение графов Потоцких. Софиевка! Знаменитое имение. Черные лебеди когда-то плавали. Хотя не знаю, что с ними большевики сотворили! Быть может, в столовую Нарпита, на гуляш. Ха-ха-ха! Гуляш из лебедятины для товарищей комиссаров... — И, довольный своей шуткой, отец Гавриил засмеялся сочным, раскатистым басом...

Полуобняв высокого седого священника, прогуливается с ним по двору черный, как жук, коротконогий пан отец в стоптанных сапогах. Сообщает доверительно:

— У меня доля незавидная, коллега. Викарий уговаривает брать деканат в Донбассе. Но ведь там шахты, заводы? Кажуть, небо всегда от дыма черное. А у

моей матушки и без того легкие слабые. Уж лучше бы к морю поближе...

Из палат митрополита вырвался высокий бородатый митрат Кадочный. Разглядывает документы.

Его сразу обступила группа священников.

— Уже назначение, отче Орест? Куда? — спросил моложавый священник.

Митрат Кадочный довольно улыбается.

— Мне дали приход в самом Каменец-Подольске. Отсюда недалеко, и место чудное. Ведь его эксцеленция как был, так и остался епископом Каменец-Подольским... Под его высоким покровительством пребывать буду...

— Повезло же вам, отче Орест, — с явной завистью говорит высокий и дородный отец Гавриил. — Этот город близехонько от Збруча... А это что у вас?— Он показал бумажку с немецким орлом.

— Маршбефель! — не без удовольствия помахал командировочным удостоверением митрат Кадочный. — Разрешение на право следования непосредственно за войсками...

— Эксцеленция выдает и такие документы? — приближая близорукие глаза к немецкому документу, удивился черный, как жук, коротконогий священник.

— Почему — его эксцеленция? — голосом человека, посвященного в таинство раздачи новых приходов, объясняет митрат Кадочный. — После беседы с высокопреосвященным, в случае полной договоренности, вы идете в покои на правой половине, а там — полевой штаб оберштурмбанфюрера СС Альфреда Дитца. Он курирует вопросы церкви...

— И долго с ним беседовать надо? — заинтересовался черный священник.

— Минут пять-десять, — сказал Кадочный. — Если, разумеется, у вас в семье нет коммунистов.

— Боже мой! Типун вам на язык, отче Орест,— засуетился поп в истоптанных сапогах. — Какие коммунисты! Беда вся в том, что я немецкий плохо знаю, вот какая чепуха...

— Не горюйте, оберштурмбанфюрер много лет жил во Львове, он старый приятель украинцев и беседует только по-нашему.

К палатам митрополита приближается Теодозий Ставничий.

По-видимому, зная, какое несчастье постигло его парафию, священники, расступаясь, дают старику дорогу, а митрат Кадочный тоном бывалого человека шепчет Ставничему:

— Заходите сразу, отче Теодозий. Предупредите только келейника. Погорельцев и пострадавших от большевиков его эксцеленция принимает вне всякой очереди.

Наклонив обнаженную голову, Теодозий Ставничий проходит внутрь капитулы...

...Угловая, розовая комната в покоях митрополита. Стены ее обтянуты розовым узорчатым шелком. Около золоченого камина, возложив мясистые, большие руки на мягкие поручни кресла с высокой парчовой спинкой, Шептицкий, окруженный священниками и епископами, внимательно, с заметным сочувствием выслушал рассказ стоящего перед ним Теодозия Ставничего.

Дрожащими от волнения руками Ставничий извлек из потрепанного портфеля две метрикальные книги, тяжелую библию и возложил все это на соседний резной столик:

— Больше мне сказать нечего, ваша эксцеленция! Вот все, что осталось от моего деканата...

— Вы неправы, сын мой, — мягко замечает Шептицкий. — Осталось все, что нетленно! С нами бог! Он остался с нами в трудные минуты, когда грохотали пушки. Он услышал наши молитвы и помог сильным мира сего свернуть царство безбожия...

— Но моя паства, ваша эксцеленция, брошена на произвол судьбы. И служить богу теперь негде. Разве что под открытым небом!

— Не волнуйтесь, отец Теодозий, — утешает митрополит. — Будете отправлять требы в дочерней церкви святой Варвары, а со временем на пепелище вашего деканата воздвигнут новый каменный храм. Я в это твердо верю! Вот сегодня мы получили известие от его святейшества из Рима. Святой отец наш отпустил капитуле пятнадцать миллионов на ликвидацию последствий тлетворного влияния большевизма. Быть

может, часть этих сумм нам удастся обратить на восстановление и обновление наших храмов...

— Есть одно неудобство, ваша эксцеленция, — растерянно бормочет Ставничий. — В дочерней церкви собирался после рукоположения править службу божию Роман Герета. Он хотя и мой будущий...

Взмахом руки митрополит прерывает Ставничего:

— Я отзываю Романа сюда. Он человек молодой, деятельный... Ну, словом, самые достойные и самые уважаемые представители нашего украинского общества адресовались сейчас с всемилостивейшей просьбой к фюреру Адольфу Гитлеру. Мы просим разрешить сформировать воинское соединение из украинцев, которое смогло бы бок о бок с доблестным немецким воинством идти под знаменами рейха на Москву. Вполне возможно, Роман со временем станет капелланом этого соединения...

— Простите мою назойливость, ваша эксцеленция... А моя дочь?.. Они же обручены...

— До Москвы совсем недалеко, отец Теодозий, — мило улыбнулся Шептицкий. — После взятия Москвы Роман получит отпуск и справит свадьбу здесь, во Львове. А пока на этот переходный период я рекомендую, отец Теодозий, оставить вашу дочь в монастыре...

Гора Вроновских

Полицейский в черном на горе Вроновских изо всех сил колотит ломиком по стальному рельсу, подвешенному у караульного помещения.

Назойливые звуки гонга проникают в подвалы кирпичных бастионов, разносятся над загородками-клетушками, сделанными из колючей проволоки на макушке горы.

Отовсюду, из подвалов и клетушек, на эти звуки выходят и выползают истощенные, заросшие, зачастую раненные в недавних боях советские военнопленные. Какая их доля ждет здесь, за колючей проволокой львовской цитадели, красноречиво говорит выведенное на трех языках прямо на стене пятого бастиона

черным квачом неграмотно составленное предупреждение:

«Запрещается есть трупы военнопленных отделять таковых частей. Неповиновение — смерть!
Комендант сталага 328 оберст Охерналь»

Тревога и неизвестность в глазах военнопленных. Из последних сил стараются они выйти на поверку, дотянуться до колючей проволоки, отделяющей их от лагерной линейки, и, уцепившись за нее грязными пальцами, ждать.

Чего?

Пока — неизвестно.

Может быть, очередной «селекции» — отбора на расстрел?

Или очередного пересчета?

А может, что самое желанное, — вывода на работу? Пока они будут тащиться туда — нет-нет да кто-нибудь из прохожих кусок хлеба забросит в середину колонны. А здесь уже вся лебеда и крапива съедены.

Со времен Франца Иосифа Первого — императора Австро-Венгрии, соорудившего здесь, в центре украинского города, для устрашения населения после «Весны народов» кирпичные бастионы цитадели, никогда не была так чиста от зелени вершина горы Вронов-ских. Даже старые липы и каштаны и те ночной порой обгрызены у оснований обреченными на голодную смерть советскими людьми.

...И повсюду — проволока! Тонны проволоки растянуты вдоль и поперек густыми рядами на дре-кольях, на привезенных специально из Германии железных, скрюченных палках. Сквозь паутину колючей проволоки видят военнопленные, как вахман распахивает ворота и пропускает в цитадель делегацию «комитета помощи».

Чинно шагают дамы-патронессы, жены и вдовы адвокатов, судебных советников, послов в австрийский парламент и польский сейм. Одетые в черные одежды, в кружевных мантильях, с четками в руках, они с опаской приближаются к лагерному плацу, откуда из-за колючей проволоки глядят на них тысячи глаз.

Среди светских благотворительниц подымаются на вершину горы Вроновских и монахини-василианки, в их числе игуменья сестра Моника и Иванна Ставничая.

Монахини несут с собой связки молитвенников, шкатулки с крестиками...

Игуменья взбирается на принесенный полицаем-охранником ящик и, откашлявшись, голосом скорбным и весьма миролюбивым говорит:

— Дорогие сыночки! Не по своей вине многие из вас сражались под знаменами антихриста в безбожной Красной Армии и теперь попали в большую беду. Мы понимаем это и по милостивому разрешению немецких властей приходим к вам на помощь. Подпишите декларацию о своем полном разрыве с большевизмом и попросите помилования у фюрера великой Германии Адольфа Гитлера! Тогда мы будем хлопотать о вашем освобождении и окажем посильную помощь каждому декларанту средствами нашего комитета. Пусть же учение господа бога нашего Иисуса Христа возвратит вас, дорогие сыночки, на путь смирения и благоразумия...

— Вопросик, мамаша! — спрашивает военнопленный Бойко.

— Прошу, сын мой! — разрешает игуменья.

— А вы знаете, як годують нас за оцымы дротамы? Чи ваш Иисус Христос знае, скильки людей щоденно вмырає отуточки вид голоду?

Игуменья смешалась. Не ждала она столь резкого и прямого вопроса от заросшего человека, что, покачиваясь от истощения, с огромным недоверием глядит на нее в упор.

Иванна Ставничая замечает след запекшейся раны на груди Бойко, отводит глаза, и тут взгляд ее натыкается на зловещее распоряжение, намалеванное на стене круглого бастиона...

— ...Я поэтому и говорю, сыночки, — продолжает игуменья. — В ваших собственных руках сейчас находится возможность избавления от плена. А чтобы вам легче было очистить от скверны ваши души, мы раздадим вам нательные крестики и молитвенники... Хочу предупредить вас, что украинцам будет оказано преимущество при освобождении. Они смогут сразу

поступить на вспомогательную службу к победителям, либо вернуться к своим семьям...

— Мамаша, ридненька, — не унимается Бойко, — выходыть, що у Христа дви правды и два милосердия — одно для украинцев, а друге для решты людей?

Вахман заметил Бойко уже раньше, держал его на примете, и сейчас, приблизившись к проволоке, замахнулся на него плеткой:

— А ну, ты, гнида большевистская, замкни морду!..

Отошел от проволоки Бойко и сказал, обращаясь к товарищам:

— Ото бачьте, хлопци, мылосердя боже!

А тем временем старший лейтенант Зубарь шепотом передает по рядам:

— Держись, братва, не продаваться за чечевичную похлебку!..

Раскрывая на ходу портфель с декларациями, Иванна приближается к проволоке. Она остановилась перед пленным, который показался ей посмирнее, и спросила робко:

— Вас записать?

— Я присягу давал, — отрезал пленный.

— Вас записать? — спросила она другого.

— Уматывайся!

— А вы?

— Предателем не был...

Так доходит она вдоль проволоки до Зубаря и, узнав его, отшатывается — до того изменился старший лейтенант, с головой, замотанной темным, загрязнившимся бинтом.

— Признали, невеста? — криво усмехнулся Зубарь тому, как испугалась его вида Иванна.

— Возьмете декларацию?

— Быстро же вы перекантовались, пани Иванна,— сказал Зубарь, — из студентки советского университета да в гитлеровские подлипалы...

— Вы ошибаетесь. Студенткой советского университета я никогда не была, — тихо говорит Иванна.

— Врете! Были! Человек из-за вас кровь пролил, а вы... Эх!

В это время к Иванне приблизилась одна из дам-патронесс. Взяла ее под руку.

— Бедняжка, вам так трудно уговаривать этих хамов. Дайте я вам помогу. Я еще в первую мировую войну около Перемышля пленных царских солдатиков уговаривала. У меня есть опыт. — И, меняя тон, дама в черном говорит Зубарю: — Берите декларацию, пока не поздно! Одумайтесь...

— Танцуй отсюда к лешему... Кикимора! — повернулся к ней спиной Зубарь, вызывая улыбки на усталых, изможденных лицах соседей.

Шагает дальше Иванна. Отыскивает взглядом колеблющихся, слабых волей. Показалось ей, что светловолосый крепыш пограничник Банелин, улыбается ей. Протягивает Иванна через проволоку Банелину листок декларации.

— Какой аванс мне будет, барышня? — спрашивает Банелин.

Недоумевает Иванна.

— За что — аванс?

— Да за предательство. Больше, чем Иуда за Христа получил, али меньше?

Отпрянула Иванна. Подавленная, удивленная и растерянная решительностью пленных, делает два шага в сторону, и тут взгляд ее сталкивается с запавшими, усталыми глазами капитана Журженко.

Он стоит, прильнув к проволоке, в той же, но уже порядком загрязненной полосатой больничной пижаме, в какой поймали его на монастырских задворках. Стоит, опираясь обеими руками на кусок обломанной доски, и очень многое видится в его взгляде Иванне Ставничей.

Она хочет протянуть ему декларацию, но Журженко, отстраняя ее рукой, спрашивает твердо:

— Так что же нового принес вам ветер с Запада, панна Иванна? Эту рясу и погибшую молодость?

Молчит Иванна. Мнет в руках декларацию. Тихо бормочет:

— Хотя вы причинили мне много горя, капитан, но я не сержусь на вас. Христос учил прощать обиды даже врагам и грешникам...

— О каком горе вы говорите? — удивленно прерывает Иванну Журженко.

— Не будем об этом, — волнуется Иванна. — За-

чем вспоминать прошлое? Подпишите — я смогу облегчить вашу участь...

— Вы ошибаетесь, Иванна. Нам перекантовываться труднее.

Слушает их беседу стоящий рядом Эмиль Леже.

Желая как-нибудь затушевать смущение и уйти непосрамленной, Иванна протягивает декларацию и французу:

— Заполните!

— Я по-вашему... не понимай... — гордо говорит Эмиль Леже и демонстративно отходит от проволоки.

Как рассерженные осы, спускаются по мощеной дороге из цитадели к почтамту «благотворительницы».

Та из них, что вызвалась помочь Иванне и была обозвана Зубарем кикиморой, взяв под руку игуменью, говорит с возмущением:

— Какая наглость! Еле-еле душа в теле, а еще огрызаются. Хотела им молитвенник протянуть, так какой-то хам крикнул: «Бери, бери, Павло, на закурку будет...»

— Ужас! — воскликнула игуменья.

Возле ворот, пропуская делегацию, Иванну замечает Дмитро Каблак.

— День добрый, панунцю! — приветствует он элегантно Ставничую, козыряя ей.

Никак не ждала увидеть в полицейском наряде бессердечного бюрократа Иванна. Смотрит на Каблака, глазам своим не верит, а потом восклицает:

— Боже мой! Это вы... Как же быстро вы... перекантовались!

— Пани Иванна плохо меня знает, — говорит Каблак, провожая ее. — То все была чистой воды комедия...

— Какая комедия?

— Да ведь то жених пани Иванны просил меня отказать в приеме...

Постепенно доходит до Иванны страшный в своей низости смысл слов сотника Каблака.

...Келья в монастыре. Мы видим молящуюся на коленях Иванну. С невыразимой скорбью смотрит она

на лик богородицы. И вдруг на нем, наплывом, видит она паутину колючей проволоки и за ней истощенных от голода военнопленных... Полицейский бьет пленного Бойко. Перед глазами Иванны появляется страшный приказ о том, что не разрешается есть трупы военнопленных. Полная отчаяния, Иванна закрывает лицо.

Внезапно какая-то мысль осеняет ее. Она быстро одевается и выходит из кельи.

Она появляется в вагоне трамвая, который мчится из Замарстынова к центру. Один из вагонов трамвая, прицепной, — полупустой. На нем табличка — «Нур фюр дейтше унд фербиндете» («Для немцев и союзников»). Когда Иванна протискивается среди пассажиров, ей дает дорогу весьма элегантный итальянский офицер-берсальер с пышными перьями на головном уборе. Хотя его усиленно зажимают со всех сторон, он старается быть джентльменом, и тогда какой-то пожилой человек, сидящий у окна, быть может, бывший воин австрийской армии, побывавший некогда в плену у итальянцев, говорит офицеру по-итальянски:

— Зачем вы мучаетесь здесь, тенente? Как союзник немцев, вы имеете право ехать в заднем вагоне.

Итальянец иронически улыбается и, высвободив руку в кожаной перчатке, безмолвно машет, давая понять, что ему наплевать на эту жалкую привилегию, предоставленную гитлеровцами, которых он презирает.

Трамвай резко тормозит. Справа, за деревянным забором, горят дома, и густые полосы дыма вырываются оттуда на улицу.

Выскакивают на мостовую испуганные люди, и среди них Иванна, а также высокий парень в форме украинского полицая, с черной повязкой на глазу. Это тот самый хлопец, который некогда носил зеленую тирольскую шляпу, кимовский значок на вышитой сорочке и поздравлял Иванну с принятием ее в университет, называя себя Олексой Гаврилышиным.

— Пожар? — спрашивает Иванна, видя перед собой на путях, преградивших дорогу трамваю, гестаповцев. Они стоят на широко раздвинутых ногах, со знаками смерти на фуражках, зажав в руках черные автоматы.

— Хуже! — приблизившись к Иванне, сообщает полицай Гаврилышин. — Акция. Кончают гетто.

— О, тогда это надолго! — мрачно и привычно говорит вагоновожатый в замасленной конфедератке, окаймленной малиновым кантом, и сворачивает цыгарку.

— Надолго? — растерянно спрашивает Иванна.

— А вам что, нужно спешно в город? — осведомляется полицай.

— До пяти часов я обязана вернуться в монастырь, — доверительно сообщает Иванна.

— Если угодно, я могу провести вас самой короткой дорогой, — галантно предлагает Гаврилышин.

Иванна оглядывается. Видит неумолимых гестаповцев, суровых и безмолвных, и, обращаясь к полицейскому, просит:

— Я буду вам благодарна!

— Пожалуйста! Пойдемте за мной! — говорит полицейский.

Вдвоем они идут обратно и сворачивают к проходной будке, через которую можно проникнуть на территорию львовского гетто. Пять полицейских ревниво сторожат этот проход в лагерь смерти.

— Пани со мной! — бросает Гаврилышин.

Из окошка будки, когда они проходят, высовывается пьяный ротенфюрер СС и, безбожно путая слова, поет циничную песенку:

Ком, паненка, шляфен,
Морген сахарин,
Вшистко едно — война,
Фарен нах Берлин...

Покраснела Иванна. Ускорила шаг. Многозначительно усмехаясь, смотрят ей вслед пьяный гитлеровец и подобострастные украинские полицаи.

...Несколько эсэсовцев подкатывают к стене одного из домов бочки з бензином и нефтью. Отбежав, они стреляют в них зажигательными пулями. Из бочек вырываются огненные фонтанчики. Со страшной силой разрываются бочки — бензин и нефть выплескиваются на стены дома. Все выше и выше поднимается столб дыма. Из дома слышится надрывный крик людей. И вот, казалось бы, в сплошной, давно оштука-

туренной стене распахиваются двери потайного убежища — бункера, и оттуда пытается вырваться простоволосая женщина с грудным ребенком на руках. Она мечется, стараясь прорвать огненное кольцо.

Хохочут довольные эсэсовцы. Один из них вскидывает автомат.

Уже не идет, а бежит вслед за своим поводырем Иванна. Вздрагивает от автоматной очереди.

...Горят жилые дома. Проваливаются крыши. Обрушиваются раскаленные стены. Отовсюду доносятся крики, плач, стоны выкуриваемых полицейскими из бункеров последних узников львовского гетто.

Бежит из этого ада ошеломленная, подавленная Иванна. За ней, едва поспевая, — полицейский с черной перевязью на глазу.

Внезапно Иванна задерживается и смотрит вверх.

На крышу горящего дома выскочил паренек лет десяти. По-видимому, на чердаке был его бункер. Огонь лижет изнутри кровельное железо. Босоногий паренек пляшет на раскаленной крыше, смотрит на небо, где кружатся с громким криком вороны, — он как бы просит их, черных вестников смерти, чтобы взяли его отсюда с собой, и, наконец, отчаявшись, голосом, полным безумия, кричит:

— Боже, спаси меня, боже!

— Теперь ему никакой боже не допоможе! — мрачно бросает Гаврилышин.

Закрыв лицо руками, мчится Иванна по пылающим кварталам гетто, подбегает к железнодорожной насыпи и падает. Ее поднимает Гаврилышин. По насыпи мчится товарный поезд. На вагонах надписи: «Мы едем на работу в свободную Германию». За решетками — плачущие лица молодых людей, угоняемых с Украины в рейх.

— Самый короткий путь на Запад, панна Иванна! — замечает полицейский.

— Откуда вы меня знаете? — восклицает Иванна, внимательно разглядывая полицейского.

— А вы забыли, как я поздравлял вас с принятием в университет? — спрашивает Гаврилышин.

— Боже! И вы? В этой одежде?

— А разве ваша ряса — действительно ваша? — сказал полицай и, пропуская Иванну, пошел дальше.

Уже в кабинете митрополита Шептицкого рыдающая Иванна, целуя перстень на распухшем пальце князя церкви, захлебываясь от рыданий, говорит:

— Там такое делается, ваша эксцеленция! Такое делается! Тысячами гибнут военнопленные от голода. Живые люди! Дети горят в огне. Как скот, вывозят нашу молодежь в Германию! Почему вы не протестуете, эксцеленция?

Внимательно смотрит на Иванну митрополит Шептицкий и говорит:

— Я глубоко сочувствую и понимаю тебя, дитя мое...

— Спасите их, ваша эксцеленция! Одно ваше слово...

— Моего слова не хватит, дочь моя, — прерывает Иванну митрополит. — Церковь христова бессильна здесь что-либо предпринять. Это делает светская власть, с которой мы решительно ничем не связаны, а нам остается только молитва, обращенная к господу богу нашему. Сам спаситель всегда в минуты трудные примером и словом обращал свою паству к молитве. Вся история нашей церкви является историей молитвы. Пусть же будет и дальше с нами милость божия, это самое бесценное сокровище в бренной жизни нашей, где все тленно и преходяще...

С ужасом пытается постигнуть Иванна смысл этих витиеватых, ко всему применимых слов князя церкви, как вдруг распахиваются двери и за келейником, который открыл их, появляется Дитц. Сняв картуз с изображением мертвой головы и перекрещенных костей, он вежливо кланяется Шептицкому и говорит:

— Вот и снова я у вас, эксцеленция! Дни, которые я провел под этим гостеприимным кровом, и поныне свежи в моей памяти...

Дитц перевел свой взгляд на Иванну.

Понимая, что дальнейшая беседа не нуждается в свидетелях, Шептицкий осеняет Иванну крестным знамением и говорит ласково:

— Иди с миром, дочь моя!..

Тайное становится явным

В маленькой комнате, где живет Юля Цимбалистая, встретились, наконец, обе подруги. За кружевной занавеской единственного окна зеленеют фикусы. На односпальной кровати высокой горкой уложены взбитые подушки. Сидящая на кушетке Иванна сняла монашескую косынку. Густые черные волосы сбегают волнами на ее плечи. Возбужденная Иванна говорит подруге:

— Вот, оказывается, почему сказал Зубарь: «Человек за вас кровь пролил».

Прохаживаясь по комнате, Цимбалистая запальчиво сказала:

— А ты думала?

— Но почему ты не могла мне рассказать обо всем еще тогда?

— Рассказать?! Я бы рассказала. А где тебя найти? Ворвалась как угорелая, швырнула чемоданчик и пропала. А сейчас — претензии.

Иванна восклицает:

— Но как это подло! Боже, боже! Так обманывать свою же невесту. В глаза говорить одно, а делать совсем иное... Выходит, не будь войны...

— Ты была бы сегодня студенткой университета. А теперь — таскай эту хламиду! — зло сказала Юлька.

— Я ее сброшу! — решает Ставничая. — Где мое платье?

— Погоди, — останавливает Иванну Цимбалистая. — Сбросить всегда сумеешь. Скажи, там очень страшно?

— Ты даже себе не представляешь. Поделили эту гору на клетки...

— Эту гору? Только эту гору? — презрительно и горячо воскликнула Юлька. — Украину поделили, разорвали на куски. Нас сейчас присоединили до «генеральной губернии»! Вот тебе и «самостийна»!..

— Они отняли у нас будущее, Юлька, — печально сказала Ставничая. — Если сейчас так ведут себя, то что же будет дальше, когда Москву возьмут? Что от Украины останется?

Блеснув глазами, Юлька говорит со злостью:

— А видишь! А видишь! Еще пела: «Боже единый, боже великий, нам Украину храни»! Сохранили, как же... Каблак за то, что Украиной торговал, мундир полицая напялил, а твой Роман...

Возмутилась Иванна.

— Он не мой Роман. Ты знаешь, с каким сердцем я шла на заручины.

— А что я тебе говорила? Не иди за этого катабаса*. Фальшивая душа у него. То не твой отец...

— Мой тато никогда не вел двойной игры и меня всегда учил говорить правду, — заступается за отца Иванна.

— И Каблак сказал тебе, что Шептицкий тоже знал обо всем? — допытывается Юля.

— Знал! А со мной говорил так, будто впервые слышит об отказе.

— Чему ты удивляешься? — утешает Цимбалистая подругу. — Недаром пословица говорит: «У владыки два языки»...

— Сколько подлости вокруг! — в отчаянии роняет Иванна. — Подлости и крови! В моих запутанных мозгах так темно! И стыдно...

— Даже в кромешной темноте всегда можно отыскать просвет, — твердо сказала Юля.

Иванна с надеждой подняла на подругу глубокие прекрасные глаза, на которые вот-вот навернутся слезы.

— Есть у меня одна думка, Иванна, — медленно, как бы рассуждая вслух, отвечает Юля. — Скажи: болит у тебя сердце оттого, что ты выдала немцам капитана?

— Спрашиваешь!.. Еще как болит! Но пойми: я не знала, что то он. Думала, вор какой в монастырскую пекарню забрался...

— Скажи теперь, Иванна: чистая у тебя будет совесть, если человек, столько добра тебе сделавший, погибнет за той проволокой от голодной смерти?

— И не говори! Я себе простить этого не смогу!

Юля подходит вплотную к сидящей на кушетке Иванне, долго глядит ей прямо в глаза и спрашивает:

---

* Так презрительно называют в западных областях Украины священников.

— Слушай! А если бы представилась возможность помочь им... Ты бы помогла?

Думает Иванна, выдерживает острый и прямой взгляд подруги и, решительно тряхнув длинными, густыми, цвета воронова крыла волосами, роняет:

— Так!.. Что надо сделать?

— Я посоветуюсь с нашими...

— Кто это — «наши»?

— Хорошие люди!

Ножницы

Шумит, выплескивается на соседние улицы, бушует непомерно разросшийся в дни оккупации Краковский базар за оперным театром Львова.

Курносый, замурзанный паренек пропел на ходу:

Пане Гитлер, дайте мыла,
Бо вже воши мають крыла...

Голосистые торговки-спиртоносы, бродя между лотков с горячей колбасой и флячками, таинственно выкрикивают названия спиртных напитков оккупационных времен:

— Чмага! Чмага! Чмага!

— Бонгу! Бонгу! Бонгу!

— Аирконьяк! Аирконьяк!

Из-за пазухи у них выглядывают горлышки бутылок, в которые налито горячительное.

Какая-то пышногрудая спекулянтка в ситцевом платье, плотно облегающем ее формы, постукивает деревянными сандалетами и, поглядывая кокетливо на проходящих молодых людей, подмигивает на сулею самогона — «бимбера» в ивовой оплетке, что держит она в руках. Спекулянтка при этом напевает:

Мы млодзи, мы млодзи,
Нам бимбер не зашкодзи...
(Мы молоды, мы молоды,
Нам самогон не повредит).

Слепой шарманщик с обезьянкой на ящике своего раскрашенного музыкального инструмента — «катаринки», крутя рукоятку, гнусавит:

Секира-мотыка,
Пилка-шклянка,
В ноцы налет,
В день — лапанка...

(Секира-мотыга,
Пилка-стакан,
Ночью налет,
Днем облава...)

Секира-мотыка,
Пилка-гвуздь,
Маш «гураля»,
Пусць мне, пусць...

(Секира-мотыга,
Пилка-гвоздь,
Получай «гураля»*,
Пусти меня, пусти...)

Секира-мотыка,
Пилка-аляш,
Пшеграл войнє
Едэн маляж...

(Секира-мотыга,
Пилка-аляш,
Проиграл войну
Один художник...)

Чем только не торгуют на Краковском, чего только не покупают — от португальских сардинок, французских духов и коньяков до пистолетов, которые охотно сбывают из-под полы горожанам сомнительные союзники гитлеровцев — военные из состава расположенного во Львове итальянского гарнизона «Ретрови итальяно»...

В москательном ряду среди торговцев, продающих метизы, дверные ручки, фаянсовые умывальники, стамески, сверла, топоры и грабли, появляется Иванна Ставничая.

Она медленно бродит в черном монашеском одеянии по узенькому промежутку между рядами, присматривается.

Вот наклонилась, поторговалась, протягивает хозяину развала деньги и забирает у него большие нож-

---

* Оккупационные пятьсот злотых с изображением горца.

ницы для резки железа. Поспешно прячет покупку в портфель и просит дать ей еще одни ножницы.

Разводит печально руками хозяин развала — одни у него ножницы.

Из соседнего ряда Иванну замечает совершающий обход с патрулем полиции сотник Дмитро Каблак. Не сводит глаз с Иванны.

Она не замечает Каблака.

Подошла Иванна еще к одному торговцу. Взяла вторые ножницы.

У третьего — еще одни...

Очень внимательно следит за странными покупками Ставничей Каблак.

Иванна остановилась около пожилой полной торговки, которая, стоя, как наседка, над листом фанеры, охраняет товар.

Совершенно новые, еще в масляной смазке, завернутые в пергамент, лежат на фанере три пары ножниц. С пружинками. Крепкие. Надежные!

— Почем пани продает ножницы?

— Пятьдесят пять злотых! — сказала торговка и зевнула.

— А разом все? — спросила пытливо Иванна.

— Пойдут за сто пятьдесят!

Роется в широких карманах сутаны Ставничая. Достала деньги, подсчитала. А видно по ее тревожным, быстрым движениям, очень нужен ей весь товар. Глядит растерянно по сторонам, взгляд ее задерживается на руке с деньгами. Решение созревает в мозгу Иванны быстро. Она снимает с пальца золотое обручальное кольцо, протягивает его торговке.

— Я возьму все ножницы, а пани оставлю кольцо. Оно куда больше стоит, чем сто пятьдесят. А завтра пани будет так добра принести кольцо — я обменяю его на деньги.

Недоверчиво, опасаясь подвоха, смотрит торговка на золотое кольцо.

Спрашивает:

— А то правдиве злото?

— Посмотрите пробу!—говорит поспешно Иванна.

Заглядывает торговка в середину кольца. Пробует его на зуб, перевела глаза на Иванну.

— Я буду здесь в пятницу!

Одни за другими прячет ножницы в портфель Иванна и, защелкнув его, быстро исчезает в сутолоке базара.

Довольная торговка хитровато подмигивает соседу и еще раз пробует кольцо на зуб.

Как из-под земли возникает перед ней Каблак, сопровождаемый двумя полицаями...

— Пани еще может подавиться! — говорит он, улыбаясь, и, помахивая пальцем, требует, чтобы торговка отдала ему кольцо.

— Проше пана, проше пана, — суетливо бормочет торговка. — То моя власна обрончка. Як бога кохам...

— Давай, пани, и не рыпайся! — суворо потребовал Каблак.

Волей-неволей торговка протягивает сотнику золотое кольцо.

Он медленно рассматривает его и начинает смеяться.

— Ого! Значит, пани — крестница самого митрополита! Сколько ж было лет пани, когда ее крестили? И как это его эксцеленция не надорвался, опуская такую крошку в святую купель?

Испуганно смотрит на Каблака жирная, грузная и весьма почтенных лет торговка.

Во все горло смеются два полицая, не без зависти наблюдая, как сотник опускает золотое кольцо с дарственной надписью Шептицкого в карман черного мундира...

Ночной концерт

Ворота, ведущие в сталаг цитадели.

Над решетчатыми воротами расправил черные крылья орел, сжимающий в когтистых лапах круг со свастикой.

Надпись готической вязью: «Концентратионслагер дер стандарте 328».

Уже значительно меньшая группа дам-патронесс и монахинь с портфелями в руках, с пачками молитвенников вместе с Иванной Ставничей подходит к двум полицаям. Они преграждают делегаткам дорогу автоматами.

— Вам куда? Хальт!

Иванна, держа под мышкой черный пакет, смело шагает к рыжему полицаю.

— Мы из допомогового комитета. Вот пропуск от оберста Охерналя.

— А здесь что? — тыкает дулом автомата часовой в сверток.

— Молитвенники, — спокойно говорит Иванна. — Развернуть?

Полицай тем временем, прочтя пропуск, пересчитывает всех женщин и бросает:

— Не задерживаться!

— Дайте сигнал сбора, пожалуйста, — просит Иванна.

Провожаемые частыми ударами гонга, делегатки «комитета помощи» появляются у проволоки.

Оторвавшись от дам-патронесс, Иванна продвигается вдоль ограды, силясь найти кого-либо из знакомых военнопленных. Наконец она замечает Зубаря, который усталой походкой приближается к проволочному заграждению.

— Я принесла вам декларацию. Подписывайте, — повелительным тоном требует Иванна.

— Когда рак свистнет, — отзывается Зубарь и слышит тихий деловитый шепот Иванны:

— Берите. Привет от Юльки. Ну...

Лениво берет декларацию Зубарь.

— Следите, где я оставлю пакет, — шепчет Иванна, отходя.

Заслоняя собой пакет с «молитвенниками», она движется вдоль ограды и на ходу проталкивает сверток через проволоку.

...Стемнело. Двор цитадели, разделенный на клетки-загородки из колючей проволоки.

Сидя на пеньке под стеной бастиона, бренчит на гитарке печальную песенку о далекой родине отрастивший бороду Эмиль Леже. Луч прожектора скользнул с близкой сторожевой вышки по двору и уткнулся в грудь Леже.

Вахман, стоящий на вышке, управляя прожектором, крикнул:

— Эй, Франция! Чего распелся? Думаешь, оставили тебе, как французскому подданному, тую мандолину, так можешь и по ночам спевать?

— Пусть играет! — отозвался Зубарь. — Хлеба не даете, так хоть песни послушаем. Что, жалко?

Вахман пересек лучом прожектора грудь Зубаря и снова вернулся к французу.

Поет, не обращая внимания, Леже.

И как только темнота снова поглотила Зубаря, он, полулежа, продолжает перерезать ножницами проволоку.

Спокойно бренчит на гитарке Эмиль Леже.

Разрезают колючую проволоку острые ножницы.

Звенят струны гитарки, заглушая щелканье ножниц, звон проволоки.

Падает на землю проволока.

Ползут, прижимаясь ничком к земле, военнопленные.

Стараются не попадать в лучи прожекторов.

— Эмиль, кончай концерт, — тихо подзывает Леже Зубарь.

Перебросив за спину гитарку, припадает к земле музыкант.

Военнопленные подползают к новому ряду заграждений.

Ловко работают ножницами.

Одними.

Другими.

Третьими.

Обернулся Зубарь. Прошептал:

— Соединяйте проволоку. Чтобы незаметно было, где пролезли.

Режет заграждения Банелин.

Режет капитан Журженко.

Сращивает кое-как проволоку, забрасывая один ее конец на другой, Эмиль Леже, ползущий позади всех.

Вот, наконец, и последний пояс проволочных заграждений.

Военнопленные собираются около Журженко и Зубаря.

— Куда? — прошептал кто-то из пленных.

— За мной! — командует Журженко.

— А не лучше ли? — показал Банелин на взгорья

Стрыйского парка. — Перемахнем улицу и парком за город...

— Переловят, как куропаток. У нас же раненые, — шепчет Зубарь. — Сюда давайте...

Один военнопленный метнул в бурьян ножницы, другой...

Стоящий на отшибе, уже за линией проволочных заграждений, полуразрушенный бастион цитадели. Поласкал его кирпичную кладку острый лучик прожектора, выхватил из темноты большое римское «VI», выведенное известкой. Побежал дальше по кронам густых каштанов.

— Здесь! — обрадовался Зубарь. — Шестой бастион...

Спускаются один за другим в подвал бастиона беглецы.

На сыром каменном полу — груда соломы. Отваливает ее в сторону Зубарь и видит большую чугунную крышку канализационного люка. Должно быть, еще в прошлом веке подвели сюда ответвление городской канализации.

Используя ножницы как ломик, открывает Зубарь люк канализации.

Блеснул оттуда, из глубины, луч электрического фонарика.

Сигнал хороших людей!

— Панас Степанович! — настороженно окликнул Журженко.

— Давайте швыдше, хлопцы! — отозвался Голуб. — Я посвечу.

Опускаются по ржавым звеньям давно отслужившей свое лестницы один за другим военнопленные. Спускаются сами, помогают раненым товарищам. Их осторожно принимают внизу Садаклий и Голуб. Присвечивают фонариками, показывают, куда ставить ноги.

Беглецы попадают из отвесного канала в горизонтальный, обвыкаются в темноте.

С каменных сырых стен струйками стекает вода.

— Вот здесь? — спрашивает Журженко. — Банелин, сделайте проверочку.

При свете бегающих лучей фонарика Банелин считает:

— Один, два, три, четыре... двадцать два... Двадцать два, товарищ капитан, — докладывает Банелин.

— Иван Тихонович, — говорит Голуб капитану, — вы человек свой в здешних краях. Прыймайте лятарку и выводите хлопцев на главный штрек. И подождите там. А мы поглядим, яка погода наверху.

Голуб возвращается. Он лезет наверх. Прислушивается. Сквозь щели в двери в полутьму бастионного подвала заполз ленивый луч прожектора.

...Вдруг тревожно завыла сирена. На помощь одному прожектору приходят другие. Вся вершина горы Вроновских рассекается их быстрыми лучами. Они то выхватывают из темноты побитый, как оспой, осколками кусок стены соседнего почтамта, то уцелевшую от недавних бомбардировок колокольню семинарской церкви Святого Духа, то гончими псами рыщут по взгорьям Стрыйского парка...

Озаряемый их отсветами, бригадир Голуб проворно закрепляет на ступеньках уходящей под землю лестницы портативные фугасы, поправляет запалы, взрывной механизм и, соединив идущие от них проволочки, опускает крышку люка и привязывает проволочки того к скобе под нижним донцем люка. Теперь, если кто-либо снаружи захочет поднять крышку люка, он натянет проволочки, ведущие к фугасам...

Закончив все приготовления, Голуб быстро опускается вниз и догоняет хлопцев.

— Пробочка — будь здоров! — радостно говорит он Журженко, потирая руки и указывая наверх. — Зараз, хлопцы, помокнуть доведется, но не журиться...

Беглецов встречают водопады, бьющие из поперечных коллекторов.

Приходится то лезть под каскадами грязной воды и нечистот по железным лестничкам вверх, то спускаться вниз, то протискиваться лежа вслед за Голубом по осклизлым круглым трубам к более широким подземным туннелям, где шумят, закипают грязной пеной многочисленные водные потоки, устремляющиеся к единому руслу реки, закованной в бетон и пробегающей скрыто под всем холмистым Львовом.

Еще в позапрошлом, восемнадцатом веке, когда

вокруг предместья средневекового Львова сохранялся целый пояс оборонных укреплений с каменными стенами, земляными валами и арсеналами, эта река Полтва протекала городом открыто... Со временем, в связи с ростом города, ее постепенно замуровали...

Начинаясь около лесопарка Погулянка, возле окраинной улочки Радость, на юго-востоке Львова, эта маленькая речушка протекает несколько сот метров открыто, у обрывистого парка Иордан перехватывается бассейном «Железная вода» и дальше продолжает свое течение через весь город в железобетонном туннеле, выходя наружу в предместье Замарстынов, за северными кварталами города.

Местами беглецы погружаются до пояса в зловонную тину или густую грязь. Остатки их мокрой одежды прилипли к страшно худым, израненным, истощенным телам, но каждый из беглецов, преодолевая препятствия, пробирается за своими поводырями, потому что уже здесь света больше, чем там, наверху...

Тревожно завывают сирены над сонным Львовом, уже давно встретившим очередной «полицейский час».

Голубые мечи прожекторов утыкаются в стены домов, расположенных ниже горы Вроновских.

Тягостный вой сирен подгоняет охранников, что в лихорадочном темпе одеваются в караульном помещении — «вахе», на внутреннем плацу цитадели.

В полицае, с силой натягивающем тесный сапог, грохоча каблуком по дощатому полу, мы узнаем того самого черномазого студента Верхолу, который стрелял на путях главного вокзала в спину капитану Журженко.

Неужели им доведется снова встретиться?

Быстро запахивает черный мундир в своем кабинете Дмитро Каблак. Хватает с этажерки никелированный «вальтер».

Полусогнувшись, гуськом движутся военнопленные по узким и скользким обочинам туннеля, в корыте которого клокочет подводная река.

Сделал круг над головой фонариком Голуб. Подбадривает беглецов:

— Пересекаем плац Брестской унии. Скоро будем под собором святого Юра. Добра прогулочка, що?..

Под вой сирен, освещаемые ударами прожекторных хлыстов, разбегаются в разные стороны со склонов цитадели полицаи. Некоторые из них держат на поводках лающих и рвущихся вперед овчарок.

Подбегают полицаи к месту, где перерезаны заграждения внешнего обвода. Присвечивают фонариками. Бежит за полицаями взъерошенный Каблак. Но вот узкий световой конус его фонарика уткнулся в блестящую полоску под кустом репейника.

Каблак нагибается и поднимает большие новые ножницы.

Смотрит на них.

В памяти Каблака возникает:

...Краковский базар. Иванна в монашеском одеянии, склоненная над развалом. Ножницы в ее длинных, тонких пальцах...

Остромордая, поджарая овчарка, взяв след, тянет черномазого полицая к подвалу шестого бастиона.

— Агов, хлопцы! Сюда! — радостно кричит он, пуская вперед собаку и размахивая пистолетом, поблескивающим в лучах прожекторов...

Один за другим разгоряченные полицаи, пригибая головы в черных мазепинках, вваливаются по выщербленным каменным ступеням в сырой подвал шестого бастиона.

Оглашая воздух хриплым лаем, овчарка рвется к люку канализации.

— А ну отойдите, бо знизу можуть стриляты, — предупреждает черномазый полицай охранников. Те пятятся, жмутся к стенам круглого бастиона.

Черномазый быстро рвет на себя чугунную крышку люка, и оттуда, из-под земли, вырывается столб багрового пламени.

В грохоте сильного взрыва рушатся своды старого бастиона, погребая под собой попавших в западню гитлеровских полицаев.

Отсвет взрыва, вырвавшегося из подвала, освещает лицо опоздавшего Каблака.

Он заслоняет лицо от осколков тяжелыми бле-

стящими ножницами, перекрещенными, как те самые голубые ножи прожекторов, что мечутся над его головой по низкому и мрачному львовскому небу.

Юлька спасает

Группа полицейских, с овчарками на поводках, во главе с Каблаком подбегает к воротам женского монастыря ордена сестер-василианок. Каблак изо всей силы колотит в дубовую монастырскую дверь рукояткой «вальтера».

Этот стук и визгливый, захлебывающийся лай собак будят монахинь.

То одна, то другая покидают постели, появляются у затянутых решетками окон, силятся услышать и разглядеть, что происходит перед монастырем.

За решеткой одного из окон освещаемое перебежками голубых прожекторов напряженное лицо Иванны.

Она вся ушла в слух.

Привратница разбудила игуменью.

Настоятельница открывает медный щиток глазка в двери, пробует увидеть лица тех, что рвутся столь поздней порой в ее обитель.

— Мать игуменья, откройте! То я — Каблак! — кричит в глазок сотник полиции, освещая для большего подтверждения своих слов собственное потное лицо лучом фонаря.

Вздрогнула Иванна. Еще ближе припала к решетке.

— Все одно — не пущу, — упрямится игуменья.— В такую пору — и до женского монастыря. Вы что, сказились? Я буду жаловаться обер-штурмбанфюреру Дитцу.

— Мы не с обыском. Пустите! — настаивает Каблак.

— Бойтесь бога! Не пущу! — отказывает игуменья.

— Нам одна особа у вас нужна, всего лишь. Мы обыска робыть не будемо, — умоляет настоятельницу сотник.

— Кто вам нужен, ну? — резко спрашивает игуменья.

Каблак оглянулся на темный фасад здания, посмотрел на соседние кусты и, прислоняя губы к глазку, сообщил:

— Ставничая.

Но в тишине тревожной осенней ночи этот свистящий шепот был услышан наверху.

Колеблется игуменья. Но потом со скрежетом поворачивает в ржавом и певучем замке входной двери тяжелый ключ.

Полутемный монастырский коридор. Тень Иванны проскользнула к черному двору.

Спустя минуту появился в коридоре с поднятым пистолетом Каблак.

Бежит, поскрипывая деревянными ступеньками, на второй этаж.

Тем временем Иванна забирается по наклоненной груше на высокую монастырскую стену и соскальзывает на вытянутых руках на улицу.

Сливаясь в сутане с ночным мраком, неслышно мчится Иванна по улицам ночного Львова.

Пробирается в палисадник перед домиком, где живет Цимбалистая. Дробно стучит в окно. Распахиваются обе его половинки, и оттуда выглядывает заспанная Юлька.

— Кто то?

— Спасай, Юлька, — озираясь в темноту, шепчет Иванна...

Цимбалистая раздвигает вазоны и, протянув Иванне руку, втягивает ее в комнату.

При свете вспыхнувшей лампы Ставничая поспешно снимает сутану и надевает платье, некогда оставленное у Цимбалистой, постепенно превращаясь в ту самую Иванну, которую мы видели в начале фильма.

— Туда мне возврата нет, — говорит Иванна, приводя в порядок волнистые густые волосы. — Поеду до батька. Ты проводишь меня на вокзал и купишь билет...

— Ничего более умного не придумала? — возмутилась Юлька. Она дает знак говорить тихо и не будить хозяев.

— А что же мне делать? — Иванна повязывает голову платочком.

— Придумаем, — загадочно сказала Юлька.

В гостиной, залитой утренним светом ясного солнечного дня золотой львовской осени, Шептицкий принимает оберштурмбанфюрера Дитца.

На резном столике, разделяющем высокое кресло хозяина и мягкий стул гостя, высится оплетенная соломкой бутылка «Мартеля», а в маленьких чашечках дымится ароматный кофе.

— События нынешней ночи меня очень огорчили, господин оберштурмбанфюрер, — играя высокой коньячной рюмкой, говорит Шептицкий. — Наши цели едины, вы это прекрасно знаете. Для чего же надо поздним вторжением в женский монастырь создавать в народе плохое впечатление?

— Ваша эксцеленция, — сухо говорит Дитц, — действия сотника Каблака не были предварительно согласованы со мной.

— Тем более я убежден, что девушка ни в чем не виновата. Она моя крестница...

— Мне очень горько разочаровывать вашу эксцеленцию, — учтиво говорит Дитц, — но в интересах дела я вынужден сделать это. — Он раскрывает портмоне и, достав оттуда обручальное кольцо, протягивает его митрополиту. — Скажите, вам знакомо это кольцо?

Шептицкий вертит кольцо в руках, читает надпись на внутренней его стороне и говорит с удивлением:

— Знакомо! Но каким образом оно попало к вам?

Песня во мраке

Большое просторное подземелье под собором святого Юра. Много, очень много подобных подземелий и тайников, соединенных лабиринтами, скрыто под гостподствующей над Львовом Святоюрской горой. Даже каноники и келари, по многу лет окружающие Шептицкого, не знают всех их. Быть может, поэтому, по странному стечению обстоятельств, именно здесь, под

капитулой, в 1922 году собралась первая подпольная конференция Коммунистической партии Западной Украины, и ее делегаты, захваченные вследствие полицейской провокации, были осуждены на процессе, названном «Святоюрским».

Теперь в подземелье людно. Горят две карбидные лампы. Те же ящики с оружием и продуктами, которые сбрасывали в канализационные люки Голуб и Садаклий, заботливо расставлены под стенами. Вдоль стен свисают круглые ржавые кольца и цепи.

На соломе, брошенной прямо на пол, лежат раненые беглецы. Их перевязывают Юля и Иванна.

— Воды, сестрица, — протянул истощенный донельзя раненый.

— Потерпите немножко, — сказала Юля, прислушиваясь к визгу ручного сверла в соседнем отсеке.

Она забегает туда, и мы видим, что Банелин из последних сил, держа над головой в вытянутых руках ручную дрель, сверлит проходящую в каменной кладке чугунную трубу.

— Скоро, товарищи? — спрашивает Юлька. — Больные нас уже замучили...

— Давай-ка я посверлю, — сказал Бойко, отбирая у Банелина сверло. В его руках оно завертелось быстрее.

— А що як то газова труба, — приговаривает Бойко. — Задушимся все, як щуры, газом ни за цапову душу...

— Не бойся, Голуб знает тут каждую трубу, каждый угол, — говорит Банелин. — Тут у них во времена Польши подпольная типография стояла.

— А як же воны без воды обходились?

— Приносили, верно, — решает Банелин и, тихо обращаясь к Юльке, спрашивает: — Подружка-то ваша надежная?

— Будьте спокойны, — говорит Юля.

— Вода! — закричал Бойко. — Вода!

Он вырывает из трубы сверло, и оттуда чуть косо, искрясь в свете карбидных ламп, вырывается тонкий и сильный фонтанчик воды...

Все, кто в состоянии передвигаться, хватают ведра, пустые консервные банки, подставляют их навстречу фонтанчику.

Туннель, в котором клокочет Полтва. На доске, переброшенной через корыто канала, сидит с винтовкой Зубарь. К нему подходит Банелин.

— Воду открыли, — радостно сообщает он. — Идите попейте, я подежурю...

Шумно горят примуса на полу подземелья. Они нагружены ведрами и банками.

Когда Зубарь выныривает из темноты, Бойко деловито протягивает ему консервную банку, полную воды. Жадно пьет Зубарь. Капли воды стекают ему на грудь.

— Знатная вода! Уф! — говорит Зубарь. — Однако надо бурить еще.

— Хлопцы пошли сверлить в другом месте. Там ниже тоже труба проходит, — говорит Бойко. — Дело веселее пойдет!..

— А где Юля? — спросил Зубарь.

— Она у раненых, — сказал Бойко.

Тихая мелодия французской песенки доносится из подземного зала, где лежат на соломе раненые.

Зубарь пробирается туда на звуки музыки.

Шумят примуса на полу.

Около них сидит Эмиль Леже и, опершись спиной о ящик с продуктами, поет песенку о своем сыне...

Слушают его раненые, слушает капитан Журженко, осторожно массируя больную ногу.

Громко взял последний аккорд Леже, перевернул на лету гитарку и протягивает ее Иванне...

— Да я не умею, спасибо, — застеснялась Иванна.

— Умеет, умеет, — выдала подругу Юля.

— Спойте, Иванна, — говорит Журженко, — песня лучше лекарства.

— Я веселых песен не знаю, — отнекивается Ставничая. — Ну, да ладно, спою вам эту.

И, настроив гитару, Иванна запела:

Бувай здоров, коханий мій,
Мені пора в дорогу.
Осиплються квітки всіх мрій
Без тебе, молодого.

Надія, мов вишневий квіт,
Розвіється з вітрами,
А я піду в далекий світ
Незнаними шляхами.

Дзвіночок дзвонить, «дзень-дзелень»,
Рушаю я в дорогу.
Не вчую більш твоїх пісень.
Не вчую ані слова.

Все нежнее смотрит на Иванну капитан Журженко.

І в глибину твоїх очей
Я більше вже не гляну,
Далеко від твоїх грудей
На чужині зів'яну...

Подпевает ей Цимбалистая:

В повітрі котяться дими,
Машини вже на шляху.
Прийди, мій милий, пригорни
І поцілуй без жаху...

Бо, може, вже не вернусь я,
Ти не вдавайся в тугу...
Бувай здоров, коханий мій,
Ти швидко знайдеш другу...

— Хорошая песня! — мечтательно говорит Журженко.

— Какими-то шляхами мы выберемся отсюда? Вот вопрос! — протянул Зубарь.

— Нам бы раны зализать, — шутит Журженко. — А тогда либо в партизаны, либо на восток пробиваться...

— А товарища Садаклия все нет и нет, — с тревогой сказал Банелин. — Не стряслось бы чего. Постойте, кто-то, кажется, пришел!

Банелин, поднявшись, идет из подземелья в тунель, где караулит подходы к подземному госпиталю Бойко. Пришел радостный, оживленный Голуб и осматривает, присвечивая фонариком, как сверлят трубу двое.

— Что на воле, Панас Степанович? — осведомляется Банелин.

— На похоронах був, — говорит Голуб весело. — Поплакав трохи.

— Кого же хоронили?

— А тех полицаев, что подорвались в шестом бастионе на моих подарках.

— Нет, правда? Шутите небось?

— Какие могут быть шутки, — обиделся Голуб.— Знаешь, скольких ухайдакали?

— Полицая четыре?

— Бери выше! Девять! Зенон Верхола — помощник коменданта полиции «угас» вместе с ними. А катабасов, катабасов отпевать пришло на Лычаковку! Туча! Как воронье слетелось. На одного убитого по три попа, не меньше. Сам архиепископ Слипый речь говорил...

— А чего архиепископу там делать? — удивился Банелин.

Голуб посмотрел на него умными стариковскими глазами и протянул:

— Сразу видно — молодо-зелено. Ты, наверное, Банелин, на своем веку там, в России, еще ни одного живого архиепископа не видел. А я-то их здесь насмотрелся. Разных. Для них это тоже потеря большая — одна ведь шайка-лейка. Недаром наша пословица говорит: «Полицай стреляет, а бог пули носит».

— Ну, а як той архиепископ у своей речи все объяснял? Кто позабивал их? — допытывается Бойко.

— Як объяснял? — говорит Голуб. — Каже: погибли самые лучшие, храбрые от рук жидов и коммунистов. На венке от капитулы так и написано. По городу объявления выклеены — «гончие листы»; кто укажет, где мы скрываемся, — сразу на руку получает пять литров водки, продукты разные и двадцать тысяч марок наличными...

— Дорого нас оценили! — смеется Банелин.

«Рота присяги»

Палаты митрополита на Святоюрской горе во Львове.

В общей прихожей одиноко читает газету «Львівські вісті» с траурными объявлениями об убийстве полицаев отец Теодозий Ставничий.

Не чует он, что рядом, за стеной, в просторном зале собралась греко-католическая консистория Львовской митрополитальной капитулы.

...Заседают тут члены капитульной консистории, самые достойные старейшины — почетные клирошане,

архиепископы и епископы, канцлеры и хартофилакс, апостольский протонотарий митрат Кадочный и генеральный викарий военного сектора, лысоватый доктор богословия Василий Лаба, тот, что возглавил вербовку молодежи в дивизию СС «Галичина», напутствуя ее брать «безбожную Москву»...

Соборных клирошан-старейшин, священников Романа Лободича, Емельяна Горчинского, Стефана Рудя, Николая Хмильовского пополняют своим опытом и авторитетом двенадцать титулярных клирошан. Есть среди них канцлеры и шамбеляны, профессора духовной академии и протопресвитеры — лучшие из лучших иерархи епархии, призванные строго, продолжая древние традиции инквизиции, бороться за чистоту веры и поведения священнослужителей...

— Пригласите отца Теодозия! — сказал келейнику архиепископ Йосиф Слипый, бравого вида иерарх с бородой, не менее окладистой, чем у митрополита.

Исчез на мгновенье келейник. В открытой двери появляется Ставничий.

Иезуитский парк во Львове. Уже совсем стемнело. Вздыхая, отец Теодозий рассказывает высокому железнодорожнику:

— Вот здесь-то и наступил самый решительный момент в моей жизни. Когда меня вызвали на заседание консистории, я никак не мог связать тот вызов с судьбой дочери. Даже казалось вначале, что митрополит настолько благосклонен к моей особе, что хочет сделать меня одним из членов капитулы... Но тут внезапно архиепископ, ведущий заседание, потребовал дать «роту присяги»... Простите, ведь вам совершенно незнаком этот церемониал, сохранившийся в нашей церкви еще со времен испанской инквизиции?

— Откуда же мне знать этот церемониал? — глухо роняет железнодорожник.

Действие снова переносится в палаты митрополита. Взгляды всех сидящих в зале членов консистории сосредоточены теперь на стоящем у дверей в напряженном ожидании священнике Теодозии Ставничем.

Слышится за кадром продолжение его рассказа:

— *Прежде чем быть допрошенным консисторией,*

любой священнослужитель обязан торжественно дать «роту присяги»...

Мы видим холодные и строгие лица членов капитулы. Аппарат панорамирует и вдруг фиксирует лицо сидящего в отдалении, за занавеской, в позе почетного наблюдателя неизвестного, в котором мы узнаем высокого худощавого «железнодорожника».

Мы еще не знаем, кто он, но можем предположить: либо папский легат, либо апостолический визитатор, прибывший сюда из конгрегации «сан-оффицио» и правомочный знать решительно все...

Поднимается архиепископ Иосиф Слипый. Поправляет бороду. Говорит, откашлявшись:

— Отец Теодозий...

Поморщился недовольно и глянул в открытое окно. По площади проходят гитлеровцы.

Нарастающий стук немецкого военного барабана сменяется хриплым маршевым пением «Хорста Весселя».

— Закройте окна! — приказал архиепископ.

Поспешно закрывает окна рослый келейник.

— Отец Теодозий, — продолжает архиепископ, — перед началом судебного разбирательства извольте произнести «роту присяги»...

— Судебного? — протянул изумленный отец Теодозий. — Вы меня собираетесь судить... За что?

— Все будет зависеть от вашей искренности, — резко отчеканивает архиепископ. — Выполняйте установленный обряд...

Пошатываясь, ища взглядом сочувствия у сидящих с застывшими, каменными лицами участников религиозного трибунала, отец Теодозий растерянно подходит к аналою, на который возложено тяжелое евангелие, и, сотворив крестное знамение, глухим, дрожащим голосом бормочет:

— Я, иерей Теодозий Ставничий...

Ветер распахнул окно, и удаляющаяся дробь барабана опять ворвалась в зал. Келейник хотел было броситься к окну, но архиепископ Слипый недовольным движением руки остановил его порыв.

— Я, иерей Теодозий Ставничий, — продолжает после заминки священник, — присягаю господу всемогущему, в троице святой единому, что в разбирае-

мом деле буду говорить чистую правду, ничего к ней не прибавляя и ничего не отнимая. Так помоги мне, боже и это святое евангелие...

Дробно стучит удаляющийся гитлеровский барабан.

Ставничий, наклоняясь, целует евангелие, и его седые волосы падают на тисненный золотом переплет...

— Как вы думаете, отец Теодозий, — вкрадчиво спрашивает генеральный викарий доктор Лаба, — обязательны ли еще для нас последние напутствия святейшего отца о задачах католической акции?

— Конечно... обязательны...

— А что говорил нам всем святейший отец о «раздвоении совести»? — ласково допытывается генеральный викарий.

— Святейший отец предостерегал нас... против таких явлений, когда бывают люди с одной совестью для личной жизни... и с другой совестью в публичных выступлениях...

— Подобные явления возможны в нашей пастырской среде? — перебивает Слипый.

Теряясь в догадках, все еще не понимая, к чему ведет допрос, отец Теодозий протянул неуверенно:

— Возможны... но нежелательны...

— Не могли бы вы привести точные примеры таких нежелательных явлений из жизни собственного деканата, — просит доктор Лаба.

— Простите?

Повышая голос, архиепископ Слипый резко спрашивает:

— Где ваша дочь, отец Теодозий?

Отпрянул от аналоя Ставничий. Испуганным голосом сказал:

— Я не знаю точно... Я получил от нее письмо...

— Что она пишет? Только говорите правду!

Потухающим голосом Ставничий продолжает:

— Она пишет... Однако несколько загадочно... что находится у хороших людей... Просит не беспокоиться о ее судьбе...

— Ясно всем? — обводя взглядом присутствующих, торжествующе сказал Слипый. — Что я говорил?..

— Ваше преосвященство... Объясните, бога ради,— взмолился Ставничий.

— Вы должны нам объяснить... Вы... Понимаете? — закричал Слипый. — Можете идти...

Когда совершенно подавленный неизвестностью отец Теодозий вышел в общую прихожую, келейник шепнул ему что-то на ухо..

...Они беседуют наедине в гостиной митрополита за плотными атласными шторами, перехватывающими каждый звук, долетающий до капитулы с улицы. В уютной тишине гостиной голос митрополита звучит особенно ласково, задушевно.

— Отец Теодозий! Принимая деканат, вы дали мне лично обещание в послушании и верности и высказали безусловную готовность сообщать все сведения о ереси, которая заползет в души ваших прихожан. Вы помните?

— Помню, ваша эксцеленция, — опустив голову, соглашается Ставничий.

— Почему же о схизме, что свила себе гнездо в вашей собственной семье, я узнаю окольными путями? Почему вы, старый солдат армии христовой, почти мой ровесник, не пришли ко мне своевременно и не покаялись? Что, разве я к вам плохо относился?

— Господи!.. — поспешно возражает Ставничий.

— Вы понимаете, какую тень бросает вся эта печальная история на вас, на меня — ее крестного отца, на всю церковь?

— Но я ведь не знал, что она убежала оттуда, ваша ексцеленция! — пытается оправдаться священник.

— Дело не столько в ее побеге, сколько в том, где она сейчас находится. И вы, ее отец, обязаны — Христом-богом заклинаю вас! — обязаны вызволить ее из плена этих «хороших людей». Это же позор! Вы понимаете — позор! Дочь такого уважаемого священника, моя крестница... О боже!.. Роману Герете я уже послал вызов на фронт...

— Спасибо, ваша эксцеленция...

— Вы говорите — «спасибо». А сознаете ли вы, что мне гораздо бы легче было наложить на вас суспензу — лишить вас сана...

— Конечно, сознаю. Ваша доброта...

Митрополит прерывает Ставничего:

— Если вы понимаете мою доброту, то сделаете то, что я вас прошу.

— С ней ничего дурного не станется, ваша эксцеленция?

— Именно от этого дурного я и хочу предостеречь ее, пока не поздно...

— Как же мне поступать дальше? Я совершенно теряюсь, ваша эксцеленция.

— Давайте подумаем вместе! — промолвил Шептицкий, постукивая толстым пальцем по инкрустированной поверхности резного столика...

Под землей светлее

Подземелье. Спят на соломе раненые. Журженко поправляет перевязку, которую ему только что закончила делать Ставничая, и говорит проникновенно:

— Спасибо, Иванна. Добрая душа у вас...

— Обычная, христианская душа, — встряхнув волосами, сказала Иванна.

— Неужели без этого прилагательного человек не может попросту быть добр?

— Я давно хотела спросить вас, Иван Тихонович, отчего вы так не любите нашего бога?

— Хотите начистоту? «Не любите» — не то слово!

— Ну за что же?..

— Я отрицаю вашего Христа, Иванна, потому, что он учит людей безвольно покоряться злу. Да не только Христос, любой бог, всякий кумир, который, подобно удаву, замораживает волю человека, принуждает его цепенеть перед своим мнимым величием и таинственной значительностью... Вы же сами слушали вчера рассказ Садаклия. Что происходит сейчас там, наверху, где господствует ваш добрый, всевидящий, облегчающий людские страдания бог? Десяток полицаев подвозят к открытым могилам тысячи людей. Верующих в бога людей! Их заставляют раздеться и лечь ничком на теплые еще тела застреленных предшественников. И они ложатся. Без ропота. Без сопротивления.

Прерывает его Зубарь:

— Смирного волка и телята лижут!

— Да! Правильно! — согласился Журженко, продолжая. — И десяток полицаев расстреливают их сверху, в упор, безвольных. Почему же они не сопротивляются? Они уповают на бога! А бог учит — всякая власть от него, и ей надо слепо повиноваться. Разве могли бы гитлеровцы уничтожить безнаказанно миллионы людей, если бы люди верили не в бога, а прежде всего в свои собственные силы, в себя, в свою гордость человеческую? Никогда! А это именно бог подвел их к могиле вялыми, напуганными, уже безразличными ко всему. Скажите, кто воспитал в людях эту тупую покорность? Религия! Давний и верный слуга всех угнетателей...

— А на пряжечках-то у эсэсаков написано: «Готт мит унс!» — приподнявшись на локте, заметил Зубарь. — Вот и разберитесь — кому же служит ваш хваленый бог?

Чье-то приближающееся причитание, громкие возгласы обрывают беседу и заставляют насторожиться задумчивую, размышляющую Иванну.

В подземелье вбегает Цимбалистая. Никогда еще мы не видели ее такой.

— Боже, боже, що там робыться! — восклицает она, оглядывая лежащих заплаканными глазами. — Жах! Тут у нас, под землей, света куда больше, чем наверху...

— Что такое, Юлька? — прерывает ее Иванна.

— Людей там снова жгут. Живьем. — Она начинает плакать.

— Успокойся, Юля, — подсаживается к ней Зубарь. — Все мы им припомним. Все.

Заплаканными глазами Юлька увидела Эмиля Леже и, приходя в себя, говорит:

— Держите письмо, Эмиль...

Порывшись в корзинке, она достала письмо и пакет.

— Там чистое белье. Все допытывалась жинка: где да где? В лесу, говорю. «Я поеду туда!» То далеко, говорю. Аж за Бродами. Поверила.

— Мерси, мадемуазель Юлия, — говорит Леже.— Гран мерси. — Он целует руку Цимбалистой, вызывая заметное неудовольствие Зубаря.

— И для тебя письмо есть, — кивает в сторону Иванны Юля.

— От кого?

— Тато твой был у меня. Я тоже не призналась. А как же иначе. Не знаю, говорю, где она. Понятия не имею. Он письмо написал. Ну хорошо, говорю, пусть лежит на всякий случай. Авось объявится!

— Тато в городе. Боже! — встревожена Иванна.— Давай письмо!

— И будет еще долго в городе. Глаза лечить приехал. Держи...

Нервными движениями Иванна разрывает конверт и, поднеся листочек к свету карбидной лампы, быстро читает. Погодя говорит:

— Бедный татусь...— Слезы появляются на глазах Иванны.

— Ему что-нибудь угрожает? — осторожно спросил Журженко.

— Да вот послушайте, — говорит Иванна, утирая слезы, — что он пишет. У меня от вас теперь секретов нет... — Приблизив листочек к глазам, она читает, то и дело запинаясь, сдерживая рыдания: «Люба моя доченька. Где ты — я не знаю, но очень тоскую по тебе и хочу верить, что ты у хороших людей. Возможно, через несколько дней я лягу на операцию... Как бы мне хотелось перед этим повидать тебя, прижать к сердцу твою родную головку. Ты ведь одна-единственная осталась у меня! Я живу в пятой келье монастыря студитов в Кривчицах. Там совершенно безопасно, если ты захочешь увидеть меня без чужих глаз. Приходи, моя донечка. Жду. Твой татусь...»

Иезуитский парк во Львове. Сдерживая рыдания, кашляя, Теодозий Ставничий продолжает рассказывать худощавому железнодорожнику:

— Я могу теперь признаться вам, что содержание письма мне было подсказано Шептицким. Мог ли я не верить ему, моему иерарху, князю нашей церкви?

Подземелье. Общее молчание. Складывает письмо Иванна.

— Трудное дело, — покачал головой Зубарь. — Очень трудное. А что, если это ловушка?..

— Вы не знаете моего отца! — тряхнув волосами, резко бросила Иванна. — Он никогда не пошел бы на такую подлость! Никогда!

— Жаль, нет Садаклия. Он бы разобрался! — говорит Зубарь.

— Батько очень плохо выглядит, — тихо сказала Юля. — Плакал...

— Я пойду до него! — сразу решает Иванна.

— Погодите, Иванна, — советует Журженко.

— Ничего мне не сделается. Околицами доберусь туда, через Погулянку, Чертовскую скалу...

— Не надо! Нельзя! — настаивает Журженко.

— Почему это нельзя? Я добровольно пришла к вам, добровольно могу и выйти!— говорит Иванна.

— А я не разрешаю вам! — говорит Журженко, вставая и опираясь на палку.

— Не разрешаете? — возмутилась Иванна. — Тогда...

И она вырывается из подземелья в туннель.

Прихрамывая, бежит за ней Журженко.

— Иванна! — кричит он. — Иванна!

Крик его прокатывается далеким эхом по туннелю.

— Ну, что вы хотите? — доносится из темноты голос Иванны.

Присвечивая фонариком, осторожно движется вдоль скользкой стены подземного коридора капитан Журженко. Подошел к Иванне, осветил на мгновенье ее решительное, волевое лицо и опустил фонарик вниз. Засеребрилось, заплясало на проплывающей воде канала круглое пятнышко яркого света.

— Не надо! — уговаривает Журженко, взяв Иванну за руку.

— Я знаю: вы мне не доверяете и боитесь, что я приведу сюда немцев!

— Если бы я вас не любил, тогда, быть может, ваши подозрения имели основание, — говорит, криво улыбнувшись, капитан. — К сожалению, любовь и недоверие не могут уживаться рядом...

— Любовь!.. Что вы сказали? — смущенно протянула Иванна.

— Вы дороги мне очень!.. Не ходите... Иванна... Родная... — тихо сказал Журженко и потянулся

к Иванне, как бы желая ее поцеловать, но тут же отшатнулся.

Вдали, постепенно увеличиваясь, показывается свет фонарика. Кто-то идет к подземелью...

...Из темного прохода появляется Голуб. В руках у него девочка лет пяти. Платье ее мокрое. Видны ссадины на головке.

— Ось маєте ще одну квартирантку! — мрачно говорит Голуб, заходя в подземный госпиталь и укладывая девочку на солому.

Все окружают девочку. Испуганными карими глазенками, онемев от страха, как завороженная, глядит девочка на яркий свет карбидной лампы, на шипящие подле примуса.

— Откуда дытына, дядько Панас? — спрашивает Бойко.

— На Замарстынове гитлеровцы людей опять морduют, — мрачно бормочет Голуб. — Акция!.. С утра... Ну, должно быть, кое-кто по люкам до каналу спустился... Спасаться... А полиция — накрыла. Я иду каналом, вижу — люди побитые лежат... Насмерть... А чуть дальше, в воде, пищит что-то... Присветил, вижу — оце бидацтво. Уже захлебывается...

— Как зовут тебя, милая? — присев на колени, спрашивает Иванна.

Молчит девочка.

Прижимает ее к своей груди, покачивает, снова спрашивает:

— Ну, как зовут, ты что — немая?

Должно быть, девочка почуяла давно забытую от ужасов гетто материнскую ласку, и зажглись, блеснули светом надежды на лучшее ее глазенки.

Звенящим голоском отвечает девочка:

— Фаина!

— Дывысь, яке ладне имя, — оживился Голуб, принимая ревниво свою находку от Ставничей — А я зараз буду твий крестный батько и тоби писеньку заспиваю. Хочеш писеньку?

— Хочу! — отозвалась Фаина.

Глухим, добродушным старческим голосом, полуречитативом напевает Голуб:

Ходить сон біля вікон,
А дрімота — біля плота...

І питає сон дрімоти:
Де ж ми будем ночувати...
Де хатинка є низенька...
Де дитинка є маленька...

Тихонько подыгрывает на гитарке Эмиль. Вдруг резко провел по струнам и сказал:

— Знай что... Нехай мадемуазель Юлия отведет Фаину мой жена... У нас садик есть... Мой Франсуа расти — играть вместе.

— Це не дило, Эмиль, — говорит Голуб. — Тут впотьмах она, конечно, долго не проживет. Молоко нужно. Воздух... Ну, всякий там гоголь-моголь... Но и у твоей жены опасно, она ж под подозрением. Станут присипываться, а оно — малое, разболтать может...

— Дядько Панас, а знаете что, я пиду до батька и попрошу его, чтобы он Фаину до нашего местечка переправил, — загорелась Иванна. — Там спокойно.

— Чого це ты пидеш до батька? — настороженно спрашивает Голуб.

— Панас Степанович, — сказал Журженко, — когда придет Садаклий?

— Мени з дытыною замакитрилось, и я забыл вам самую главную новость сказать, — оживился Голуб. — В штабе Народной гвардии получили шифровку. Москва послала на Ровенщину партизанский отряд. Он выбросился в Цуманских лесах. Так ось Садаклий и поехал на связь с отрядом... Добра новына, що? Я теперь за него остался...

Окруженная лощинами и полями, стоит и поныне во Львове, за пригородным селением Кривчицы, за холмами пустынного овражистого Кайзервальда, маленькая деревянная, причудливой бойковской архитектуры церквушка, окруженная деревянным забором. Церквушку перевезли некогда сюда, под Львов, с Карпат по личному приказу митрополита Шептицкого. А мимо забора, ограждающего погост, тянется к подворью мужского монастыря ордена студитов проселочная дорога.

Приближаются по дороге к монастырю Иванна вместе с Фаиной. Ведет Ставничая девочку за ручку, и та осторожно перепрыгивает через лужи.

Близок уже монастырь, где ждет свою дочь отец

Теодозий, как вдруг из-за ограды погоста выскакивает засада «черных круков» — полицаев в черных мундирах.

Держа пистолет в руке, приближается к Иванне Дмитро Каблак и говорит:

— Цилую руци, панна Иванна. Уже з дытынкою, так? Быстренько...

Полное ужаса лицо Иванны...

На Лонцкого

Следственная комната — «динстциммер» во львовском гестапо на улице Лонцкого. За столом в мягком кресле удобно развалился, попыхивая сигарой, Альфред Дитц.

На столе — телефоны. Поодаль, на закрытом бюро, лежит его фуражка с высокой тульей.

Дитц пока ведет себя как посторонний наблюдатель и не вмешивается в очную ставку между женихом и невестой.

Правда, они, стоящие поодаль друг против друга, отнюдь не в равном положении.

Истерзанная пытками, ночными допросами, Иванна едва стоит на ногах. Руки ее закованы. Позади — два молчаливых эсэсовца, готовых выполнить любое приказание Дитца.

Хорошо пригнана к сухощавой спортивной фигуре Романа Гереты гитлеровская униформа военного капеллана, она весьма к лицу молодому богослову. Он силится сдерживать себя, быть дисциплинированным, как и подобает вести себя человеку в военном мундире, да еще в присутствии высшего офицера, но нет-нет да и прорвется волнение в разговоре Романа.

Горячо бросает ему в лицо Иванна:

— Думаете, не знаю, кто подговорил Каблака отказать мне в приеме в университет?

Бледнеет Роман Сдерживая себя, говорит твердо:

— Да. Я сделал это, но только для вашего блага. Не пристало невесте будущего священнослужителя учиться в советском безбожном университете.

— А где он, *ваш* университет? — восклицает Иванна и кивает на Дитца. — Они вам его открыли?

— Образумьтесь, Иванна, — просит Герета.

— Ой, какой из вас лицемер... Да вы счастье мое украли... Мечту мою украли... Вы Иуда...

Пошатнулся, как от удара, съежился Герета. Не ждал он такого от любимой невесты.

— Именем бога, заклинаю вас...

— Какого бога? — взрывается Иванна. — Который привел на Украину таких вот палачей? Что вы машете мне? Да они сами не скрывают этого. Глянь-те, — закованными руками указывает Иванна на фуражку Дитца с высокой тульей. На околыше ее — изображение черепа и перекрещенных костей. — Вот что несут они народу. Смерть! А я люблю жизнь и никогда не предам тех, кто за жизнь борется...

Тут Дитц не сдерживается. Он вскакивает и, изо всей силы ударяя ладонью по столу, кричит:

— Ну, хватит! Последний раз спрашиваю, где скрываются пленные, которым вы помогли бежать?..

— Сознайся, Иванна... Умоляю... — шепчет Герета.

— Молчите хоть вы... святоюрская крыса! — с нескрываемым презрением бросает в лицо жениху Иванна.

Лестницы Львова

...Черная закрытая машина, завывая полицейской сиреной, на бешеной скорости подкатывает по пустынной улице к зданию бывшего университета Ивана Франко.

...Все те же аллегорические изображения Вислы, Днестра и Галичины венчают портал здания, но нет уже подле университета той веселой, смеющейся молодежи, которую видели мы в начале фильма,— лишь два эсэсовца — часовые в касках — застыли с автоматами на груди у входа, лениво полощется над ними огромный флаг с паучьей свастикой, и новая, готической вязью заполненная вывеска «Зондергерихт дистрикт Галициен» («Особый суд провинции Галиция») появилась на фронтоне портала.

По углам университета с уродливой назойливостью выпирают прилепившиеся к серому фасаду, как лас-

точкины гнезда, бетонные бойницы с глазками для пулеметов.

Со скрежетом тормозит машина.

Выскакивают из заднего отделения два дюжих гестаповца и выволакивают из машины вместе с другими обреченными простоволосую Иванну.

Расшитая крестиком гуцульская ее блузка изодрана. Щеки девушки запали.

Руки ее в кандалах.

Она несет их перед собой.

Голова Иванны гордо откинута назад. Запекшиеся губы закушены. Последними усилиями старается она не выдать своего подлинного состояния, но в прекрасных глубоких глазах девушки, что светятся под черными раскрылиями бровей, большая решимость уже заслонена поволокой предсмертной тоски.

...Так шагает Иванна среди других непокоренных дорогой смерти, подталкиваемая двумя охранниками, по той же самой широкой каменной лестнице, по которой некогда бежала навстречу своему украденному счастью...

Другая львовская лестница. Она подымается в гору. Ее окаймляют высокие березы, серостволые буки. Ходит по городу предание, что когда-то магнаты казнили на этой горе, называемой зачастую и поныне «Гурой страценння», или «Горой казни», пленных гайдамаков, участников знаменитой «колиивщины». Австрийские жандармы уничтожали здесь захваченных польских повстанцев, а теперь тут по приказу западных «культуртрегеров» из гестапо подняты черные виселицы нового, двадцатого века.

Медленно, тяжело дыша, поднимается узкой лестницей на историческую гору измученный поисками дочери Теодозий Ставничий.

Невдомек еще старику, что там, на вершине горы, за кольцом молчаливых зевак, окруживших на почтительном расстоянии шесть черных виселиц, найдет он свою единственную дочь...

Четыре эсэсовца, стоя на широко раздвинутых ногах, стерегут повешенных людей, выставленных для устрашения живых. Автоматы у эсэсовцев взяты на изготовку.

На одной из виселиц, шевелимая ветром, болтается трехъязычная надпись:

«ЭТИ ЛИЦА ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ РАЙХА, УЧАСТВОВАЛИ В ЗАПРЕЩЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И КАЗНЕНЫ ПО МОЕМУ ПРИКАЗУ.

СС бригаденфюрер и генерал-майор полиции КАЦМАН»

...Вот, потихоньку расталкивая зевак, приближается старик к виселицам.

Видит хорошо начищенные сапоги первого охранника.

Камера подымается выше, и в кадр попадает пряжка пояса, туго обтягивающего живот эсэсовца.

На пряжке полукругом надпись: «Готт мит унс!»

Исчезают готические буквы, заменяются понятным всем текстом: «С нами бог!»

Смотрит выше отец Теодозий и вдруг опознает мертвое тело своей единственной дочери. Уста ее залеплены гипсовым кляпом. Так во Львове гестаповцы заливали быстро стынущим гипсом рты своим жертвам, чтобы добиться от них безусловного молчания.

— Иванна! — раздался на «Горе казни» сдавленный старческий крик отца Теодозия.

Протянув руки, он бросается к ногам дочери, но жесткий окрик: «Цурюк!» — и удар прикладом автомата отбрасывает в сторону отца Теодозия.

Он падает на колени.

Снова в поле его зрения попадает надпись: «Готт мит унс!» Она мелькает перед глазами, завивается в круг, подобно спицам быстро мчащегося колеса.

Еще дальше отбрасывает охранник Ставничего.

Он пошатывается. Его участливо поддерживает уже, видимо, давно стоящий здесь и свыкшийся со своим горем пожилой мужчина.

Мы узнаем в нем того самого прохожего, который однажды столь иронически показывал Иванне дорогу к университету. Давно уже сошел с этого человека внешний лоск. Пальто истрепано.

Большое несчастье запечатлелось в его глазах. Он осторожно наклоняется к священнику и говорит ему по-польски:

— Пане дрогий. Я бардзо розумем несченсьце

пана... То, напевно, пана цурка? Так? Видзи пан! А то, обок, муй сынэк. Сташек. Студент права университету Ивана Франки. Пуки мы, поляцы, тут з украинцами вальчили ото, до кого муси належець Львув, — пшишли отэ збири и вымордовали наших власных дзеци...*

Палаты митрополита. Шептицкий рассержен и взволнован. Впервые мы видим его в состоянии душевного беспокойства.. Он говорит сидящему рядом адмиралу Вильгельму Канарису:

— Когда я согласился помочь господину Дитцу, я руководствовался нашими общими целями — борьбой с коммунизмом. Разве вам неизвестно, что еще в 1936 году, когда Народный фронт мог поглотить целые страны, я одним из первых выступил против него? Мою «Осторогу против коммунизма» читали во всех церквах Галичины с амвонов. Я убеждал верующих не слушать коммунистов, которые пугают людей фашизмом! Почему же господин Дитц не захотел внять моим советам сейчас и не сделал все так, чтобы не бросить тень на меня и церковь? Почему нельзя было увезти эту строптивую девчонку куда-либо подальше? Кому понадобилось казнить ее прилюдно, здесь же, во Львове? Ведь это глупо, поймите, в высшей степени глупо! Надо работать тонко, а не будоражить народ!

— Да, в наше время надо работать очень тонко,— постукивая длинными холеными пальцами по спинке дивана, соглашается адмирал Канарис.

И, как бы ободренный его согласием, Шептицкий говорит, показывая рукой на пол:

— Двумя этажами ниже, в подвалах капитулы, я прячу от вас нескольких именитых, достойных евреев города. Прячу с полным сознанием ответственности и прошу немецкие власти не мешать мне делать это. Почему я решился на такой шаг? При малейшем изменении политической ситуации они — мои евреи —

---

* Пане дорогой. Я очень хорошо понимаю ваше несчастье. Это, наверное, дочка пана? Да? Видите. А это, рядом, мой сын. Сташек. Студент юридического факультета университета Ивана Франко. Пока мы, поляки, тут с украинцами боролись, кому должен принадлежать Львов, пришли вот эти бандиты и уничтожили наших собственных детей...

охотно подтвердят, что я, митрополит Андрей Шептицкий и князь греко-католической церкви, был добр к инаковерцам. Такое никогда не забывается! Они расскажут тысячам, что я поил и кормил их в тот момент, когда вы уничтожали сотни тысяч евреев. А все это, суммум суммарум, укрепит еще больше авторитет мой и церкви с ее справедливостью и благородством в глазах населения. Для чего же в данном случае с Иванной Ставничей надо было портить все и действовать так топорно, по-фельдфебельски?..

— Не знаю, не знаю! — цедит сквозь зубы Канарис. — Подобные вопросы входят в компетенцию рейхсфюрера СС Гиммлера, а я, как вам известно, являюсь шефом германской военной разведки и от ее имени посетил вашу эксцеленцию, чтобы установить общие контакты...

Холодеют, становятся стальными, отчужденными умные, глубокие глаза митрополита. Понимает он, что совершенно напрасно открыл душу одному из самых приближенных людей Гитлера, который намеренно ограничивает круг своего мышления размерами узких служебных перегородок. И, негодуя оттого, что собеседник оказался столь неучтив, Шептицкий говорит:

— Что нужно вам от меня?

Вильгельм Канарис встал и прислушался.

Далекая орудийная канонада.

— Я говорю с вами не только как шеф немецкой разведки, но и от имени верховного командования. Помогите авторитетом вашей церкви ускорить вербовку пополнений в дивизию СС «Галичина».

— Сейчас? Когда Советы стоят под Бродами? Посылать на танки цвет украинской молодежи? Ведь это же самоубийство!

— Ваша эксцеленция! — терпеливо говорит Канарис. — Будьте последовательны: а разве не было самоубийством с вашей стороны освящать вербовку волонтеров в дивизию СС «Галичина» уже после нашего поражения под Сталинградом? Кто, как не вы и другие лидеры украинского национализма, просили неоднократно фюрера разрешить формирование воинского соединения из украинцев? Мы разрешили. Теперь давайте помогайте. Вы были в молодости авст-

рийским офицером. Потом вас стали звать генералом армии христовой. Уж кто-кто, а вы понимаете — армия без резервов существовать не может.

Опять врывается в гостиную гул орудийной канонады. Звонит звоночек в дряблой руке митрополита. Как всегда неслышно, возникает на пороге ловкий келейник.

— Закройте окна, Арсений! — требует митрополит.

Келейник, выполнив просимое, исчезает, и в наступившей тишине слышится глухой голос Шептицкого:

— Но я боюсь, что наши проповеди теперь помогут мало.

— А в проповедях надо пугать народ большевиками! — жестко и властно, тоном приказа говорит Канарис. — Надо внушать мысль, что Советы жестоко расправятся с интеллигенцией и всеми, кто помогал нам. Это нужно еще и на тот случай, если нам придется временно оставить эти земли. Пусть тогда все до единого специалисты и люди физического труда уезжают с нами. А молодежь — в леса! В бандеровские отряды. Если мы уйдем на время отсюда, нам нужна будет на тылах советских войск ваша сильная пятая колонна!

— Вы серьезно думаете о возвращении сюда? — пытливо заглядывая в глаза Канарису, спросил Шептицкий.

— В борьбе с коммунизмом у Германии могут оказаться такие партнеры, о которых ваша эксцеленция сейчас и не подозревает. И поэтому все подчиненные вам священники должны оставаться на своем месте при большевиках... Ну... в крайнем случае... пожертвуете на их советский Красный Крест каких-нибудь сто-двести тысяч... А сейчас — две задачи: вербовка в дивизию «Галичина» и внушение страха перед большевиками...

И еще одна львовская лестница, ведущая на крыльцо собора святого Юра.

У подножия ее дежурят нищие. Протягивают руки за подаянием. Тут же торгуют молитвенниками, четками — «ружанцами», олеографиями, изображениями

святых — патронов униатской церкви. Богомольные старушки возлагают цветы к ногам каменного святого, который стоит, полупреклонив колени, в нише под отвесной стеной, служащей опорой для двух каменных лестниц, сбегающих из храма.

Видно, только что окончилось богослужение, и молящиеся валом повалили из храма по лестницам вниз, во двор.

Расталкивая их, бежит навстречу людскому потоку Теодозий Ставничий. Он потерял шляпу. Волосы его развевает ветер. Пыльник расстегнут...

Прихожане с удивлением оглядывают полубезумного старика, расступаются, дают ему дорогу.

Отстраняя богомольцев, навстречу Ставничему сбегает митрат Кадочный.

Увидел отца Теодозия и недовольно заметил:

— Отчего вы не были на торжественном молебствии, отец Теодозий? Отказываться от такой чести крайне неразумно. Мы молились сообща, все пастыри, о ниспослании победы немецкому оружию, а вы... Митрополит будет очень недоволен.

— Где митрополит? — закричал отец Теодозий.

— У его эксцеленции почетные гости. Сам адмирал Канарис приехал из Берлина, чтобы навестить его эксцеленцию. Видите? — Кадочный указывает на прижавшийся к стене капитулы длинный синий «хорх» с нацистским флажком на сияющем радиаторе.

Лениво опирается о кузов лимузина военный шофер. Он работает зубочисткой и с любопытством разглядывает богомольцев, все больше и больше заполняющих подворье капитулы.

И на поясе шофера надпись: «Готт мит унс!»...

Морщины напряженного, страшного раздумья пробегают по лбу Ставничего.

Он отталкивает Кадочного, взбегает выше и, опираясь ладонями о каменные перила балюстрады, пустающимся голосом кричит:

— Люди!.. Слушайте меня... Я тоже учил вас заповеди «не убий»!.. Я учил вас смирению и добру. Они, мои иерархи, убили мою дочь... Они подло предали ее... Единственную дочь... Вы слышите, как пахнет горелым? Это сжигают за Лычаковом ваших

близких... Их тоже убили те, кто пришел сюда с надписью на поясах: «Готт мит унс!»... Люди...

— Боже... Он сошел с ума! — восклицает в ужасе, закрывая лицо руками, Кадочный. Но тотчас же оглянулся и, увидев подбегающего келейника, крикнул: — Звонаря!.. Глушить!..

— ...Вам говорили здесь о крови Иисуса Христа,— продолжает Ставничий. — А тот, кто пролил кровь ваших братьев и сестер, пирует сейчас с митрополитом. Вон его машина... Смотрите...

Поворачиваются взгляды всех богомольцев к синему лимузину.

Испуганный шофер, расстегивая кобуру пистолета, бросается в кабину машины.

Быстро, кошкой, взбегает по крутой зигзагообразной лестнице келейник к древнему колоколу «Дмитру».

Отстраняя Ставничего, закричал исступленно митрат Кадочный:

— Братья во Христе... Не слушайте... Разум его помутился...

— Уйди!.. — кричит с ненавистью Ставничий. — Такой же, как и все, — иезуит... Святоюрские крысы...

Гулкий, надтреснутый звон очень древнего колокола заглушает крик отца Теодозия. Вмешиваются, идут на подмогу колокола поменьше...

На звуковом фоне перезвона не слышно больше ни одного слова старика Теодозия. Видно лишь только, что у него, как у рыбы, выброшенной штормом на сушу, беззвучно раскрывается рот...

Два крепких, розовощеких дьякона вместе с митратом Кадочным хватают Ставничего под руки. Священник отбивается. Они волокут его вниз. Отец Теодозий пытается вырваться, но это ему не удается...

Тихо шелестят глянцевитой листвой серостволые буки и дубки на близкой ко Львову возвышенности, издавна называемой Чертовской скалой.

Здесь, на краю живописной лужайки, откуда открывается прекрасный вид окрест на пригородные села и поля, навалены природой большие глыбы бесформенных скал. Высится на одной из них деревянный крест. В обманчивой тишине солнечного ясного дня слышатся птичьи голоса. Так радостно и светло вокруг,

что, если бы привезти сюда издалека человека неосведомленного, никогда бы в жизни он не поверил, что где-то рядом, вон на тех холмах Расточья, что маячат западнее скалы, живет тревожной жизнью оккупированный, окровавленный Львов. Трудно было бы поверить, сидя здесь, в отчуждении от городской жизни, что густой черный дым, стелющийся совсем близко, у истоков Лычаковской улицы, — это последний след сжигаемых на кострах гестаповцами мирных жителей израненного города.

...И когда по узенькой тропиночке, раздвигая кусты, выходит на лужайку, прихрамывая, с портфелем в руках Журженко, ничто вначале не меняет общего спокойствия окружающей его природы. Но вот Журженко прислушался к птичьим голосам, сложил ладони лодочкой у рта и, подражая пению иволги, подал условный сигнал. Один, другой, третий. Хорошо подражает пению крикливой птицы капитан Журженко! Так и кажется, что вслед за гортанным криком выпорхнет она в ответ на призыв из густой листвы деревьев под скалой и, завидя незнакомца, подражающего звукам ее голоса, метнется в сторону, ныряя в прозрачном мареве солнечного дня, ослепительно-желтая обитательница этого леса.

Слушает Журженко, и лицо его настораживается, когда снизу доносится ответный сигнал «чи-ч-чи» — и оттуда, раздвигая листву, выходит Зубарь вместе с Банелиным и командиром партизанского «маяка» Скворцовым, невысокого роста, седым человеком, у которого проглядывает из-под пиджака вышитая украинская сорочка.

— От полковника, — поясняет Банелин. — Знакомьтесь...

Мы видим их сидящими под Чертовской скалой. На коленях у Скворцова расстелена карта. Показывая населенный пункт, он говорит:

— Здесь мои хлопцы встретят. Ну, а если бы что случилось — тут, подальше, на перекрестке дороги в Коростовичи, старая липа. Это будет наш «мертвый пункт». Под камнем, что у ее основания, в консервной баночке инструкции.

— Да, но часть людей я бы вывел еще сегодня, засветло, пока не разошлись богомольцы, — говорит

Журженко. — Ночью, после «полицейского часа», будет куда труднее.

— Решайте сами. Судя по обстановке, — говорит Скворцов. — Но половина должна остаться в городе. Садовник Максимышин свяжет вас с «Народной гвардией имени Ивана Франко», и вы во Львове принесете куда больше пользы, чем у нас в лесу. Отряд-то на запад двигается...

— Ко вторнику списки лиц, сотрудничавших с гитлеровцами, мы закончим, — докладывает Журженко. — Правда, всех занести не удастся.

— Полковник понимает, что всех учесть нельзя,— согласился Скворцов, — но хотя бы основную сволочь. С квартирными адресами.

— Основная будет в ажуре, — обещает Журженко.

— А план минирования Львова? — напомнил Банелин.

— Этим Голуб занимается, — сказал Журженко.

— Чего же он запаздывает, Голуб? — поглядывая на часы и свертывая карту, забеспокоился Скворцов.

— Сюда, на гору, старому залезть не так-то просто, — сказал Журженко. — Он, пока в наши катакомбы под святым Юром доберется, и то захекается...

— Только глядите, хлопцы, — Скворцов показывает на портфель, — листовки поблизости собора не расклеивать. Подальше лучше. А то, неровен час, можете засветить такое выгодное убежище...

— А я как раз хотел просить вас состряпать в отряде листовку про дела митрополита и его катабасов, — сказал Журженко. — Мы, скрываясь на той горе, о таком доведались...

— Не надо, — сказал Скворцов. — Трогать их не надо, а то вой поднимут: коммунисты, мол, и евреи на них нападают. Таково и мнение полковника. Они и без наших листовок себя разоблачили перед народом как слуги оккупантов. Они уверовали в победу Гитлера и раскрылись перед народом как его верные слуги навсегда. И придет час...

Шум в кустах заставляет Скворцова насторожиться.

Из-под скалы, потный и расстроенный, появляется

Голуб. Он видит пришедших на встречу подпольщиков, из последних сил бросается к ним и роняет:

— Беда, хлопцы! Схватили Иванну...

— Иванну? — бледнея, воскликнул Журженко.— Не может быть!..

— Я бы сам хотел, чтобы это не могло быть, — печально сказал Голуб, усаживаясь на траву.

То же, все еще заполненное богомольцами подворье собора святого Юра.

Пробирается среди богомольцев, нищих и монашек, опираясь на палку, переодетый в штатское Журженко. Под мышкой у него пакет.

Его замечает стоящий поодаль, около креста святой Миссии, выфранченный по случаю праздника адвокат Даско. Он в старомодной крылатке. Сперва он издали следит за Журженко, а потом, опознав его окончательно, бросается ему наперерез по встречной лестнице, ведущей на паперть со стороны сада митрополита.

Они едва не столкнулись на площадке перед собором, но Журженко, не узнав адвоката, сворачивает мимо входа к колокольне. Адвокат обгоняет его и снимает шляпу.

— Вы очень задумчивы, пане капитан, и не хотите узнавать старых знакомых!

— Простите, я вас не знаю, — опешив, роняет Журженко.

— Зато я вас знаю! И помню вашу блестящую речь о ветре, который принес нам счастье с Востока. Как сейчас обстоит дело с этим «ветром», пане капитан?

— Слушайте, я вас вижу впервые! — бросает Журженко, ускоряя шаг.

Тогда Даско резким движением вырывает у него палку и швыряет ее.

— О нет, пане капитан! Так быстро мы с вами не расстанемся хотя бы потому, что такие, как вы, немало сала мне за шкуру налили при большевиках...

Даско оглядывается и замечает сидящего на перилах украинского полицая с черной повязкой на глазу. Это — Олекса Гаврилышин, тот самый, что про-

вожал Иванну по пылающим кварталам львовского гетто.

— Пане сотнику! Пане сотнику! — запричитал Даско. — На минутку!

Гаврилышин быстро подходит к Даско, и тот с облегчением заявляет:

— Это переодетый большевистский офицер и к тому же наверное еврей! Задержите его! А те пять литров водки вместе с мармеладом, которые полагаются по приказу бригаденфюрера СС за выдачу евреев каждому украинскому патриоту, я вам презентую. Возьмите себе на здоровье!

Гаврилышин вытаскивает из кобуры никелированный «вальтер» и, направив его в спину Журженко, говорит Даско:

— Благодарю, пане меценат! Пойдем только вместе! Надо будет записать ваши показания!

Они бредут полутемными монастырскими коридорами, где чуть заметно горят слабые электрические лампочки, сворачивают в лабиринт путаных проходов, и тогда Даско с опаской замечает:

— Ведь постерунок на Городецкой, а куда вы меня ведете?

— У нас тут свой, тайный пост! — солидно заявляет Олекса. — Для таких доверенных лиц, как вы, пане адвокат!

— Откуда вы знаете, что я адвокат? — не на шутку встревожился Даско, подозревая недоброе.

— Ну кто же из местных людей, от Турки до Сокаля, не знает пана адвоката Даско? — иронически замечает полицай. — Ваши блестящие речи в защиту украинских националистов во времена Польши надолго запали в души молодежи!

— Послушайте! — внезапно упирается Даско. — Я дальше не пойду! Куда вы меня ведете?

— К добрым людям веду! — заявляет Гаврилышин. — К настоящим украинским патриотам. Вы доложите им об этом вражеском агенте и получите благодарность!

— Почему сюда? Я не хочу...

— Закрой морду! Ну! — резко приказывает Гаврилышин и наставляет на Даско ствол пистолета. Другой рукой он нажимает сделанную под сучок кнопку

в стене сарая. Стенка отъезжает, и оба, Журженко и Гаврилышин, силой закрывая рот Даско, увлекают его в темноту.

...Пугливо озираясь на раненых, оглядывая старинные своды подземелья, сидит на краешке ящика Даско. На другом ящике, заменяющем стол, горит карбидный фонарь, бросая свет на его испуганное, ошарашенное лицо. Садаклий и Журженко внимательно просматривают его записную книжку. Помахивая отнятым у адвоката при обыске письмом, Садаклий спрашивает:

— Откуда вы знаете оберштурмбанфюрера Дитца?

— Мы служили с ним вместе в австро-венгерской армии, — пугливо озираясь, отвечает Даско.

— Что означает это приглашение?

— Господин Дитц попросил меня покутить с ними на вечеринке в «Пекле».

— Кто там будет еще кроме него? — строго спрашивает Садаклий.

— Коллеги. Друзья...

— Какие коллеги?

— Ну, из гестапо... из криминальполиции...

Садаклий отзывает в сторону Голуба и Гаврилышина. Он спрашивает у Голуба:

— Вы хорошо знаете расположение ресторана «Пекло», Панас Степанович?

— Как свои пять пальцев! Сколько раз там канализацию прочищал.

— Есть у меня думка, товарищи, — медленно произносит Садаклий, — а что, если использовать это знакомство?..

...Громкие звуки фокстрота «Розамунде» вырываются на Пекарскую улицу из подвальчика, в котором помещается ресторан для избранных «Пекло». У его входа предостерегающая надпись: «Нур фюр дейтше».

Неоновый бес, подняв вилы, приглашает посетителей спуститься в преисподнюю.

Небрежной походкой спускается в подвал в одежде Даско Садаклий.

Дорогу ему преграждает швейцар в пышной, рас-

шитой галунами ливрее. Садаклий, элегантно сняв шляпу, говорит:

— Я помощник адвоката Даско.

— Пан не видел табличку у двери? Ресторан только для немцев, — заявляет швейцар.

— Бывают исключения, — говорит Садаклий. — Мой шеф получил любезное приглашение от господина Дитца принять участие в сегодняшнем ужине. — Садаклий протягивает приглашение.

Швейцар разглядывает бумажку.

— Но это приглашение господину Даско. А при чем здесь вы? — И швейцар вопросительно посмотрел на Садаклия.

— Мой шеф, к сожалению, срочно выехал к больной жене в Перемышль и не сможет присутствовать на торжественном ужине. Он написал письмо с извинениями господину Дитцу и передает ему маленький подарок ко дню рождения... А это возьмите себе,— и Садаклий протягивает швейцару сто марок.

Швейцар небрежно опускает деньги в боковой карман ливреи и принимает перевязанный шелковыми лентами пакет и письмо.

А Садаклий снимает шляпу и выходит. Пройдя квартал, он останавливается в полутьме и следит за неоновым бесом, бросающим синеватый отсвет на мостовую.

В зале ресторана «Пекло»... Низкие своды. На стенах намалеваны различные сцены из жизни грешников в аду. Загримированные чертями, затянутые в черное трико, хвостатые музыкантши играют модное танго военных времен — «Айн таг фюр ди либе» («Один день для любви»), демонстрируя свои пышные формы. Танцуют гестаповцы с дамами. Танцует поджарый, улыбающийся Альфред Дитц со своей любовницей Лили Эбенгард — светловолосой блондинкой. Прижимаясь к ней в танце, он шепчет:

— У меня сегодня был очень трудный день, Лили. Я допрашивал одну фанатичку, и она...

— Очаровала тебя своей внешностью?

— Никого уже она очаровывать не сможет...

Терпеливо ждет окончания танго швейцар с подарком Садаклия в руках. Вот замолкает на тягучем.

заунывном аккорде танго. Расходятся к столам гости. Швейцар приближается к Дитцу с подарком.

— Что такое, Альфред? — ревниво осведомляется Лили.

— Подарок от старого сослуживца! — роняет Дитц, пробегая письмо, написанное рукой Даско. — Он хотя и украинец, но очень обязательный человек и оказывает нам большие услуги.

— А что он тебе прислал? Покажи! Я дьявольски любопытна! — допытывается Лили.

— Ну, возьми, пожалуйста, — лениво протягивает ей пакет оберштурмбанфюрер, а сам подливает себе в бокал «аирконьяк».

Лили Эбенгард развязывает шелковую ленту «сюрпризной» коробки, и сильный взрыв наполняет огнем и дымом ресторан «Пекло». Падают раненые и убитые гестаповцы. В пыль разлетаются мраморные столики. Волной взрыва сметает чертей-музыкантш с эстрады.

Спальня митрополита. Тускло горит лампадка. Не спится сегодня Шептицкому.

Он ворочается с боку на бок, с трудом поворачивая без посторонней помощи свое грузное немощное тело. Из всех углов спальни глядят на него полные укора, большие, наполненные мукой глаза Иванны...

Вперемежку с этими видениями другие картины далекого и близкого прошлого грезятся митрополиту.

Вот он, еще бравый и статный владыка, сохранивший выправку драгуна императорской австро-венгерской армии, благословляет собственноручно на одной из площадей Львова добровольцев, набранных в легион «украинских сичевых стрельцов», призванных умирать за интересы центральных держав в боях против русской армии на горе Макивка, под Потуторами, на реке Золотая Липа.

...Австрийские и немецкие генералы в остроконечных касках ассистируют при торжественном молебне, и один из Габсбургов, великий князь Вильгельм, назвавшийся «Василием Вышиваным», комендант легиона УСС, сложив руки на эфесе сабли, почтительно глядит на мудрого, осанистого митрополита.

...А вот 30 июня 1941 года. Гитлеровские войска

врываются во Львов, и одна из первых частей авангарда — набранный из отпетых националистических головорезов легион «Нахтигаль» — со звонкими песнями усусусов времен первой мировой войны проходит под аркой святоюрской капитулы, чтобы, прежде чем начать расстрелы и грабежи мирного населения, получить благословение митрополита Шептицкого. И вывезенный келейниками на балкон, обращенный к фасаду собора святого Юра, уже состарившийся митрополит благословляет дряхлеющей рукой почтительно глядящих на него снизу коменданта легиона сотника Романа Шухевича, капеллана Ивана Гриньоха и других националистов, одетых в немецкие мундиры.

Это видение сменяется маршем первых добровольцев дивизии СС «Галичина» на Пелчинской улице под цитаделью летом 1943 года. Идут впереди трубачи, и на эсэсовских флажках у них молнии СС и надписи: «На Москву!» Они поют ту же песню усусусов — «Зажурились галичанки, та й на тую зміну, що відходять усусусы, та й на Україну»! Но исторические перемены, случившиеся в мире, уже модернизировали этих новых слуг фашизма. Они печатают шаг в добротных немецких сапогах, а на стальных касках украинских эсэсовцев видны молнии СС, свидетельствующие об их прямом подчинении рейхсфюреру гвардии Гитлера — Гиммлеру.

Они идут и поют уворованные у украинского народа песни, идут погибать в «бродском котле», при подавлении варшавского восстания, в предгорьях Карпат, и снова, как и встарь, благословляют отщепенцев милосердные руки дряхлого митрополита и его иерархов... А за ними, еще не обмундированные, в домотканых крестьянских гуньках и чемерках, на лошадях без седел, в смушковых папахах едут, салютуя, как гитлеровцы, волонтеры-кавалеристы... Едут на близкую смерть, освященные служителями Христа...

...Не спится митрополиту. Нечистая совесть порождает затяжную бессонницу. Он нащупал толстыми пальцами звоночек, позвонил.

Когда келейник неслышно возник на пороге, митрополит спросил:

— Чем это заносит со двора, Арсений?

— Известное дело, ваша ексцеленция, — осклабил-

ся келейник, — были акции, а теперь за Лычаковом они трупы жгут...

— Закрой окна, Арсений, и принеси мне люминал, — попросил владыка.

Горят всюду свечи

Звучит голос:

— *В дни оккупации разведчики из партизанского отряда полковника Дмитрия Медведева, проникнув во Львов, добыли план минирования города и своевременно передали его наступающим частям Советской Армии. Потому почти неприкосновенным сохранился до наших дней прекрасный старинный город Львов...*

...В те полные героизма дни подпольной борьбы с оккупантами советские патриоты использовали снова подземелья древней княжьей столицы и оттуда, из темноты, наносили удар за ударом по врагу...

Когда же на мостовых Львова загрохотали советские танки...

Колокольня собора святого Юра. Роман Герета, уже в обычной сутане священнослужителя, работает у рации, сообщая немецкому командованию о продвижении советского авангарда...

— Я — Адлер, я — Адлер... Два советских танка идут по Зеленой...

Кончил передавать. Спрятал аппарат в тайник колокольни. Побежал вниз.

Открывается внезапно люк канализации на стыке Академической и Саксаганского — против памятника драматургу Александру Фредро. Оттуда появляется Голуб с защитной сумкой, наполненной инструментами. Осмотрелся и дал знак. Вылезают из люка Банелин, Зубарь, Юлька Цимбалистая, Леже.

Щурясь от яркого солнечного света, прикрывая глаза грязными руками, они присоединяются к львовянам, встречающим первые советские танки.

Взволнованный Леже играет на гитаре и напевает по-французски «Марсельезу»...

Гул моторов тяжелых танков, мчащихся со страшным грохотом по Академической к Стрыйскому парку, переходит в гудение открытого «газика», в котором едут в военной форме Садаклий и Журженко.

«Газик» мчится по ровной знакомой нам улице Энгельса, изредка хрустит по битому оконному стеклу, иной раз тихо перебирается по пересеченным снарядными осколками трамвайным проводам, проскакивает мимо обгоревшей виллы «Франзувка», и, скрипнув тормозами, останавливается у ворот Кульпарковской психиатрической больницы.

Садаклий и Журженко спрыгивают с машины и стучатся в железные ворота больницы. Выбегают оттуда рослые санитары в белом.

— Священник есть у вас... Теодозий Ставничий?— бросает Садаклий.

— Есть, пане товаришу... — озираясь, говорит санитар.

— Давайте его сюда! — приказывает Садаклий.

— Та бойтесь бога, пане товаришу... Он же сумасшедший. Сам митрополит опекуется им, — бормочет санитар.

— Мы знаем, какой он сумасшедший! — резко говорит Журженко. — Быстрее, ну!..

Из наплыва возникает отец Теодозий. Его бережно ведут под руки рослые санитары... Ставничий в белой длинной рубашке. Он истощен...

Шагая навстречу Ставничему, Журженко говорит:

— Здравствуйте, батюшка!

Присматривается отец Теодозий. С удивлением разглядывает погоны на плечах у офицеров. А потом восклицает:

— Боже... Иван Тихонович!

Офицеры осторожно подсаживают старика на переднее сиденье машины...

Звучит голос за кадром:

— *И поныне в западных областях Украины, да и дальше на запад, существует у верующих обычай ставить свечи на могилах в день поминания мертвых. Но никогда за всю свою семисотлетнюю историю не видел столько пылающих свечей древний Львов, как в первый день ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года...*

Иезуитский парк во Львове. Отец Теодозий рассказывает «железнодорожнику»:

— Хорошее, настоящее сердце у этого человека... Третьего дня Иван Тихонович был здесь. Проездом с фронта в Киев... Мы с ним допоздна ходили по Львову...

...Краковская площадь. Место, где стояли виселицы.

Склоняются к земле люди. Втыкают в холодную осеннюю землю свечечки. Зажигают их, охраняя ладонями от ветра зыбкие огоньки вспыхнувших спичек.

Проходят коридорами пылающих свечей майор Журженко и Ставничий...

...Армянская улица. Простой дощатый забор, изрешеченный гитлеровскими пулями... Показывает майору пулевые пробоины Ставничий. Здесь свечи прилеплены прямо к забору. Белые хризантемы воткнуты в щели забора.

...Лычаковское кладбище. Каменная стена. Горят на ней, оставляя на известке язычки копоти, свечи. Отец Теодозий объясняет:

— Здесь расстреливали тоже...

Освещаемая пляшущими огоньками, тянется по стене сделанная углем надпись:

«Хай живе «Народна гвардія імені Івана Франка»!!»

...Склон Княжьей горы на площади Данилы Галицкого. Два каштана стерегут место, где в годы оккупации были расстреляны десятки патриотов. Зажигают свечи их родные. Ставят осенние цветы в вазонах.

...Горят свечи в разных районах Львова. Очень много свечей! Ведь больше полумиллиона мирных жителей погибло тут в годы гитлеровского владычества!

На «Горе казни» Теодозий Ставничий дрожащими руками укрепляет свечечку близ пенька виселицы.

Стоит рядом с обнаженной головой Журженко.

— Дорогой ценой заплатил я за то, что долгие годы верил в бога и обманывал этой верой других людей, — глухо говорит Ставничий, нарушая молчание.

— Вот обо всем этом и надо рассказать народу, Теодозий Иванович. Все, что вы знаете, рассказать.

Без всякого стеснения. Все тайны. Хотя бы во имя памяти Иванны, которую мы с вами так любили...

Иезуитский парк во Львове. Прошел с длинной пикой фонарщик газового завода, в котором мы узнаем Гаврилышина. Чиркнув спичкой, он зажег на пике паклю и, подняв ее кверху, отщелкнул задвижку газового фонаря. Зеленоватое пламя окружило горелку. Тихо льет на аллею безжизненный свет газовый фонарь.

...Идет дальше фонарщик.

Волнуясь, продолжает рассказ Ставничий:

— ...И вот там, на горе, где перестало биться сердце дорогой моей Иванны, я пообещал майору Журженко написать все то, что я рассказал сейчас вам. Пусть все люди узнают, что творилось там, на Святоюрской горе, в те дни, когда украинская земля обливалась кровью...

Показывает отец Теодозий в сторону Святоюрской горы, где хорошо проступает на фоне вечернего неба ажурный силуэт кафедрального униатского собора.

— Не знаю, — продолжает Ставничий задумчиво, — удастся ли мне рассказать все так, как хотелось бы, но я напишу одну правду, а майор Журженко мне поможет...

— Это будет очень интересно, — спокойно говорит «железнодорожник».

Внезапно гибкая, тощая и утомленная его фигура в одно мгновенье меняется в быстром броске. Блеснул в свете газового фонаря стилет в руке «железнодорожника», он замахнулся, но крепкие руки выскочившего из-за кустов Садаклия задерживают убийцу.

— Добрый вечер, монсиньор! — говорит спокойно Садаклий, отнимая стилет. — Давно мечтал с вами познакомиться.

Возле скамейки возникают Гаврилышин и еще два оперативных работника...

— Монсиньор? — ничего не понимая, спрашивает растерянно Ставничий.

— Ваш бывший коллега! — говорит Садаклий...

Уже вечереет. Мы видим стоящих на улице переодетого в штатское Романа Герету и келейника митрополита. Герета говорит келейнику:

— Не печальтесь, брат мой! Придет время, и его святейшество папа римский провозгласит покойного митрополита святым. А тогда, после канонизации, лучи славы христовой, которую будет излучать он, озарят и вас — верного его слугу, до гроба облегчавшего страдания его эксцеленции!

Приближается по улице студенческая демонстрация с факелами. На транспарантах видны надписи: «Превратим древний город Львов в крупнейший индустриальный центр Украины!», «Выйдем первыми на стройки послевоенной пятилетки!»...

— Когда это будет! — грустно отвечает келейник Роману Герете. — А пока что — новый владыка и новые порядки...

— Будет! — твердо заявляет Герета и вдруг, меняясь в лице, восклицает: — О боже!..

Садаклий, Гаврилышин и оперативный работник ведут по тротуару, параллельно демонстрации, арестованного «железнодорожника». Он встретился глазами с Геретой и дает ему понять, чтобы тот скрылся. Оглянулся Герета. Милиция уже перекрыла тротуары, давая проход демонстрации.

Герета круто поворачивается спиной к Садаклию и, оставляя одного келейника, шагает на мостовую. Он пристраивается к рядам демонстрантов. Покосился на него — непрошенного пришельца — студент в ватнике с нашивками за ранение, которого мы видели в начале фильма.

— Вы с какого факультета, товарищ?

— А это — какой факультет? — быстро спрашивает Герета.

— Украинская филология!

— А я — с юридического, — быстро сориентировался Герета. — Пойду с вами до «Холма славы», а там своих хлопцев разыщу...

И Роман Герета, озираясь по сторонам, как ни в чем не бывало подхватывает песню о ветре с Востока, которую поют демонстранты...

В. П. БЕЛЯЕВ

Владимир Павлович Беляев родился в 1909 году в городе Каменец-Подольске, на Украине. После окончания школы ФЗУ в 1926 году уезжает в Бердянск работать литейщиком на Первомайском заводе. Впоследствии как рабкора его выдвигают в редакцию газеты «Червоный Кордон», где он публикует свои первые очерки и рассказы.

В 1930 году, после демобилизации из рядов Красной Армии, В. Беляев работает на одном из заводов Ленинграда. В 1939 году В. Беляева принимают в члены Союза советских писателей, и он переходит на литературную работу.

Во время Великой Отечественной войны Владимир Беляев — военный корреспондент газеты «Патриот Родины», Советского Информбюро, журналов «Смена» и «Огонек» на севере.

Летом 1944 года в качестве военного корреспондента Всесоюзного радио его командируют в только что освобожденный Львов. Принимал участие в Комиссии по расследованию гитлеровских зверств в западных областях Украины.

Владимир Беляев опубликовал книги: трилогию «Старая крепость», «Украинские ночи», «Голос Тараса», «Залив в тумане», «Свет во мраке», «Граница в огне», «Опора земли», «Львовские встречи», «Первое оружие», «Рукавичка», «Варвары с моноклями» и другие, создал сценарий кинофильма «Иванна». За трилогию «Старая крепость» ему присуждена в 1952 году Сталинская премия.

На весеннем III Всесоюзном кинофестивале 1960 года в Минске киноповесть «Иванна» получила диплом Первой степени за лучший сценарий.

Книги Владимира Беляева выходили в переводах в Китае, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Соединенных Штатах Америки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стор.
ЭТО БЫЛО ВО ЛЬВОВЕ	5
Визит во Львове	9
Черные списки ОУН	11
«Соловьи» летят за Сан	13
Залпы на рассвете	17
Глазами семьи Кухаров	20
В самом гнезде «соловьев»	24
Тайное стало явным	28
Земля в хрустале	32
ПО СЛЕДАМ ПРОПАВШИХ ГАРНИЗОНОВ	34
Книга из Венеции	34
После падения Муссолини	37
Лучше замолчать	39
Новые свидетели	40
«Долина смерти»	42
Путь на «Пясковню»	45
Все совпадает	46
Кровь на камнях	46
Выстрелами в затылок	49
Дым за Лычаковом	50
Итальянское оружие	53
Дом на улице Яцка	56
Голос Евы Марчак	59
Пишут из Станислава	60
Не только во Львове	62
Страшное слово — Белзец	63
«Вечные огни Белзеца»	64
Знали и молчали	65
Палачи скрываются в костеле	67
СВЕТ ВО МРАКЕ	72
Пожар, который не тушат	72
«Король» приезжает в гетто	78

Жизнь, разделенная на акции 85
«Санитарные побуждения» 89
Душитель из Голливуда 92
Приближается буря 95
Документы отобраны 100
Цена удара ножом 105
Весть из Сталинграда 108
Акция на «нелегальных» 112
Страшное имя — Гжимек 114
Куда девать семью? 117
Полтва шумит 120
Луч правды 127
Леопольд Буженяк 133
Конец приближается 135
Вести с воли 139
Пить хочется 141
Открыты! 143
Под монастырем Бернардинов 144
«Москва моя» 146
Выпал снег 148
Огни навстречу 148
Засада гестапо 150
Рождение человека 151
Еще один подопечный Леопольда Буженяка . . 153
«Прощайте, друзья!» 156
Звуки улицы 157
«Мы уже близко» 158
Фашисты зарываются в землю 160
Беспокойный постоялец 162
«Катюши» запели 163
«Над нами советские танки!» 166
Желанная минута 167
«Пойдем ночевать к нам!» 169
Счастливейшая из очередей 171
Самое большое счастье 172

ИВАННА

Кого хоронят? 177
Добрая весть из Львова 181
Счастье украдено 186
Под сводами старого храма 188
Шкатулка митрополита 189
Гости в парафии 192
Юля боится «длинных рук» 200
...А Каблак прикидывается Иваном, не помнящим родства 203
Надо исправлять ошибку 205
«К вечерне не буду» 207
Подозревают Иванну 210
Выстрел на путях 212
За высокой монастырской стеной 213
Непрошеный гость 217
У больничной койки 221
Гром кары божьей 224

«Дас ист Лемберг» 227
Встреча на вокзале 232
Святой военкомат 235
Гора Вроновских 239
Тайное становится явным 249
Ножницы 251
Ночной концерт 254
Юлька спасает 261
Песня во мраке 263
«Рота присяги» 267
Под землей светлее 272
На Лонцкого 278
Лестницы Львова 279
Горят всюду свечи 295
В. П. Беляев 300

Редактор О. Сусловский
Художник Ю. Володарский
Художественный редактор Р. Скакун
Технический редактор С. Недовиз
Корректор Р. Фукс

Владимир Павлович Беляев
Разоблачение.

Подписано к печати 19/XI-60 г., формат 84×108¹/₃₂. Бум. л: 4,75, Печ. л. физ. 9,5: Печ. л. прив 15,58. Авт.л 14,97. Издат. л. 15,39. БГ 00494. Зак. 1569. Тираж 51 000. (1 завод 1—15000). Цена 6 руб. 15 коп. С 1/I-1961 г — 62 коп.
Книжно-журнальное издательство,
Львов, Подвальная, 3.

Областная типография. Львов,
Спартака, 4.

Цена 6 руб 15 коп.
с 1.1 1961 г. — 62 коп.